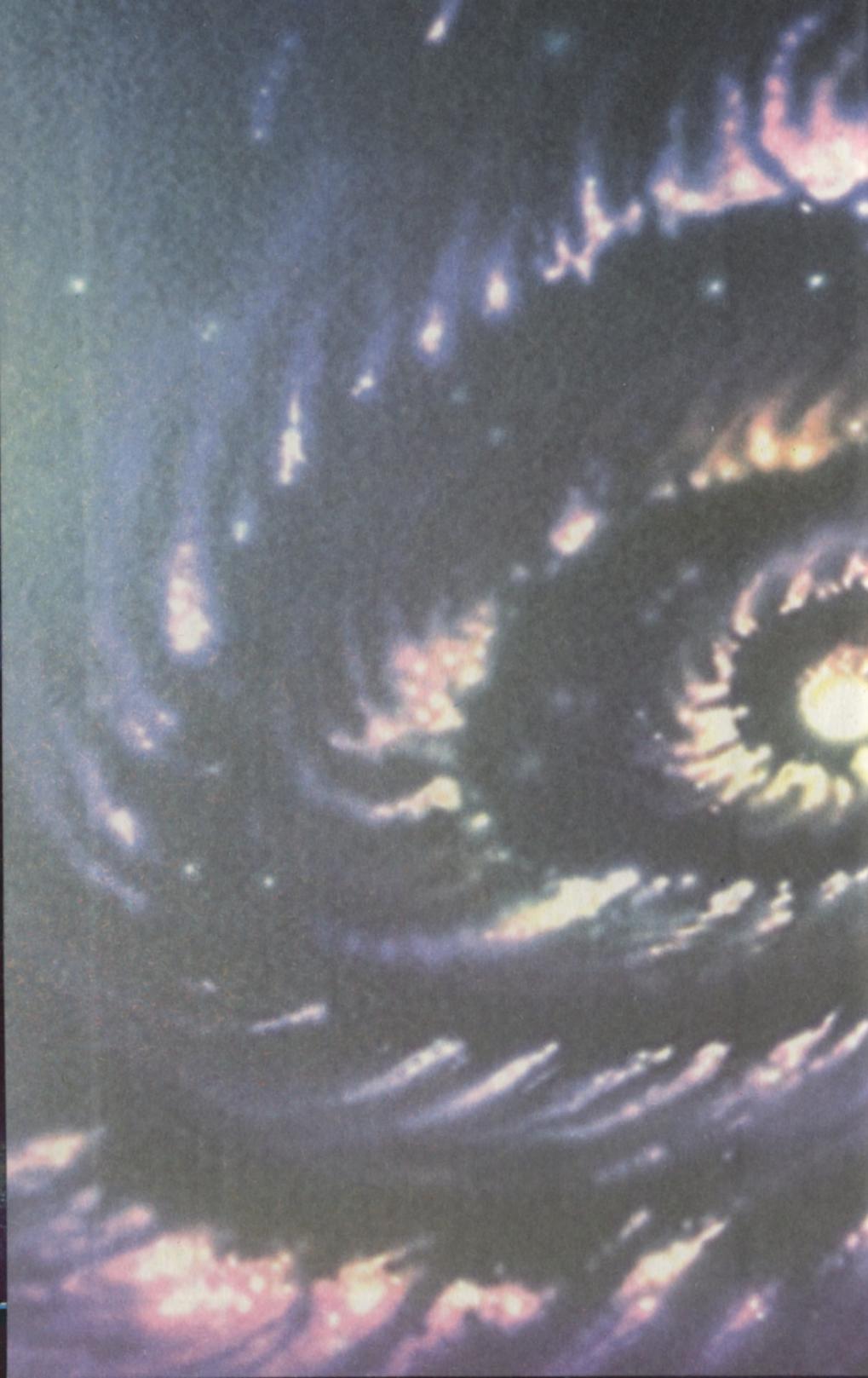


МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

ЛЕКАРСТВО
ОТ МЕЛАНХОЛИИ







РЭЙ БРЭДБЕРИ



WORLDS OF RAY BRADBURY

Volume four

**THE DAY IT RAINED
FOREVER**

**A MEDICINE FOR
MELANCHOLY**

R IS FOR ROCKET

«POLARIS» PUBLISHERS
1997

МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

Том четвертый

**НЕСКОНЧАЕМЫЙ
ДОЖДЬ**

**ЛЕКАРСТВО
ОТ МЕЛАНХОЛИИ**

Р — ЗНАЧИТ РАКЕТА

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1997**

*Издание подготовлено
совместно с АО «Титул»*

Миры Рэя Брэдбери. Т. 4 / Пер. с англ. — Полярис,
1997. — 365 с.

В очередной том собрания сочинений известнейшего писателя-фантаста вошли рассказы из сборников «Нескончаемый дождь», «Лекарство от меланхолии» и «Р — значит ракета».

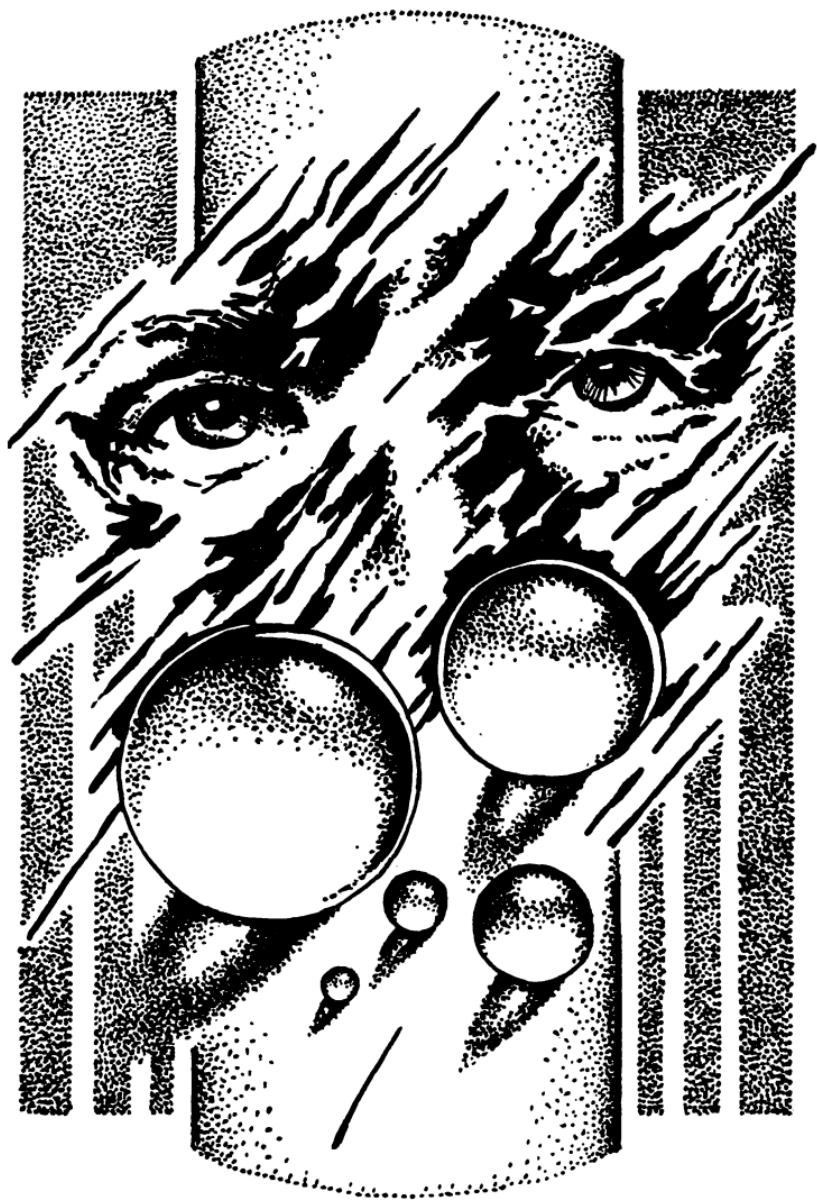
Произведения, включенные в данное издание, охраняются законом об авторском праве. Перепечатка отдельных романов и всего издания в целом запрещена без разрешения издателя и переводчика. Всякое коммерческое использование данного издания возможно исключительно с письменного разрешения издателя.

*Иллюстрация на обложку печатается с разрешения
художника и его агентов:
Artbank International, Великобритания,
и Александра Корженевского, Россия*

ISBN 5-88132-282-7

Cover Art Illustration
© 1997 by McIvyn Grant

© Издательство «Полярис»,
составление, оформление,
название серии, 1997



НЕСКОНЧАЕМЫЙ ДОЖДЬ

СУЩНОСТЬ

Роби Моррисон был раздражен. Шагая под тропическим солнцем, он слышал шум разбивающихся о берег волн. На острове Выпрямления царила унылая тишина.

Был год 1997, но для мальчика это не имело значения.

Затерявшись в глубине сада, десятилетний Роби тихонько бродил по дорожкам. То был Час Размышлений. За садовой стеной, к северу, жили дети с Высоким Коэффициентом Умственного Развития. Там были спальни, где он и другие мальчики спали в особым образом устроенных кроватях. По утрам, словно пробки из бутылок, они высакивали оттуда, бросались в душевые, плотом наспех проглатывали пищу и с помощью пневматической подземки переносились почти через весь остров к зданию Семантической школы. Потом — на Физиологию. После Физиологии — снова в подземку. А затем, через люк в высокой садовой стене, Роби выпускали в сад, где он должен был проводить этот час бесплодных размышлений, предписанных Психологами острова.

У Роби имелось свое мнение на этот счет: «Чертовски глупо».

Сегодня в нем клокотал дух противоречия. Он с завистью смотрел на волны: они были свободны, они приходили и уходили. Глаза его потемнели, щеки пылали, маленькие руки нервно подергивались.

Referent

Copyright © 1959 by Ray Bradbury

Сущность

© Д. Лившиц, перевод, 1991

Где-то в саду мягко зазвенел колокольчик. Еще пятнадцать минут размышлений. Уф! А потом в столовую-автомат, чтобы набить желудок, подобно тому как чучельщик набивает чучело птицы.

А после приготовленного по последнему слову науки ленча снова в туннель — на Социологию. Правда, попозже, к концу теплого скучного дня, можно будет поиграть в Главном саду. Но что это за игры! Игры, которые какой-нибудь помешанный Психолог извлек из своихочных кошмаров. Таково твое будущее! Ты, мой мальчик, должен жить так, как это предсказывали люди прошлого, люди 1920, 1930, 1942 года! Все вокруг тебя должно быть бодрым, оживленным, гигиеническим, чересчур, чересчур бодрым! И никаких нудных старых родственников поблизости. Не то у тебя появятся разные вредные комплексы. Все под контролем, мой милый мальчик!

Казалось бы, Роби находился сегодня в самом подходящем расположении духа для того, чтобы воспринять что-нибудь необыкновенное.

Но это только казалось.

Когда минутой позже с неба упала звезда, он разозлился еще больше.

Это был сфероид. Он трещал и вертелся, пока не замер на теплой зеленой траве. Распахнулась узкая дверца.

Все происходящее напомнило мальчику его сон. Сон, который он, полный презрения и упрямства, не пожелал записать сегодня утром в своем психоаналитическом дневнике. Мысль об этом сне всплыла в его мозгу, как только узкая дверь распахнулась и из нее вышло «нечто».

«Нечто».

Юные глаза, видя предмет впервые, должны были как-то освоиться с ним. Роби не знал, что такое «нечто», вышедшее из шара. Поэтому, хмурясь, Роби начал ломать голову, соображая, на что оно было больше всего похоже.

И вдруг «нечто» превратилось во «что-то».

Теплый воздух сделался холодным. Блеснул свет, очертания предмета стали изменяться, таять, и вот «что-то» приняло определенную форму.

Возле металлической звезды, растерянно озираясь, стоял высокий, худой, бледный человек.

У человека были красные, испуганные глаза. Он дрожал.

— А-а, я знаю вас, — разочарованно протянул Роби. — Вы Песочный человек* — только и всего.

— Песочный человек?

Незнакомец весь заколыхался, словно облако горячего пара, поднимающееся от расплавленного металла. Дрожащими руками он начал испуганно ощупывать свои длинные рыжие волосы, словно ему никогда еще не приходилось видеть их или трогать. Песочный человек с ужасом смотрел на свои руки, ноги, на все свое тело, как будто оно было для него совершенно ново. Песочный человек? Какое трудное слово! И процесс речи тоже был для него новым. Он, кажется, хотел уже бежать, но что-то удерживало его.

— Да, да, — сказал Роби. — Вы снитесь мне каждую ночь. О, я знаю, о чем вы думаете. Наши учителя говорят, что *семантические* духи, призраки, эльфы и песочные люди — это всего лишь названия и за ними не стоит никакая реальная сущность, никакие реальные предметы — одушевленные или неодушевленные. Но все это чепуха. Мы, мальчишки, знаем на этот счет побольше учителей. То, что вы здесь, доказывает, что учителя ошибаются. Стало быть, песочные люди все же существуют?

— О нет, не давай мне названия! — неожиданно вскричал Песочный человек. Теперь он как будто понял, о чем речь. И почему-то был в невыразимом испуге. Он продолжал щипать, дергать и щупать свое длинное тело, словно оно-то и внушало ему ужас. — Не давай мне названия, не давай мне ярлыка.

— Пфф! А почему бы это?

— Я — сущность! — возопил Песочный человек. — Я не ярлык! Я именно сущность. Позволь мне уйти!

Маленькие, зеленые, как у кошки, глаза Роби заблестели. Он приложил палец к губам.

— Это мистер Грилл прислал вас сюда? Держу пари, что он! Держу пари, что это какой-то новый психологический тест!

* Песочный человек — персонаж из волшебных сказок.

Роби был в бешенстве. Когда же они перестанут следить за каждым его шагом? Они регламентируют его игры, еду, занятия, они отняли у него товарищей, мать, отца, а теперь придумали еще этот трюк.

— Я не от мистера Грилла, — взмолился Песочный человек. — Выслушай меня, пока никто не пришел, не увидел меня здесь и окончательно не испортил все!

Роби топнул ногой.

Задыхаясь от волнения, Песочный человек отскочил назад.

— Выслушай меня! — крикнул он. — Я не человек. Это ты человек. Здесь, на Земле, мысль отлила в форму человека вашу плоть — твою и всех вас! Вы все сделаны по одному шаблону. Но не я! Я — чистейшая сущность.

— Лжешь! — И Роби снова топнул ногой.

Видимо, совершенно отчаявшись, Песочный человек начал быстро бормотать какие-то непонятные вещи:

— Нет, мальчик, это правда! Мысль отливала твои атомы в твою теперешнюю форму целые столетия. Если бы ты смог преодолеть, разрушить это убеждение, убеждения твоих друзей, учителей и родных, тебе тоже удалось бы изменить форму, стать чистой сущностью! Такой, как Свобода, Независимость, Гуманность или как Время, Пространство и Справедливость.

— Вас подоспал Грилл, он вечно мучает меня!

— Нет, нет! Атомы способны видоизменяться. Все вы на Земле затвердили некоторые ярлыки, как, например, Мужчина, Женщина, Ребенок, Голова, Руки, Пальцы, Ноги. «Нечто» превратилось в «что-то».

— Уйдите от меня! — не выдержал Роби. — У меня сегодня тест, мне надо подумать.

Он сел на камень и заткнул уши.

Песочный человек опасливо оглянулся, словно ожидая какой-то беды. Стоя возле Роби, он начал дрожать и плакать.

— Земля могла быть совсем иной! — крикнул он. — Мысль, пользуясь ярлыками, долго кружила, приводя в порядок хаотический космос. И теперь все отмахиваются даже от попытки представить себе мир в другой форме.

— Убирайтесь! — с отвращением выдохнул Роби.

— Я приземлился возле тебя, совершенно не подозревая об опасности. Мне было просто любопытно. Когда я нахожусь в своем сферическом межзвездном корабле, чужие мысли не могут изменять мою форму. Я путешествую от мира к миру уже целые века, но еще ни разу не попадался так глупо.

По его лицу текли слезы.

— А вот теперь — о Господи, что за несчастье! — ты дал мне название, ты поймал меня, запер с помощью мысли в тюрьму! С помощью этой нелепой фантазии о Песочном человеке! Чудовищно! Я не могу побороть ее, не могу стать таким, как прежде! А раз я не могу стать таким, как прежде, мне никогда уже не влезть в мой шар. Я слишком велик. Теперь я буду навеки прикован к Земле. Освободи меня!

Песочный человек стонал, плакал, кричал. Роби размышлял. Он спокойно беседовал с самим собой. Чего он хочет больше всего? Убежать с острова? Глупо. Они каждый раз ловили его. Чего же? Может, ему хочется поиграть во что-нибудь? Да, неплохо бы поиграть в обычные, нормальные игры — только без психонаблюдения. Да, да, это было бы здорово! Поиграть бы в «Поддай жестянку» или в «Верти бутылку»... Или просто достать бы резиновый мяч — с ним можно играть одному, бросать его в садовую стену, а потом, когда он отскочит, самому же и ловить. Да, да. Красный мяч.

— Перестань... — крикнул вдруг Песочный человек.

Наступила тишина.

Красный резиновый мяч подпрыгивал на земле.

Вверх, вниз, вверх, вниз прыгал красный резиновый мяч.

— Ой! — Роби только сейчас заметил его. — Откуда взялся этот мяч? — Он ударил его о стену, потом поймал. — Вот здорово!

Роби не заметил отсутствия незнакомца, который что-то кричал ему всего несколько секунд назад. Песочный человек исчез.

Вдали, в горячей тишине сада, что-то загрохотало. Это цилиндр мчался по туннелю к круглому люку в стене. Слабо зашипев, дверь распахнулась. Размеренные

шаги зашуршали на дорожке, и мистер Грилл появился возле пышного цветника тигровых лилий.

— Привет, Роби! Ой!.. — Мистер Грилл остановился, его круглощекое розовое лицо выразило испуг и изумление. — Что это тут у тебя, малыш? — крикнул он.

Роби швырнулся заинтересовавший Грилла предмет в стену:

— Это? Резиновый мяч.

— Мяч? — Маленькие голубые глазки Грилла сощурились, сделавшись еще меньше. Потом он пришел в себя. — Ну да, конечно. На секунду мне показалось, что он... что я...

Роби еще раз бросил мяч.

Грилл откашлялся.

— Пора идти на ленч. Час размышлений кончился. Я не вполне уверен, что патер Локк одобрит твои игры. Они не предусмотрены нашими правилами.

Роби тихонько чертыхнулся.

— Ну, так и быть! Играй. Я ничего ему не скажу. — Мистер Грилл был настроен великодушно.

— А мне вовсе и не хочется играть.

Роби насупился и залез носком сандалии прямо в грязь. Эти учители все портят. Вас даже стошнить не может без их разрешения.

Грилл сделал попытку задобрить мальчика:

— Если ты сейчас же пойдешь на ленч, я разрешу тебе потом посмотреть по телевизору на маму.

— Лимит времени — две минуты, десять секунд, ни больше ни меньше, — таков был язвительный ответ Роби.

— Вечно ты недоволен, Роби.

— Когда-нибудь я убегу — вот увидите!

— Хватит, малыш. Ты ведь знаешь, что мы опять поймаем тебя и приведем обратно.

— Кажется, я вообще не просил привозить меня сюда.

Глядя на свой новый красный мяч, Роби вдруг закусил губу. Ему показалось, что мяч... ну, что он как будто... да, что он шевельнулся. Чудно! Он взял мяч в руку. Мяч вздрогнул.

Грилл потрепал мальчика по плечу:

— Твоя мать неврастеничка. Вредная среда. Тебе лучше быть здесь, на острове. У тебя высокий коэффициент умственного развития, и ты должен гордиться тем, что живешь здесь, так же как и остальные одаренные дети. Ты неустойчив, мрачен, и мы стараемся изменить это. Со временем ты станешь полной противоположностью твоей матери.

— Я люблю мою маму.

— Ты *привязан* к ней, — спокойно поправил его мистер Грилл.

— Я привязан к маме, — повторил Роби, чем-то встревоженный. Красный мяч дернулся в его руках, хотя он не трогал его. Он взглянул на него с изумлением.

— Тебе же будет хуже, если ты будешь любить ее, — заметил Грилл.

— Вы чертовски глупы, — сказал Роби.

Грилл надулся.

— Не ругайся, Роби. К тому же ты не мог всерьез произнести слово «черт». Оно уже давным-давно вышло из употребления. Учебник семантики, раздел седьмой, страница четыреста восемнадцатая. Ярлыки и сущность.

— Вспомнил! — крикнул Роби, озираясь по сторонам. — Здесь только что был Песочный человек, и он сказал, что...

— Пошли! — сказал мистер Грилл. — Пора на ленч.

Тарелки с едой выскоцили из автоматов на пружинных подставках. Роби молча взял овальную тарелку и шаровидный сосуд с молоком. Красный резиновый мяч пульсировал и бился, как сердце, в том месте, где он его спрятал, — под рубашкой. Прозвучал гонг. Роби торопливо проглотил еду. Начался беспорядочный бег к туннелю. Словно перышки, дети были переброшены через весь остров на Социологию, а потом, в середине дня, опять на площадку для игр. Часы уходили.

Роби ускользнул в глубину сада, чтобы побывать одному. Ненависть к этому притупляющему, раз навсегда установленному распорядку, к учителям и сверстникам-ученикам бушевала в нем каким-то очистительным

потоком. Он сидел один и думал о своей матери, которая была так далеко. Он вспоминал до мельчайших подробностей ее лицо, ее запах, ее голос и то, как она обнимала и гладила, и целовала его. Он опустил голову на руки, и вскоре они стали влажными от его слез.

Он уронил свой красный резиновый мяч.

Нечаянно. Он думал только о матери.

Густые заросли всколыхнулись. Что-то двигалось в их дебрях быстро-быстро.

Какая-то женщина бежала в высокой траве.

Она убегала от Роби, но вдруг поскользнулась, громко вскрикнула и упала.

Что-то блеснуло в лучах солнца. Женщина бежала по направлению к этому серебристому блестящему предмету. Сфериод. Серебряный звездный корабль! Но откуда же появилась она? И почему бежала к шару? Почему упала, когда он, Роби, взглянул на нее? Кажется, она была не в силах подняться. Роби вскочил со своего камня и помчался к ней. Он поравнялся с женщиной и остановился.

— Мама! — вскричал он.

Ее лицо дрогнуло, и черты его стали меняться подобно тающему снегу. Потом на нем появилось выражение жестокости, оно сделалось четким и красивым.

— Я не мать тебе, — сказала она.

Он не слышал ее слов. Он слышал лишь собственное учащенное дыхание, вырывавшееся из дрожащих губ. Он был так слаб от пережитого потрясения, что едва стоял на ногах. Он протянул к ней руки.

— Неужели ты не понимаешь? — Лицо ее было холодно. — Я не мать тебе. Не называй меня так. Зачем мне название? Пусти меня обратно к моему кораблю. Я убью тебя, если не пущишь!

Роби пошатнулся.

— Мама, разве ты не узнаешь меня? Ведь я — Роби, твой сын! — Ему хотелось только одного — поплакать возле нее, рассказать ей о долгих месяцах тюрьмы. — О, пожалуйста, вспомни меня!

Ее пальцы схватили его за горло.

Она душила его.

Он попытался вскрикнуть. Но этот крик был пойман, загнан обратно в его легкие, готовые разорваться. У него подкосились ноги.

И вдруг, взглядываясь в ее холодное, злое, жестокое лицо, Роби нашел ответ — нашел ответ, хотя ее пальцы все крепче сжимали его горло и в глазах у него было уже почти совсем темно.

В ее лице он увидел черты Песочного человека.

Песочный человек! Звезда, упавшая с летнего неба, Серебряный шар — корабль, к которому бежала эта «женщина». Исчезновение Песочного человека, появление красного мяча, исчезновение красного мяча, а сейчас появление матери. Все это имело какую-то связь.

Матрицы. Стереотипы. Навыки мышления. Шаблоны. Материя. История Человека, его тело, все, что происходит во Вселенной.

Сейчас она убьет его.

Ей нужно, чтобы он перестал думать, — тогда она будет свободна.

Мысли. Мрак. Теперь он уже почти не мог пошевелиться. Он был очень-очень слаб. Сначала ему показалось, что «она» — его мать. Он ошибся. И сейчас «она» убьет его. А что, если он все-таки будет думать и придумает еще что-нибудь? Попытайся, Роби. Ну же, попытайся! Он весь напрягся. Во мраке и хаосе его мысли работали упорно-упорно.

С диким воплем его «мать» начала уменьшаться, сжиматься.

Он напряг последние силы.

Ее пальцы выпустили его горло. Яркое лицо сморщилось. Тело съежилось, осело.

Он был свободен. Тяжело дыша, он встал на ноги.

Вдалеке, сквозь заросли, он увидел серебристый сферионд, лежащий в лучах солнца. Пошатываясь, он направился к нему и вдруг вскрикнул, потрясенный внезапно возникшим у него в голове планом.

Он торжествующе рассмеялся. И еще раз посмотрел туда, где только что было «оно». Что осталось от женщины, которая у него на глазах изменила свою форму,

словно расплавленный воск? Он превратил ее во что-то другое, новое.

Садовая стена вздрогнула — цилиндр подземки с шипением поднимался по туннелю. Это приближался мистер Грилл. Роби должен поторопиться, не то его план рухнет.

Роби побежал к сфериоду, заглянул внутрь. Управление простое. И вполне достаточно места для его маленькой фигурки. Только бы осуществился его план. Он *должен* осуществиться. Он осуществится.

Весь сад задрожал от грохота приближавшегося цилиндра. Роби расхохотался. К черту мистера Грилла! К черту этот остров!

Он протиснулся в сфероид. Здесь было много такого, чему он мог научиться. Это придет не сразу. Пока он еще совсем новичок в этой науке, но и то немногое, что он уже успел узнать, спасло ему жизнь, а сейчас поможет сделать еще нечто.

Чей-то голос раздался за его спиной. Знакомый голос. До того знакомый, что Роби содрогнулся. Шаги маленьких детских ног зашуршали в кустарнике. Маленькие ноги, маленькая фигурка. Тихий умоляющий голосок.

Роби схватился за рычаги управления. Это побег! Он совершился, и никто ничего не заподозрит. Просто. Изумительно. Грилл никогда не узнает.

Дверца шара захлопнулась. Вперед!

Корабль с Роби на борту поднялся в летнее небо.

Мистер Грилл вышел из люка в садовой стене. Он оглянулся, ища Роби. Горячий свет брызнул ему в лицо, когда он торопливо зашагал по дорожке.

Вот он! Роби был здесь, перед ним. Маленький Роби Моррисон стоял, глядя в небо, сжимая кулаки и что-то крича в пустоту. Во всяком случае, Грилл видел там только пустоту.

— Хелло, Роби! — окликнул его Грилл.

При звуке его голоса мальчик судорожно дернулся. Он весь колыхался. Цвет, плотность, качество — все мгновенно менялось. Грилл прищурился, решив, что все это только померещилось ему от солнца.

— Я не Роби! — крикнул мальчик. — Роби сбежал! Он оставил меня вместо себя, чтобы одурачить вас и чтобы вы не погнались за ним! Он одурачил и меня! — крикнул ребенок с сердитым рыданием. — Нет, нет, не смотрите на меня так! Не думайте, что я Роби, от этого мне станет еще хуже. Вы ожидали, что застанете его, а нашли меня и превратили меня в Роби! Вы отлили меня в его форму, и теперь я уже никогда, никогда не смогу измениться. О Боже!

— Ну, пойдем же, Роби.

— Роби никогда не вернется. Я всегда буду им. Я был резиновым мячом, женщиной. Песочным человеком. Но, поверьте мне, я — атом, способный видоизменяться, и ничего больше. Отпустите меня!

Грилл медленно отступал. Он криво улыбался.

— Я — сущность. Я *не* ярлык! — крикнул мальчик.

— Да, да, конечно. Ну а теперь, Роби, подожди меня минуточку здесь, вот здесь... Я сейчас, я сейчас, я сейчас созвонюсь с психоклиникой.

Через несколько минут целый отряд санитаров бежал по саду.

— Будьте вы все прокляты! — вскричал мальчик, сопротивляясь. — Убрайтесь к дьяволу!

— Тише! — спокойно возразил Грилл, помогая остальным запихнуть ребенка в цилиндр подземки. — Сейчас ты употребил ярлык, который не имеет под собой никакой сущности!

Цилиндр умчал их в туннель.

Серебристая звезда еще мерцала в летнем небе, но вскоре исчезла.

ПОЧТИ КОНЕЦ СВЕТА

Bольдень двадцать второго августа 1961 года Уилли Берсингер, слегка надавливая на акселератор ветхого джипа старательским сапогом, глядел на раскинувшийся перед ним городок Утесы и вел неторопливую беседу со своим компаньоном Сэмюэлом Фиттсом:

— И все-таки, Сэмюэл, это здорово — возвращаться в город. Да, сэр! После нескольких месяцев на руднике Ужасный Цент заурядный музыкальный автомат производит на меня такое же впечатление, как витраж в соборе. Нам необходим город; без него мы однажды проснулись бы и почувствовали себя куском вяленой говядины или оцепеневшим камнем. Ну и, конечно, мы тоже, в свою очередь, нужны городу.

— Это почему? — поинтересовался Сэмюэл Фиттс.

— Видишь ли, мы приносим в города то, чего там нет: горы, речки, ночь в пустыне, звезды и все такое...

«И это действительно так, — размышлял Уилли, прибавляя скорости. — Стоит человеку пожить в глупши, на краю света, и он начинает пить из родников тишины. Он слышит и безмолвие зарослей шалфея, и урчание горного льва, похожее на шум улья в знойный день, и молчание речных отмелей на дне каньонов. Все это человек впитывает в себя. А в городе, едва открыв рот, он все это выдыхает».

— Ах, как я люблю развалиться в мягком парикмахерском кресле, — признался Уилли. — И обвести взглядом

всех этих горожан, которые сидят в очереди под календарем с изображением голой девицы и таращаются на меня, пока я им разжевываю свою философию скал, миражей и того особого Времени, что затаилось там, в горах, и ждет, когда Человек уйдет прочь. Я выдыхаю — и та пустыня тончайшей пылью оседает на клиентах. Как хорошо: я говорю тихо и плавно, говорю и говорю...

Он представил себе, как в глазах клиентов вспыхивают искорки. В один прекрасный день они возопят и бегом кинутся в горы, бросив свои семьи и оставив позади цивилизацию будильников.

— Приятно ощущать, что ты нужен. Мы с тобой, Сэмюэл, являем собой фундаментальную ценность для этих парней, топчущих тротуары. Так расступитесь же перед нами, Утесы!

И приятели пулей влетели в город, преисполненный трепетного восхищения и благоговения.

Они проехали по городку, наверное, с сотню футов, как вдруг Уилли ударил по тормозам. Колымага, словно корова, замерла посреди дороги, и с бампера осыпалась хлопья ржавчины.

— Что-то тут не так, — проговорил Уилли. Он покосился по сторонам своими рысыми глазами. Мощным носом принюхался. — Чуешь?

— Точно, — подтвердил Сэмюэл, которого кольнуло недобродорожье предчувствие. — Что это может?..

Уилли нахмурился:

— Ты когда-нибудь видел лазурного индейца на той табачной лавке?

— Никогда.

— Так вот погляди. А розовую конуру, а оранжевый сарай, а фиолетовый курятник? Смотри: вон там, там и там!

Мужчины медленно поднялись с сидений и вылезли на подножки, которые под ними мучительно заскрипели.

— Сэмюэл, — прошептал Уилли, — ты только глянь! Да тут все: каждое полено, перила на всех верандах, все заборы, каждый пожарный гидрант, мусорные баки —

да весь чертов город... Смотри! Его покрасили только час назад!

— Быть не может, — вымолвил Сэмюэл Фиттс.

Тем не менее прямо перед их носом располагались: баптистская церковь, пожарная команда, летняя эстрада, трамвайное депо, «Приют скорбящих духом», окружная тюрьма, кошачья лечебница, парники, бунгало, коттеджи, а среди них тут и там виднелись телефонные будки, почтовые ящики, урны, вывески, — и все это сверкало и переливалось разнообразнейшими оттенками янтарно-желтого, изумрудно-зеленого, рубиново-красного. Каждая постройка — от водонапорной вышки до цирка-шапито — выглядела так, будто сам Господь Бог только что вымыл ее, выкрасил и выставил на улицу просохнуть.

И это еще не все: там, где испокон веку росла лишь сорная трава, повсюду теперь зеленели лук, капуста, салат. Толпы любопытных подсолнухов уставились в полуденное небо, а под сенью бесчисленных деревьев огромные и влажные «канютины глазки» взирали на подстриженные лужайки, которые были зеленее рекламных плакатов ирландского туристического агентства. А в довершение мимо приятелей промчалась ватага мальчишек — с вымытыми мылом лицами, аккуратно причесанных, в белоснежных футболках, трусах и кедах.

— Этот город, — констатировал Уилли, провожая взглядом ребятишек, — просто спятил. Непостижимо! Кругом загадки. Сэмюэл, что за тиран захватил здесь власть? Неужели принят какой-то необыкновенный закон, способный заставить детей не пачкаться, а взрослых — красить каждую зубочистку, каждый цветочный горшочек? Чувствуешь этот запах? В каждом доме новые обои! Какая-то пагуба, приняв ужасный вид, обуяла этих людей и терзает их. Человеческая природа не может стать столь совершенной за одну ночь. Готов спорить на все золото, которое намыл за этот месяц, что здесь любой чердак, любой подвал вычищен не хуже, чем палуба линкора. Спорим, что тут в самом деле стряслось нечто серьезное?

— Отчего же? Мне, например, наоборот, кажется, что я слышу, как херувимы поют в Эдемском саду, — возразил Сэмюэл. — Откуда ты взял, будто это пагуба? Давай сюда руку, поспорим, и я положу твои денежки себе в карман!

Джип свернулся за угол, и порыв ветра донес до старателей запах канифоли и белил. Сэмюэл, фыркнув, выбросил в окошко обертку от жевательной резинки. То, что за этим последовало, немало озадачило его. На улицу выскочил какой-то старикашка в новеньком комбинезоне и начищенных до зеркального блеска башмаках, схватил мятую бумажку и злобно погрозил кулаком вслед удалявшейся машине.

— Пагуба... — обернувшись, с грустью сказал Сэмюэл Фиттс. — Тем не менее... наш спор все еще в силе.

Открыв дверь парикмахерской, друзья увидели, что там полным-полно людей, чьи волосы были уже пострижены и напомажены, а лица выбриты так тщательно, что казались чуть ли не розовыми. Несмотря на это, все они дожидались своей очереди, чтобы снова плюхнуться в кресла, вокруг которых суетились три парикмахера, вовсю орудуя ножницами и расческами. В комнате было шумно, как на фондовой бирже, поскольку и цирюльники, и клиенты говорили одновременно.

Как только Уилли и Сэмюэл вошли, гомон мгновенно стих.

— Сэм... Уилли...

В наступившей вдруг тишине некоторые из мужчин встали со своих мест, а кое-кто из стоявших сел, пристально рассматривая старателей.

— Сэмюэл, — шепнул Уилли уголком рта, — у меня такое ощущение, что где-то здесь стоит Красная Смерть собственной персоной. — И добавил громко: — Привет честной компании! Вот и я. Хочу закончить мою лекцию на интереснейшую тему: «Флора и фауна Великой американской пустыни», а также...

— Нет! — Антонелли, главный брадобрей, стремглав бросился к Уилли, одной рукой схватил его за локоть, а другой зажал ему рот. — Уилли, — зашептал он, с беспокойством поглядывая через плечо на своих клиентов, — пообещай мне одну вещь: ты купишь

иголку с ниткой и зашьешь свою пасть. Молчи, парень, если жизнь тебе еще дорога!

Уилли и Сэмюэл почувствовали, как Антонелли настойчиво подталкивает их вперед. Двое безукоризненно постриженных и побритых клиентов предупредительно выпорхнули из кресел, и старатели заняли их места. Друзья посмотрели на собственное отражение в засиженном мухами зеркале.

— Сэмюэл, ты погляди! Это же мы! Ты только сравни!

— Ба, и правда... Похоже, мы — единственные в Утесах, кому действительно нужно постричься и побритьсь.

— Чужаки! — Антонелли помог им поудобнее устроиться в креслах, как будто собирался быстренько сделать старателям анестезию. — Вы даже не представляете себе, до какой степени вы здесь чужаки!

— Послушай, дружище, нас тут не было всего несколько месяцев...

Горячее полотенце, от которого валил пар, накрыло лицо Уилли; он издал несколько придушенных взглазов и подчинился. Погрузившись в горячую влажную тьму, старатель услышал низкий настойчивый голос Антонелли:

— Мы приведем вас в порядок, и вы будете, как все. Не то чтобы вы выглядели опасными, вовсе нет! Но вот то, что вы, ребята, болтаете, может расстроить людей — по нынешним-то временам...

— По нынешним временам, черт побери! — Уилли приподнял край раскаленного полотенца и тусклым глазом уставился на Антонелли. — Что случилось в Утесах?

— Не только в Утесах. — Антонелли вперил взор в некий невероятный мираж по ту сторону горизонта. — В Фениксе, Тусоне, Денвере. Во всех городах Америки! На прошлой неделе мы с женой ездили на экскурсию в Чикаго. Вообрази себе Чикаго чистым, выкрашенным и новеньким. «Жемчужина Востока» — во как его теперь называют! В Питтсбурге, Цинциннати, Буффало — то же самое! А все из-за того, что... Знаешь... Встань-ка, пойди включи вон тот телевизор у стенки.

Уилли отдал Антонелли дымящееся полотенце, подошел к телевизору и включил его. Прислушался к жужжанию, покрутил ручки, подождал. На экране шел снег.

— А теперь попробуй радио, — посоветовал Антонелли.

Уилли спиной ощущил, как все присутствующие напряженно следили за ним, когда он пробовал настроиться то на одну, то на другую станцию.

— Дьявольщина! — ругнулся он в конце концов. — У тебя сломались и телек, и радио!

— Никак нет, — смириенно возразил Антонелли.

Уилли снова развалился в кресле и прикрыл глаза. Антонелли нагнулся и горько вздохнул.

— Слушай, — сказал он. — Недели четыре назад, уже ближе к полудню, женщины с детьми смотрят по телевизору клоунов и фокусников. В магазинах одежды дамочки смотрят по телеку демонстрацию мод. В парикмахерских и скобяных лавках мужчины следят за бейсбольным матчем или соревнованием по ловле форели. Во всем цивилизованном мире каждый человек что-нибудь смотрит. Все замерли, никто не разговаривает, движение и голоса — только на маленьких черно-белых экранах. И вдруг в самый разгар всего этого смотрения... — Антонелли на минуту умолк, приподнял уголок вареного полотенца. — Пятна на Солнце! — молвил он.

Уилли весь напрягся.

— Самые большие солнечные пятна, будь они прокляты, за всю историю человечества. Весь этот чертов мир накрыла волна электричества и все начисто смыла с экрана каждого телевизора. И ничего не оставила, а потом — опять-таки пустота.

Голос его звучал отстраненно, как у человека, описывающего арктический пейзаж. Брадобрей намылил щеки и подбородок Уилли, даже не взглянув на его лицо.

Уилли оглядел парикмахерскую; телевизор жужжал, показывая вечную зиму, на экране падал и падал мягкий снег. Ему показалось, что он слышит, как по-заячий бьется каждое сердце в помещении.

Тем временем Антонелли продолжал свою надгробную речь:

— Нам потребовался целый день, чтобы осознать происшедшее. Через два часа после того, как разразилась солнечная буря, все телевизионные мастера Соединенных Штатов были подняты на ноги. Каждый считал, что только его телевизор не в порядке. А поскольку не работали и радиоприемники, в тот вечер, как в старину, мальчишки бегали по улицам и выкрикивали газетные заголовки. Вот тогда-то нас и потрясла весть о том, что эти пятна на Солнце будут еще долго — до конца нашей жизни!

Посетители заволновались и что-то забормотали. Рука Антонелли, сжимавшая бритву, дрожала. Ему надо было успокоиться.

— Вся эта пустота, эта порожняя дрянь, которая все падает и падает в наших телевизорах... Это просто сводит всех с ума, доложу я тебе. Как будто стоишь в передней и разговариваешь со своим добрым приятелем, а он вдруг — бац! — на полуслове падает замертво и лежит вот тут, лицо белое, и ты понимаешь, что он умер, и от ужаса сам весь холодаешь.

В тот первый вечер все городские кинотеатры были переполнены. Фильмов хотя и было немного, но казалось, что в центре города «Приют скорбящих духом» устроил праздничный бал, который длился до глубокой ночи. В первый вечер Бедствия в аптеке продали двести порций ванильного мороженого, триста порций содовой с шоколадным сиропом. Но нельзя же ведь каждый вечер ходить в кино и покупать лимонад. И что тогда остается? Позвонить теще с тестем и пригласить их поиграть в канастру?

— Ну, от этого, — заметил Уилли, — тоже запросто можно чокнуться.

— Безусловно. Но ведь людям необходимо было выбраться из своих опостылевших жилищ. Пройти через гостиную — все равно что прогуляться по кладбищу: кругом мертвая тишина...

Уилли приподнялся:

— Если уж говорить о тишине...

— На третий день, — поспешил перебил его Антонелли, — мы все еще пребывали в шоке. И спасла нас от неминуемого помешательства некая женщина. Где-то в городе она сначала высунула голову из двери своего дома, исчезла, а через минуту снова показалась во дворике. В одной руке она держала кисть. А в другой...

— Ведерко с краской, — подсказал Уилли.

Все присутствующие закивали и заулыбались, радуясь его сообразительности.

— Если когда-нибудь психологи начнут награждать золотыми медалями, они просто обязаны наградить эту женщину и всех женщин, подобных ей, в каждом маленьком городке, потому что именно они спасли наш мир от светопреставления. Эти женщины инстинктивно нашупали верную дорогу в сгустившихся сумерках и принесли нам чудесное исцеление...

Уилли представил себе сосредоточенных, замкнувшихся отцов семейств и их хмурых отпрысков, в отчаянии сидящих перед мертвыми телевизорами в ожидании, когда наконец эти проклятые ящики заработают и можно будет завопить: «Первый мяч!!!», или «Второй удар!!!» И вдруг они пробуждаются от своего забытья, поднимают глаза и в предвечернем сумраке видят эту прекрасную женщину. Она преисполнена великого благородства и несгибаемой целеустремленности; она ждет их, в одной руке сжимая малярную кисть, а в другой — ведро с краской. И свет неземной осиял их ланиты и очи...

— Боже мой, это было похоже на лесной пожар, — продолжал Антонелли. — От дома к дому, от города к городу. Всеобщее помешательство на головоломке «Мозаика» в 1932 году можно считать пустяком по сравнению с нашей манией «Каждый делает все», которая взорвала город, оставив от него груду обломков, а затем снова все склеила. Мужчины красили любой предмет, около которого им удавалось простоять хотя бы десять секунд. Повсюду они забирались на колокольни, шпили и заборы, сотнями падали с крыш и стремянок. Женщины красили комоды и шкафы; дети красили игрушки, фургоны и воздушные змеи. И так везде, во всех городках, где люди совсем было разучились раскрывать

рот и беседовать друг с другом. Говорю тебе, мужчины ходили, как лунатики, кругами, совершенно бессмыс-ленно, пока жены не вкладывали им в руку кисть и не подводили к ближайшей некрашеной стенке.

— Похоже, вы уже всю работу закончили, — сказал Уилли.

— За первую неделю в магазинах трижды кончалась краска. — Антонелли с гордостью посмотрел вокруг. — Разумеется, так долго покраской заниматься невозможно, если, конечно, не начать красить живые изгороди и каждую травинку в отдельности. И теперь, когда чердаки и подвалы тоже вычищены, наша жажда деятельности перекинулась... Короче говоря, женщины опять консервируют фрукты, маринуют помидоры, варят малиновый и клубничный джем. В погребах на полках уже нет места. А еще начали проводить многолюдные богослужения. Создали клубы поклонников боулинга, бейсбола, проводим любительские соревнования по боксу, ну и все такое прочее. Музикальный магазин продал пятьсот гавайских гитар, двести двенадцать банджо, четыреста шестьдесят флейт и гобоев — это за последние четыре недели! Я сам учусь играть на тромbone. А вон сидит Мэк, он — на скрипке. Каждый четверг и воскресенье по вечерам оркестр дает концерт. А машинки для домашнего приготовления мороженого идут прямо нарасхват: только на прошлой неделе Берт Тайсон продал двести штук! Двадцать восемь дней, Уилли, Двадцать Восемь Дней, Которые Потрясли Мир!

Уилли Берсингер и Сэмюэл Фиттс сидели задумавшись, пытаясь представить себе, почувствовать это потрясение, пережитое городом, этот сокрушительный удар.

— Двадцать восемь дней парикмахерская переполнена мужчинами, которые бреются по два раза на дню только для того, чтобы сидеть здесь и ждать, когда точно такие же клиенты, как и они, может, что-нибудь расскажут, — говорил Антонелли, наконец-то начавший брить Уилли. — Вспомни, некогда, еще до телевидения, считалось, что парикмахеры чрезвычайно болтливы. Поначалу нам понадобилась целая неделя, чтобы прийти в норму, разогреться, так сказать, счистить ржавчину.

Сейчас мы тараторим без умолку; качество, конечно, никудышнее, но количество просто поразительно. Да ты и сам слышал весь этот гвалт, когда вошел сюда. Впрочем, все, разумеется, придет в норму, когда мы свыкнемся с великим Бедствием...

— Неужели все именно так называют то, что произошло?

— Безусловно, большинство из нас именно так это и воспринимает, может быть, временно.

Уилли Берсингер тихонько засмеялся и покачал головой:

— Теперь я понимаю, почему, увидев меня, ты не захотел, чтобы я закончил свою лекцию.

«Странно, — подумал Уилли, — что я сразу об этом не догадался. Какие-то четыре недели назад на этот городок обрушилось безмолвие, и оно их изрядно напугало. Из-за пятен на Солнце во всех городах западного мира тишины хватит лет на десять. А тут еще появляюсь я со своей проповедью отшельничества, болтовней о пустыне, безлунных ночах, звездном небе и шепоте песка в руслах пересохших ручьев. Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы Антонелли не заткнул мне рот. Скорее всего меня бы обмазали смолой, вывалили в перьях и под улюлюканье горожан вышвырнули прочь».

— Антонелли, — сказал он вслух, — спасибо.

— Не за что, — ответил тот и, взяv ножницы и расческу, спросил: — Как будем стричь? Виски покороче, сзади подлиннее?

— С боков подлиннее, на затылке покороче, — ответил Уилли Берсингер, снова закрывая глаза.

Час спустя Уилли и Сэмюэл опять садились в свой драндулет, который кто-то — друзья так никогда и не узнали кто — помыл и отполировал, покуда они были в парикмахерской.

— Пагуба, — Сэмюэл протянул небольшой мешочек золотого песка, — с большой буквы «П».

— Оставь. — Уилли положил руки на руль и задумался. — Давай лучше на эти деньги махнем в Феникс, Тусон, Канзас-Сити. А почему нет? Здесь мы совершенно

лишние. И не понадобимся до тех пор, пока эти маленькие яички снова не начнут нести околесицу, петь и плясать. Дураку ясно, если мы останемся здесь, то непременно влипнем в неприятности.

Уилли хмурым взглядом посмотрел на дорогу, уходящую вдаль.

— Жемчужина Востока! Кажется, так он сказал? Ты можешь себе представить этот старый грязный город — Чикаго — покрашенным, блестящим и свежим, словно младенец в лучах восходящего солнца? Клянусь всем святым, мы прямо сейчас едем смотреть Чикаго!

Он завел мотор, посмотрел на город.

— Человек выживает, — пробормотал Уилли. — Человек может вынести все. Как жаль, что мы пропустили момент больших перемен. Наверно, это было жестокое время, час испытаний и проверки на прочность. Сэмюэл, я что-то запамятовал, может, ты помнишь? Мы с тобой когда-нибудь смотрели телевизор?

— Я однажды смотрел, как женщина боролась с медведем.

— И кто же победил?

— Хоть убей, не помню. Она...

Но тут джип тронулся, унося с собой Уилли Берсингера и Сэмюэла Фиттса, щегольски постриженных, идеально выбритых и благоухающих одеколоном. На их отполированных ногтях играло солнце. Они проплыли под густыми ярко-зелеными кронами только что полityх деревьев, по обсаженным цветами улочкам, мимо желтых, розовых, лиловых, белых домиков и выехали на шоссе, где не было ни единой пылинки.

— Жемчужина Востока, принимай гостей!

Из какого-то двора выскочила собака, надущенная, с завитой на бигуди шерстью, попыталась укусить машину за колесо и залаяла. Она лаяла, пока старатели не скрылись из виду.

ЗДЕСЬ МОГУТ ВОДИТЬСЯ ТИГРЫ

-Надо бить планету ее же оружием, — сказал Чаттертон. — Ступите на нее, распорите ей брюхо, отравите животных, запрудите реки, стерилизуйте воздух, протараньте ее, поработайте как следует киркой, заберите руду и пошлите ко всем чертям, как только получите все, что хотели получить. Не то планета жестоко отомстит вам. Планетам доверять нельзя. Все они разные, но все враждебны нам и готовы причинить вред, особенно такая отдаленная, как эта, — в миллиарде километров от всего на свете. Поэтому нападайте первыми, сдирайте с нее шкуру, выграбайте минералы и удираите живее, пока эта окаянная планета не взорвалась вам прямо в лицо. Вот как надо обращаться с ними.

Ракета садилась на седьмую планету 84-й звездной системы. Она пролетела много миллионов километров. Земля находилась где-то очень далеко. Люди забыли, как выглядит земное Солнце. Их Солнечная система была уже обжита, изучена, использована, как и другие, обшаренные вдоль и поперек, выдоенные, украденные, и теперь звездные корабли крошечных человечков — жителей невероятно отдаленной планеты — исследовали новые далекие миры. За несколько месяцев, за несколько лет они могли преодолеть любое расстояние, ибо скорость их ракет равнялась скорости самого Бога, и вот сейчас, в десятитысячный раз, одна из таких

ракет — участниц этой охоты за планетами — опускалась в чужой, неведомый мир.

— Нет, — ответил капитан Форестер. — Я слишком уважаю другие миры, чтобы обращаться с ними по вашему методу, Чаттертон. Благодарение Богу, грабить и разрушать — не мое дело. К счастью, я только астронавт. Вот вы — антрополог и минералог. Что ж, действуйте — копайте, забирайтесь в недра и скоблите. А я буду только наблюдать. Я буду бродить и смотреть на этот новый мир, каким бы он ни был, каким бы он ни казался. Я люблю смотреть. Все астронавты любят смотреть, иначе они бы не были астронавтами. Если ты астронавт, тебе нравится вдыхать новые запахи, видеть новые краски и новых людей. Впрочем, существуют ли еще они — новые люди, новые океаны и новые острова?

— Не забудьте захватить с собой револьвер, — посоветовал Чаттертон.

— Только в кобуре, — ответил Форестер.

Оба они взглянули в иллюминатор и увидели целое море зелени, поднимавшееся навстречу кораблю.

— Интересно бы узнать, что эта планета думает о нас, — заметил Форестер.

— Меня-то она невзлюбит, — заявил Чаттертон. — И уж я, черт возьми, позабочусь о том, чтобы заслужить эту нелюбовь. Плевать я хотел на всякие там тонкости. Деньги — вот то, ради чего я прилетел сюда. Давайте высадимся здесь, капитан. Мне кажется, земля почва полна железа, если я хоть что-нибудь в этом смысле.

Зелень была удивительно свежая — такой они видели ее разве только в детстве.

Озера, словно голубые капли, лежали меж отлогих холмов. Не было ни шумных шоссе, ни рекламных щитов, ни городов. «Какое-то бесконечное зеленое поле для гольфа, — подумал Форестер. — Гоняя мяч по этой зеленой траве, можно пройти десятки тысяч километров в любом направлении и все-таки не кончить игры. Планета, созданная для отдыха, огромная крокетная площадка, где можно целый день лежать на спине, полузакрыв глаза, покусывать стебелек кашки, вдыхать

запах травы, улыбаться небу и наслаждаться вечным праздником, вставая лишь для того, чтобы перелистать воскресный выпуск газеты или с треском прогнать через проволочные ворота деревянный шар с красной полоской».

— Если бывают планеты-женщины, то это одна из них!

— Женщина — снаружи, мужчина — внутри, — возразил Чаттертон. — Там, внутри, все твердое, все мужское — железо, медь, уран, антрацит. Не поддавайтесь чарам косметики, Форестер, она одурачит вас.

Он подошел к бункеру, где хранился Почвенный Бур. Его огромный винтовой наконечник блестел, отсвечивая голубым, готовый вонзиться в почву и высосать пробы на глубине двадцати метров, а то и глубже — забраться поближе к сердцу планеты. Чаттертон кивком головы указал на Бур:

— Мы ее продырявим, вашу женщину, Форестер, мы продырявим ее насеквоздь.

— В этом я не сомневаюсь, — спокойно ответил Форестер.

Корабль пошел на посадку.

— Здесь слишком зелено, слишком уж мирно, — сказал Чаттертон. — Мне это не нравится. — Он обернулся к капитану: — Мы выйдем с оружием.

— С вашего разрешения, распоряжаться здесь буду я.

— Конечно. Но моя компания вложила в эти механизмы огромный капитал — миллионы долларов, и наш долг — обезопасить эти деньги.

Воздух на новой планете — седьмой планете 84-й звездной системы — был прекрасный. Дверца распахнулась. Люди вышли друг за другом и оказались в настоящей оранжерее.

Последним вышел Чаттертон с револьвером в руке.

В тот момент когда он ступил на зеленую лужайку, земля дрогнула. По траве пробежал трепет. Загромыхало в отдаленном лесу. Небо покрылось облаками и потемнело. Астронавты внимательно смотрели на Чаттертона.

— Черт побери, да это землетрясение!

Чаттертон сильно побледнел. Все засмеялись.

— Вы не понравились планете, Чаттертон!

— Чепуха!

Наконец все стихло.

— Но когда выходили мы, никакого землетрясения не было, — возразил капитан Форестер. — Очевидно, ваша философия пришла к планете не по душе.

— Совпадение! — усмехнулся Чаттертон. — Пошли обратно. Я хочу вытащить Бур и через полчасика взять несколько проб.

— Одну минутку! — Форестер уже не смеялся. — Прежде всего мы должны осмотреть местность, убедиться, что здесь нет враждебных нам людей или животных. А кроме того, не каждый год натыкаешься на такую планету. Уж очень она хороша! Надеюсь, вы не будете возражать, если мы прогуляемся и осмотрим ее.

— Согласен. — Чаттертон присоединился к остальным. — Только давайте поскорее покончим с этим.

Они оставили у корабля охрану и зашагали по полям и лугам, взбираясь на отлогие холмы, спускаясь в неглубокие долины. Словно ватага мальчишек, которые вырвались на простор в чудеснейший день самого прекрасного лета и самого замечательного за всю историю человечества года, разгуливали они по лужайкам. Так приятно было бы поиграть здесь в крокет, и, пожалуй, если бы хорошенко прислушаться, можно было бы услышать шорох деревянного мяча, прошелестевшего в траве, звон от его удара по железным воротцам, приглушенные голоса мужчин, внезапный всплеск женского смеха, донесшийся из какой-нибудь тенистой, увитой плещом беседки, и даже потрескивание льда в кувшине с водой.

— Эй! — крикнул Дрисколл, один из самых молодых членов экипажа, с наслаждением вдыхая воздух. — Я прихватил с собой все для бейсбола. Не сыграть ли нам попозже? Ну что за прелесть!

Мужчины тихо засмеялись. Да, что и говорить, это был самый лучший сезон для бейсбола, самый подходящий ветерок для тенниса, самая удачная погода для прогулок на велосипеде и сбора дикого винограда.

— А что, если бы нам пришлось скосить все это? — спросил Дрисколл.

Астронавты остановились.

— Так я и знал: тут что-то неладно! — воскликнул Чаттертон. — Взгляните на траву. Она скошена совсем недавно!

— А может, это какая-нибудь разновидность дикондры? Она всегда короткая.

Чаттертон сплюнул прямо на зеленую траву и растер плевок сапогом.

— Не нравится, не нравится мне все это. Если с нами что-нибудь случится, на Земле никто ничего не узнает. Нелепый порядок: если ракета не возвращается, мы никогда не посылаем вторую, чтобы выяснить причину.

— Вполне естественно, — сказал Форестер. — Мы не можем вести бесплодные войны с тысячами враждебных миров. Каждая ракета — это годы, деньги, человеческие жизни. Мы не можем позволить себе рисковать *двумя* ракетами, если один полет уже доказал, что планета враждебна. Мы летаем на мирные планеты. Вроде вот этой.

— Я часто задумываюсь о том, — заметил Дрисколл, — что случилось с исчезнувшими экспедициями, посланными в те миры, куда мы больше не пытаемся попасть.

Чаттертон пристально смотрел на дальний лес.

— Они были расстреляны, уничтожены, зажарены. Что может случиться и с нами в любую минуту. Пора возвращаться и приступать к работе, капитан.

Они стояли на вершине небольшого холма.

— Какое дивное ощущение! — произнес Дрисколл, взмахнув руками. — А помните, как мы бегали, когда были мальчишками, и как нас подгонял ветер? Словно за плечами вырастали крылья. Бывало, бежишь и думаешь: вот-вот полечу. И все-таки этого никогда не случалось.

Мужчины остановились, охваченные воспоминаниями. В воздухе пахло цветочной пыльцой и капельками недавнего дождя, быстро высыхавшими на миллионах былинок.

Дрисколл пробежал несколько шагов.

— О Господи, что за ветерок! Ведь, в сущности, мы никогда не летаем по-настоящему. Мы сидим в толстой

металлической клетке, но ведь это же не полет. Мы никогда не летаем, как летают птицы, сами по себе. А как чудесно было бы раскинуть руки вот так... — Он распостер руки. — И побежать... — Он побежал вперед, сам смеясь своей нелепой фантазии. — И полететь! — вскричал он.

И полетел.

Время молча бежало на часах людей, стоявших внизу. Они смотрели вверх. И вот с неба донесся взрыв неправдоподобно счастливого смеха.

— Велите ему вернуться, — прошептал Чаттертон. — Он будет убит.

Никто не ответил Чаттертону, никто не смотрел на него; все были потрясены и только улыбались.

Наконец Дрисколл опустился на землю у их ног.

— Вы видели? Черт побери, ведь я летал!

Да, они видели.

— Дайте-ка мне сесть! Ах, Боже мой, я не могу прйти в себя! — Дрисколл, смеясь, похлопал себя по коленям. — Я воробей, я сокол, честное слово! Вот что — теперь попробуйте вы, попробуйте все!

Он замолчал, потом заговорил снова, сияя, захлебываясь от восторга:

— Это все ветер. Он подхватил меня и понес!

— Давайте уйдем отсюда, — сказал Чаттертон, озираясь по сторонам и подозрительно разглядывая голубое небо. — Это ловушка. Нас хотят заманить в воздух. А потом швырнуть вниз и убить. Я иду назад, к кораблю.

— Вам придется подождать моего приказа, — заметил Форестер.

Все нахмурились. Было тепло, но в то же время прохладно, дул легкий ветерок. В воздухе трепетал какой-то звенящий звук, словно кто-то запустил бумажного змея, — звук весной.

— Я *попросил* ветер, чтобы он помог мне полететь, — сказал Дрисколл, — и он помог.

Форестер отвел остальных в сторону:

— Следующим буду я. Если я погибну — все назад к кораблю!

— Прошу прощения, — вмешался Чаттертон. — Но я не могу этого допустить. Вы капитан. Мы не можем рисковать вами. — Он вытащил револьвер. — Вы обязаны признавать здесь мой авторитет и мою власть. Игра зашла слишком далеко. Приказываю вам вернуться на корабль!

— Спрячьте револьвер, — хладнокровно ответил Форестер.

— Остановитесь, безумцы! — Прищурившись, Чаттертон переводил взгляд с одного астронавта на другого. — Неужели вы еще не поняли? Этот мир *живой*. Он разглядывает нас и пока что играет с нами, а сам выжидает благоприятной минуты.

— Это мое дело, — отрезал Форестер. — А вы — если сию же минуту не спрячете револьвер — пойдете назад к кораблю под конвоем.

— Все вы сошли с ума! Если не хотите идти со мной, можете умирать здесь, а я иду назад, беру пробы и запускаю ракету.

— Чаттертон!

— Не пытайтесь удержать меня!

Чаттертон побежал. И вдруг громко вскрикнул. Все подняли глаза — и тоже не удержались от крика.

— Он там, — сказал Дрисколл.

Чаттертон был уже высоко в небе.

Ночь опустилась незаметно, словно закрылся чайто большой ласковый глаз. Оцепеневший от изумления Чаттертон лежал на склоне холма. Остальные сидели вокруг, усталые, но веселые. Он не желал смотреть на них, не желал смотреть на небо. Внутренне скавшись, он хотел лишь одного — ощущать твердую землю, ощущать свои руки, ноги, все свое тело.

— Это было изумительно! — сказал астронавт, которого звали Кестлер.

Все они успели полетать, словно скворцы, орлы, воробыи, и были счастливы.

— Эй, Чаттертон, придите в себя и признайтесь: вам понравилось? — спросил Кестлер.

— Этого не может быть! — Чаттертон крепко заожмурился. — Она не могла сделать это. То есть могла,

но только при одном условии — если воздух здесь *живой*. Он словно зажал меня в кулаке и поднял вверх. А сейчас, в любую минуту, он может убить всех нас. Он живой!

— Отлично, — согласился Кестлер. — Допустим, что он живой. А у всего живого должна быть какая-то цель. Так вот, может быть, цель этой планеты как раз и состоит в том, чтобы сделать нас счастливыми!

Словно в подтверждение его слов, к ним подлетел Дрисколл, держа в каждой руке по фляге.

— Я нашел ручей с вкусной, чистой водой. Попробуйте!

Форестер взял флягу и поднес ее Чаттертону, предлагаая выпить глоток, но Чаттертон покачал головой и отшатнулся. Он закрыл лицо руками:

— Это кровь здешней планеты. Живая кровь. Выпейте ее, и вместе с ней вы впустите в себя этот мир. Вы будете видеть его глазами, слышать его ушами. Нет, нет, благодарю.

Форестер пожал плечами и отхлебнул из фляжки.

— Вино! — воскликнул он.

— Не может быть!

— Это вино. Понюхайте его, попробуйте. Отличное белое вино.

— Французское столовое, — подтвердил Дрисколл, выпив свою порцию.

— Яд! — изрек Чаттертон.

Фляжка пошла по кругу.

Весь этот ласковый день они бездельничали — им так не хотелось нарушать царивший вокруг покой. Словно робкие юноши, которые оказались в обществе изысканной, прекрасной и знаменитой красавицы, они боялись каким-нибудь неосторожным словом или жестом вспугнуть ее и лишиться очарования и прелести ее присутствия.

«Они еще не забыли землетрясения и не хотят, чтобы оно повторилось, — думал Форестер. — Так пусть же эти школьники наслаждаются Днем каникул и этой погодой, словно созданной для рыболовов. Пусть сидят под сенью деревьев или бродят по отлогим склонам

холмов, но только пусть не бурят их буры, не щупают их щупы, не бомбят их бомбы».

Они набрели на небольшой ручеек, который вливался в кипящий пруд. Рыба, блестя чешуей, попадала в горячую воду и через минуту выплывала на поверхность пруда уже сваренная.

Чаттертон неохотно присоединился к общему ужину.

— Мы будем отравлены. В таких фокусах всегда таится ловушка. Сегодня я буду ночевать в ракете. А вы — как хотите. Я вспомнил карту из одной книги по истории средневековья. Надпись на ней гласила: «Здесь могут водиться тигры». Так вот, ночью, когда вы заснете, здесь вдруг объявятся тигры и людоеды.

Форестер покачал головой:

— Я готов согласиться с вами — эта планета живая. Это своеобразный замкнутый мирок. Но сейчас она нуждается в нас, чтобы показать себя, чтобы кто-то мог оценить ее красоту. Какой толк в театре, полном чудес, если нет зрителей?

Но Чаттертон уже не слушал его. Он нагнулся — его рвало.

— Меня отравили! Отравили!

Его держали за плечи, пока не кончилась рвота. Дали ему воды. Все остальные чувствовали себя отлично.

— Пожалуй, лучше вам больше ничего не есть, кроме наших корабельных продуктов, — посоветовал Форестер. — Так будет надежнее.

— Надо немедленно приступить к работе. — Чаттертон покачнулся и вытер губы. — Мы уже потеряли целый день. Если понадобится, я буду работать один. Я покажу этой проклятой планете...

И, пошатываясь, он побрел к кораблю.

— Он искушает судьбу, — прошептал Дрисколл. — Нельзя ли остановить его, капитан?

— Практически он является хозяином экспедиции. Но мы не обязаны ему помогать. В договоре есть пункт, по которому мы можем отказаться от работы в условиях, опасных для жизни. Так вот... Советую обращаться с этой Площадкой Для Пикника как можно бережнее, и она отплатит нам тем же. Не вырезайте

инициалов на деревьях. Распрямите смятую траву. Подберите кожуру от бананов.

Между тем снизу, со стороны корабля, донесся оглушительный грохот. Из запасного люка выкатился огромный блестящий Бур. Чаттертон шел за ним следом и в микрофон отдавал распоряжения своему роботу:

— Сюда! Так!

— Ах, какой глупец!

— Стоп! — крикнул Чаттертон.

Бур вонзил свой длинный винтовой ствол в зеленую траву. Чаттертон помахал рукой астронавтам:

— Я ей покажу!

Небо содрогнулось.

Бур стоял в центре небольшой зеленой лужайки. Он врезался в землю и начал выбрасывать сырье комья дерна, бесцеремонно швыряя их в ведерко для анализов, которое раскачивалось на ветру.

И вдруг, словно чудовищный зверь, потревоженный во время еды, Бур издал жалобный металлический стон. Из почвы у его основания начала медленно проступать синеватая жидкость.

— Назад, безмозглый дурак! — крикнул Чаттертон.

Бур неуклюже задвигался, словно в каком-то доисторическом танце. Извергая огненные искры, он громко гудел, как гудит мощный паровоз, делая кругой поворот. Он тонул. Черная слизь превращалась под ним в темную лужу.

Кашляя, вздыхая и пыхтя, Бур, словно огромный подстреленный и издыхающий слон, медленно погружался в черную пенистую топь.

— Боже милостивый! — задыхаясь, прошептал Форестер, не в силах оторваться от этого зрелища. — Вы знаете, Дрисколл, что это такое? Это асфальт. Его дурацкая машина угодила в асфальтовый колодец.

— Эй! — вне себя кричал Чаттертон Буру, бегая по краю маслянистого озера. — Сюда, наверх!

Но, подобно древним властителям Земли — динозаврам с их длинной трубчатой шеей, — Бур, отбиваясь, дергаясь и скрипя, все больше уходил в черный пруд, откуда уже не было возврата к твердой и надежной земле.

Чаттертон обернулся к стоящим вдалеке астронавтам:

— Помогите! Сделайте что-нибудь!
Но Бур уже исчез.

Вязкая жидкость пузырилась и злорадствовала, поглотив чудовище. Потом все затихло. Только один огромный пузырь — последний — появился и лопнул. Разнесся древний запах нефти.

Члены экипажа подошли и остановились на краю маленького темного озера.

Чаттертон уже не кричал.

Он долго смотрел на безмолвный асфальтовый омут, потом отвернулся и обратил невидящий взгляд на холмы, на сочные зеленые лужайки. Дальние деревья вдруг покрылись зрелыми плодами и теперь бесшумно роняли их на землю.

— Я ей покажу, — тихо сказал он.

— Успокойтесь, Чаттертон.

— Я проучу ее, — повторил он.

— Присядьте, выпейте глоток вина.

— Я хорошенько проучу ее, я ей покажу, что со мной так поступать нельзя.

Чаттертон зашагал к кораблю.

— Не спешите, — посоветовал Форестер.

Чаттертон побежал.

— Я знаю, что делать, знаю, как отомстить ей!

— Остановите его! — крикнул Форестер и побежал за ним, но потом вспомнил, что умеет летать. «На корабле есть атомная бомба, — подумал он. — Если он до нее доберется...»

Остальные тоже подумали об этом и немедленно взмыли в воздух. Небольшая рощица преграждала Чаттертону путь к ракете. Выкрикивая проклятия, он бежал к роще, забыв о том, что мог бы перелететь через нее. А может быть, он боялся полететь или уже потерял этот дар? Астронавты летели к кораблю, чтобы опередить Чаттертона, и капитан вместе с ними. Подлетев к ракете, они поспешили заперли входной люк. Они еще успели увидеть, как Чаттертон вбежал на опушку.

И стали ждать.

— Какой идиот! Он, кажется, совсем спятил!

Чаттертон так и не показался по эту сторону небольшого леска.

— Должно быть, он повернул назад и ждет, когда мы ослабим надзор.

— Пойдите приведите его! — приказал Форестер.

Двое астронавтов полетели к роще.

И вот сильный, но ласковый дождь пошел над зеленым миром.

— Последний штрих, — сказал Дрисколл. — Нам не пришлось бы строить здесь дом. Заметьте — *на нас* не упала ни одна капля. Дождь идет, но он идет вокруг, спереди, сзади. Какая изумительная планета!

Они стояли сухие посреди голубого прохладного дождя. Солнце скрылось. Луна, огромная луна цвета льда, взошла над освеженными холмами.

— Только одного не хватает на этой чудесной планете, — сказал кто-то.

— Да, — отозвались все задумчиво, протяжно.

— Что ж, надо пойти поискать, — предложил Дрисколл. — Ведь это логично. Ветер помогает нам летать, деревья и ручьи кормят, все здесь живое. Может, если мы попросим пригласить к нам...

— Я долго думал над этим, и сегодня, и прежде, — перебил его Кестлер. — Все мы холостяки, все мы летаем уже много лет и устали. Как приятно было бы наконец осесть где-то. Быть может, именно здесь. На Земле мы работаем не покладая рук, чтобы скопить немного денег на покупку домика, чтобы заплатить налоги. В городах — вонь. А здесь — здесь даже не нужен дом при такой прекрасной погоде. Если надоест однообразие, можно попросить дождя, облаков, снега — словом, перемен. Здесь вообще не надо работать — все делается даром.

— Это скучно. Так можно и свихнуться.

— Нет, — улыбаясь, возразил Кестлер. — Если жизнь пойдет слишком уж гладко, надо только изредка повторять слова Чаттертона: «Здесь могут водиться тигры». Ого! Что это?

Еле слышный рев донесся из далекого сумеречного леса. Уж не пряталась ли там какая-нибудь гигантская кошка?

Все вздрогнули.

— Непостоянная планета, — холодно сказал Кестлер. — Совсем как женщина, которая готова на все, чтобы доставить удовольствие своим гостям, пока они с ней любезны. Чаттертон был не очень-то любезен.

— Да, Чаттертон... Где же он?

Словно в ответ на это, чей-то крик раздался вдали. Два астронавта, улетевшие на поиски Чаттертона, делали какие-то знаки с опушки леса.

Форестер, Дрисколл и Кестлер подлетели к ним.

— Что случилось?

Люди показали куда-то в глубь леса.

— Мы решили, что вам надо взглянуть на это, капитан, — пояснил один. — Какая-то чертовщина.

Другой показал на тропинку:

— Посмотрите сюда, сэр.

Следы огромных когтей отпечатались на тропинке, свежие, отчетливые.

— И вот сюда.

Несколько капель крови.

Тяжелый запах какого-то хищника повис в воздухе.

— Где же все-таки Чаттертон?

— Думаю, мы уже никогда не найдем его, капитан.

Слабее, слабее, все больше отдаляясь, звучал рев тигра, а потом и вовсе замолк в сумеречной тишине.

Астронавты лежали на упругой траве близ ракеты. Ночь была теплая.

— Совсем как во времена моего детства, — вздохнул Дрисколл. — Однажды мы с братом дождались самой теплой июльской ночи и отправились на лужайку перед зданием суда — считали звезды, болтали. Это была прекрасная ночь, лучшая ночь в году, а сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что и лучшая ночь в моей жизни... Разумеется, не считая сегодняшней, — добавил он.

— Я все думаю о Чаттертоне, — вставил Кестлер.

— Лучше не думать, — возразил Форестер. — Давайте поспим несколько часов — и в путь. Мы не можем позволить себе задержаться здесь даже на один день. И дело вовсе не в том, что случилось с Чаттертоном.

Нет. Просто я боюсь, что если мы задержимся здесь, то можем слишком сильно привязаться к этой планете. И никогда уже не захотим расстаться с ней.

Мягкий ветерок повеял вдруг над их головами.

— Я уже не хочу расставаться с ней. — Дрисколл подложил руки под голову, устраиваясь поудобнее. — И она тоже не хочет расставаться с нами... Если мы вернемся на Землю и расскажем всем, как чудесна эта планета, — что тогда, капитан? Они ворвутся сюда и уничтожат ее.

— Нет, — задумчиво проговорил Форестер. — Во-первых, эта планета не допустит массового вторжения. Не знаю, как именно она это сделает, но, уж конечно, ей удастся придумать какие-нибудь любопытные штучки. А во-вторых, я слишком сильно привязался к ней, проникся уважением. Нет, мы вернемся на Землю и будем лгать. Мы скажем, что она враждебна людям. Ведь такой она и окажется по отношению к среднему человеку вроде Чаттертона, который явится сюда, чтобы причинить ей вред. Так что, в конечном счете, это и не будет ложью.

— Как странно! — заметил Кестлер. — Я совсем не боюсь. Чаттертон исчез, возможно, он убит, и убит самым ужасным образом. И все же мы лежим здесь, никто не убегает, никто не боится. Это глупо. И тем не менее это правильно. Мы доверяем *ей*, а *она* доверяет нам.

— А вы заметили? Стоит выпить немного этой воды — вина, и больше не хочется. Это планета умеренности.

Они лежали, прислушиваясь к ночным звукам, и им казалось, что большое сердце этого зеленого мира неторопливо, но горячо бьется внизу, под ними.

«Пить хочется!» — подумал Форестер.

Дождевая капля упала ему на губы.

Он тихо рассмеялся.

«Я одинок!» — подумал он. И услышал вдали нежные, звонкие голоса.

Он стал смотреть в ту сторону. Несколько холмов, сбегающая с них прозрачная река, а на отмели, в облаке водяных брызг, группа прекрасных женщин. Их лица мерцают. Как дети, они резвятся на берегу. И вдруг

Форестер узнал о них и о их жизни все, что хотел. То были вечные странницы. Они бродяжничали, переходили с места на место, повинуясь лишь собственному капризу. Здесь не было шоссейных дорог, не было городов, здесь были только холмы, равнины да ветры, которые переносили эти белые фигурки, словно перышки, куда бы те ни пожелали. Стоило Форестеру мысленно задать вопрос, как кто-то невидимый тотчас шептал ему на ухо ответ. Мужчин там не было. Женщины сами продолжали свой род. Мужчины исчезли пятьдесят тысяч лет назад. А где эти женщины сейчас? Неподалеку от зеленого леска, рядом с винным ручьем, за шестью белыми камнями, у истока большой реки. Там, на отмелях, — женщины, которые могут стать прекрасными женами и вырастить чудесных детей.

Форестер открыл глаза. Остальные астронавты сидели возле него.

— Я видел сон.

Все они видели сны.

— ...Неподалеку от зеленого леска...

— ...рядом с винным ручьем...

— ...за шестью белыми камнями, — сказал Кестлер.

— ...и у истока большой реки, — закончил Дрисколл.

С минуту все молчали. И смотрели на серебристую ракету, блестевшую в свете звезд.

— Ну, так как, капитан, мы пойдем или полетим?

Форестер не ответил.

— Капитан, — сказал Дрисколл, — останемся здесь навсегда. Не будем возвращаться на Землю. Люди никогда не прилетят сюда выяснить, что с нами случилось. Они будут думать, что все мы уничтожены. Ну, что вы скажете на это?

Лицо Форестера покрылось капельками пота. Он провел языком по пересохшим губам. Руки вздрагивали у него на коленях. Экипаж ждал.

— Это было бы чудесно, — наконец выговорил капитан.

— Еще бы!

— Но... — Форестер вздохнул. — Но мы обязаны выполнить задание. Люди вложили в наш корабль деньги. И ради этих людей мы обязаны вернуться.

Форестер поднялся. Астронавты продолжали сидеть, не слушая его.

— Чертовски приятная ночь! — заметил Кестлер.

Они смотрели на отлогие холмы, на деревья, на реку, бегущую к иным горизонтам.

— Пошли на корабль, — с трудом выдавил из себя Форестер.

— Капитан...

— На корабль! — повторил он.

Ракета поднялась в небо. Глядя вниз, Форестер отчетливо видел каждую долину, каждое озеро.

— Надо было остаться, — промолвил Кестлер.

— Да, я знаю.

— Еще не поздно повернуть назад.

— Боюсь, что поздно. — Форестер отрегулировал телескоп. — Посмотрите.

Кестлер посмотрел.

Лицо планеты изменилось. Тигры, динозавры, ма-монты появились внизу. Вулканы извергали лаву, циклоны и ураганы проносились над холмами, стихии бушевали.

— Да, это настоящая женщина, — сказал Форестер. — Миллионы лет она ждала гостей, готовилась, наводила красоту. Она надела для нас свой лучший наряд. Когда Чаттертон начал дурно обращаться с ней, она предсторегла его, а потом, когда он сделал попытку изуродовать ее, попросту уничтожила его. Как всякой женщине, ей хотелось, чтобы ее любили ради нее самой, а не ради ее богатств. Она предложила нам все, что могла, а мы — мы покинули ее. Она женщина, и оскорбленная женщина. Правда, она позволила нам уйти, но мы уже никогда не сможем вернуться. Она встретит нас вот этим...

И кивком головы он показал на тигров, циклоны и кипящие воды.

— Капитан... — начал Кестлер.

— Да?

— Сейчас уже поздно рассказывать об этом, но... перед самым взлетом я дежурил у воздушного шлюза. И позволил Дрисколлу уйти с корабля. Ему хотелось

уйти. Я не смог отказать ему. Я взял это на свою ответственность. И сейчас он там, на планете.

Оба посмотрели в иллюминатор.

После долгого молчания Форестер сказал:

— Я рад. Я рад, что хоть у одного из нас хватило здравого смысла остаться.

— Но ведь он, должно быть, уже мертв!

— Нет, эта демонстрация там, внизу, устроена для нас. А может, это просто обман зрения. Среди всех этих тигров и львов, среди ураганов наш Дрисколл цел и невредим, ибо он сейчас единственный зритель. Ох, уж теперь *она* так избалует его, что... Да, он-то заживет там недурно, а вот мы с вами будем мотаться взад и вперед по Вселенной, разыскивая планету, которая была бы такой же чудесной, но так никогда и не найдем. Нет, мы не полетим назад спасать Дрисколла. А впрочем, *она* все равно не позволит нам сделать это. Полный вперед, Кестлер, полный вперед!

Ракета понеслась вперед, резко увеличив скорость.

И за миг до того, как планета скрылась в сияющей дымке тумана, Форестеру вдруг показалось, что он ясно видит Дрисколла. Вот, спокойно насыщаясь, юноша выходит из зеленого леска, и весь этот очаровательный мир овеивает его своей прохладой. Для него одного течет винный ручей, приготовляют рыбу горячие ключи, созревают в полночь плоды на деревьях, а леса и озера ждут не дождутся его прихода. И он уходит вдали по бесконечным зеленым лужайкам, мимо шести белых камней, что стоят позади рощи, к отмелям широкой прозрачной реки.

УСНУВШИЙ В АРМАГЕДДОНЕ

Никто не хочет смерти, никто не ждет ее. Просто что-то срабатывает не так, ракета поворачивается боком, астероид стремительно надвигается, закрываешь руками глаза — чернота, движение, носовые двигатели неудержимо тянут вперед, отчаянно хочется жить — и некуда податься.

Какое-то мгновение он стоял среди обломков...

Мрак. Во мраке неощутимая боль. В боли — кошмар.

Он не потерял сознания.

«Твое имя?» — спросили невидимые голоса. «Сейл, — ответил он, крутясь в водовороте тошноты, — Леонард Сейл». — «Кто ты?» — закричали голоса. «Космонавт!» — крикнул он, один в ночи. «Добро пожаловать», — сказали голоса. «Добро... добро...» И замерли.

Он поднялся, обломки рухнули к его ногам, как смятая, порванная одежда.

Взошло солнце, и наступило утро.

Сейл протиснулся сквозь узкое отверстие шлюза и вдохнул воздух. Везет. Просто везет. Воздух пригоден для дыхания. Продуктов хватит на два месяца. Прекрасно, прекрасно! И это тоже! Он ткнул пальцем в обломки. Чудо из чудес! Радиоаппаратура не пострадала.

Он отстучал ключом: «Врезался в астероид 787. Сейл. Пришлите помошь. Сейл. Пришлите помошь». Ответ

Perchance to Dream

Copyright © 1948 by Ray Bradbury

Уснувший в Армагеддоне

© Л. Сумилло, перевод, 1968

не заставил себя ждать: «Хелло, Сейл. Говорит Адамс из Марсопорта. Посыпаем спасательный корабль "Логарифм". Прибудет на астероид 787 через шесть дней. Держись».

Сейл едва не пустился в пляс.

До чего все просто. Попал в аварию. Жив. Еда есть. Радировал о помощи. Помощь придет. Ля-ля-ля! Он захлопал в ладони.

Солнце поднялось, и стало тепло. Он не ощущал страха смерти. Шесть дней пролетят незаметно. Он будет есть, он будет спать. Он огляделся вокруг. Опасных животных не видно, кислорода достаточно. Чего еще желать? Разве что свинины с бобами. Приятный запах разлился в воздухе.

Позавтракав, он выкурил сигарету, глубоко затягиваясь и медленно выпуская дым. Радостно покачал головой. Что за жизнь. Ни царапины. Повезло. Здорово повезло.

Он клюнул носом. «Спать, — подумал он. — Неплохая идея. Вздремнуть после еды. Времени сколько угодно. Спокойно. Шесть долгих, роскошных дней ничего-неделания и философствования. Спать».

Он растянулся на земле, положил голову на руку и закрыл глаза.

И в него вошло, им овладело безумие. «Спи, спи, о спи, — говорили голоса. — А-а, спи, спи». Он открыл глаза. Голоса исчезли. Все было в порядке. Он перебрнулся, покрепче закрыл глаза и устроился поудобнее.

«Ээээээ», — пели голоса далеко-далеко.

«Аaaaaax». — Пели голоса.

«Спи, спи, спи, спи, спи», — пели голоса.

«Умри, умри, умри, умри, умри», — пели голоса.

«Оoooooo!» — кричали голоса.

«Мммммммм», — жужжала в его мозгу пчела.

Он сел. Он затряс головой. Он зажал уши руками. Прищурившись, поглядел на разбитый корабль. Твердый металл. Кончиками пальцев нащупал под собой крепкий камень. Увидел на голубом небосводе настоящее солнце, которое дает тепло.

«Попробуем уснуть на спине», — подумал он и снова улегся. На запястье тикали часы. В венах пульсировала горячая кровь.

«Спи, спи, спи, спи», — пели голоса.

«Оооооооо», — пели голоса.

«Аааааах», — пели голоса.

«Умри, умри, умри, умри, умри! Спи, спи, умри, спи, умри, спи, умри! Оохх, Аахх, Ээээээ!» — Кровь стучала в ушах, словно шум нарастающего ветра.

«Мой, мой, — сказал голос. — Мой, мой, он мой!»

«Нет, мой, мой, — сказал другой голос. — Нет, мой, мой, он мой!»

«Нет, наш, наш, — пропели десять голосов. — Наш, наш, он наш!»

Его пальцы скрючились, скулы свело спазмом, веки начали вздрагивать.

«Наконец-то, наконец-то, — пел высокий голос. — Теперь, теперь. Долгое-долгое ожидание. Кончилось, кончилось, — пел высокий голос. — Кончилось, наконец-то кончилось!»

Словно ты в подводном мире. Зеленые песни, зеленые видения, зеленое время. Голоса булькают и тонут в глубинах морского прилива. Где-то вдалеке хоры выводят неразборчивую песнь. Леонард Сейл начал метаться в агонии. «Мой, мой», — кричал громкий голос. «Мой, мой», — визжал другой. «Наш, наш», — визжал хор.

Грохот металла, звон мечей, стычка, битва, борьба, война. Все взрывается, его мозг разбрызгивается на тысячи капель.

«Ээээээ!»

Он вскочил на ноги с пронзительным воплем. В глазах у него все расплавилось и поплыло. Раздался голос: «Я Тилле из Раталара. Гордый Тилле, Тилле Кровавого Могильного Холма и Барабана Смерти. Тилле из Раталара, Убийца Людей!»

Потом другой: «Я Иорр из Вендилло, Мудрый Иорр, Истребитель Неверных!»

«А мы воины, — пел хор, — мы сталь, мы воины, мы красная кровь, что течет, красная кровь, что бежит, красная кровь, что дымится на солнце».

Леонард Сейл шатался, будто под тяжким грузом. «Убирайтесь! — кричал он. — Оставьте меня, ради Бога, оставьте меня!»

«Иииии», — визжал высокий звук, словно металлы по металлу.

Молчание.

Он стоял, обливаясь потом. Его была такая сильная дрожь, что он с трудом держался на ногах. «Сошел с ума, — подумал он. — Совершенно спятил. Буйное помешательство. Сумасшествие».

Он разорвал мешок с продовольствием и достал химический пакет.

Через мгновение был готов горячий кофе. Он захлебывался им, ручейки текли по нёбу. Его был озноб. Он хватал воздух большими глотками.

«Будем рассуждать логично, — сказал он себе, тяжело опустившись на землю; кофе обжег ему язык. — Никаких признаков сумасшествия в его семье за последние двести лет не было. Все здоровы, вполне уравновешенны. И теперь никаких поводов для безумия. Шок? Глупости. Никакого шока. Меня спасут через шесть дней. Какой может быть шок, раз нет опасности? Обычный астероид. Место самое-самое обыкновенное. Никаких поводов для безумия нет. Я здоров».

«Ии?» — крикнул в нем тоненький металлический голосок. Эхо. Замирающее эхо.

«Да! — закричал он, стукнув кулаком о кулак. — Я здоров!»

«Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Где-то заухал смех. Он обернулся. «Заткнись, ты!» — взревел он. «Мы ничего не говорили», — сказали горы. «Мы ничего не говорили», — сказали небо. «Мы ничего не говорили», — сказали обломки.

«Ну-ну, хорошо, — сказал он неуверенно. — Понимаю, что не вы».

Все шло как положено.

Камешки постепенно накалялись. Небо было большое и синее. Он поглядел на свои пальцы и увидел, как солнце горит в каждом черном волоске. Он поглядел на свои башмаки, покрытые пылью, и внезапно

почувствовал себя очень счастливым оттого, что принял решение. «Я не буду спать, — подумал он. — Раз у меня кошмары, зачем спать? Вот и выход».

Он составил распорядок дня. С девяти утра (а сейчас было именно девять) до двенадцати он будет изучать и осматривать астероид, а потом желтым карандашом писать в блокноте обо всем, что увидит. После этого он откроет банку сардин и съест немного консервированного хлеба с толстым слоем масла. С половины первого до четырех прочтет девять глав из «Войны и мира». Он вытащил книгу из-под обломков и положил ее так, чтобы она была под рукой. У него есть еще книжка стихов Т. С. Элиота. Это чудесно.

Ужин — в полшестого, а потом от шести до десяти он будет слушать радиопередачи с Земли — комиков с их плоскими шутками, и безголосого певца, и выпуски последних новостей, а в полночь передача завершится гимном Объединенных Наций.

А потом?

Ему стало нехорошо.

До рассвета я буду играть в солитер, подумал он. Сяду и стану пить горячий черный кофе и играть в солитер без жульничества, до самого рассвета. «Хо-хо», — подумал он.

«Ты что-то сказал?» — спросил он себя.

«Я сказал: “Хо-хо”, — ответил он. — Рано или поздно ты должен будешь уснуть».

«У меня сна — ни в одном глазу», — сказал он.

«Лжец», — парировал он, наслаждаясь разговором с самим собой.

«Я себя прекрасно чувствую», — сказал он.

«Лицемер», — возразил он себе.

«Я не боюсь ночи, сна и вообще ничего не боюсь», — сказал он.

«Очень забавно», — сказал он.

Он почувствовал себя плохо. Ему захотелось спать. И чем больше он боялся уснуть, тем больше хотел лечь, закрыть глаза и свернуться в клубочек.

«Со всеми удобствами?» — спросил его иронический собеседник.

«Вот сейчас я пойду погулять и осмотрю скалы и геологические обнажения и буду думать о том, как хорошо быть живым», — сказал он.

«О Господи! — вскричал собеседник. — Тоже мне Уильям Сароян!»

«Все так и будет, — подумал он, — может быть, один день, может быть, одну ночь, а как насчет следующей ночи и следующей? Сможешь ты бодрствовать все это время, все шесть ночей? Пока не придет спасательный корабль? Хватит у тебя пороху, хватит у тебя силы?»

Ответа не было.

«Чего ты боишься? Я не знаю. Этих голосов. Этих звуков. Но ведь они не могут повредить тебе, не так ли?»

Могут. Когда-нибудь с ними придется столкнуться... А нужно ли? Возьми себя в руки, старина. Стисни зубы, и вся эта чертовщина сгинет».

Он сидел на жесткой земле и чувствовал себя так, словно плакал навзрыд. Он чувствовал себя так, как если бы жизнь была кончена и он вступал в новый и неизведанный мир. Это было как в теплый, солнечный, но обманчивый день, когда чувствуешь себя хорошо, — в такой день можно или ловить рыбу, или рвать цветы, или целовать женщину, или еще что-нибудь делать. Но что ждет тебя в разгаре чудесного дня?

Смерть.

Ну, вряд ли это.

«Смерть», — настаивал он.

Он лег и закрыл глаза. Он устал от этой путаницы. «Отлично, — подумал он, — если ты смерть, приди и забери меня. Я хочу понять, что означает эта дьявольская чепуха».

И смерть пришла.

«Ээээээ», — сказал голос.

«Да, я это понимаю, — сказал Леонард Сейл. — Ну а что еще?»

«Ааааах», — произнес голос.

«И это я понимаю», — раздраженно ответил Леонард Сейл. Он похолодел. Его рот искривила дикая гримаса.

«Я — Тилле из Раталара, Убийца Людей!»

«Я — Иорр из Вендило, Истребитель Неверных!»

«Что это за планета?» — спросил Леонард Сейл, пытаясь побороть страх.

«Когда-то она была могучей», — ответил Тилле из Раталара.

«Когда-то — место битв», — ответил Иорр из Вендило.

«Теперь мертвая», — сказал Тилле.

«Теперь безмолвная», — сказал Иорр.

«Но вот пришел ты», — сказал Тилле.

«Чтобы снова дать нам жизнь», — сказал Иорр.

«Вы умерли, — настаивал Леонард Сейл, весь — корчащаяся плоть. — Вы ничто, вы просто ветер».

«Мы будем жить с твоей помощью».

«И сражаться благодаря тебе».

«Так вот в чем дело, — подумал Леонард Сейл. — Я должен стать полем боя, так?.. А вы — друзья?»

«Враги!» — закричал Иорр.

«Лютые враги!» — закричал Тилле.

Леонард страдальчески улыбнулся. Ему было очень плохо. «Сколько же вы ждали?» — спросил он.

«А сколько длится время?»

«Десять тысяч лет?»

«Может быть».

«Десять миллионов лет?»

«Возможно».

«Кто вы? — спросил он. — Мысли, духи, призраки?»

«Все это и даже больше».

«Разумы?»

«Вот именно».

«Как вам удалось выжить?»

«Ээээээ», — пел хор далеко-далеко.

«Аааааах», — пела другая армия в ожидании битвы.

«Когда-то это была плодородная страна, богатая планета. На ней жили два народа, две сильные нации, а во главе их стояли два сильных человека. Я, Иорр, и он, тот, что зовет себя Тилле. И планета пришла в упадок, и наступило небытие. Народы и армии все слабели и слабели в ходе великой войны, длившейся пять тысяч лет. Мы долго жили и долго любили, пили

много, спали много и много сражались. И когда планета умерла, наши тела ссохлись, и только со временем наука помогла нам выжить».

«Выжить, — удивился Леонард Сейл. — Но от вас ничего не осталось».

«Наш разум, глупец, наш разум! Чего стоит тело без разума?»

«А разум без тела? — рассмеялся Леонард Сейл. — Я нашел вас здесь. Признайтесь, это я нашел вас!»

«Точно, — сказал резкий голос. — Одно бесполезно без другого. Но выжить — это и значит выжить, пусть даже бессознательно. С помощью науки, с помощью чуда разум наших народов выжил».

«Только разум — без чувства, без глаз, ушей, без осязания, обоняния и прочих ощущений?»

«Да, без всего этого. Мы были просто нереальностью, паром. Долгое время. До сегодняшнего дня».

«А теперь появился я», — подумал Леонард Сейл.

«Ты пришел, — сказал голос, — чтобы дать нашему уму физическую оболочку. Дать нам наше желанное тело».

«Ведь я только один», — подумал Сейл.

«И тем не менее ты нам нужен».

«Но я — личность. Я возмущен вашим вторжением».

«Он возмущен нашим вторжением. Ты слышал его, Иорр? Он возмущен!»

«Как будто он имеет право возмущаться!»

«Осторожнее, — предупредил Сейл. — Я моргну глазом, и вы пропадете, призраки! Я пробужусь и сотру вас в порошок!»

«Но когда-нибудь тебе придется снова уснуть! — закричал Иорр. — И когда это произойдет, мы будем здесь, ждать, ждать, ждать. Тебя».

«Чего вы хотите?»

«Плотности. Массы. Снова ощущений».

«Но ведь моего тела не хватает на вас обоих».

«Мы будем сражаться друг с другом».

Раскаленный обруч сдавил его голову. Будто в мозг между двумя полушариями вгоняли гвоздь.

Теперь все стало до ужаса ясным. Страшно, блистательно ясным. Он был их вселенной. Мир его мыслей, его мозг, его череп поделен на два лагеря, один — Иорра, другой — Тилле. Они используют его!

Взвились знамена под рдеющим небом его мозга. В бронзовых щитах блеснуло солнце. Двинулись серые звери и понеслись в сверкающих волнах пломажей, труб и мечей.

«Ээээээ!» Стремительный натиск.

«Аааааах!» Рев.

«Наууууу!» Вихрь.

«Мммммммммммммммм...»

Десять тысяч человек столкнулись на маленькой невидимой площадке. Десять тысяч человек понеслись по блестящей внутренней поверхности глазного яблока. Десять тысяч копий засвистели между костями его черепа. Выпалили десять тысяч изукрашенных орудий. Десять тысяч голосов запели в его ушах. Теперь его тело было расколото и растянуто, оно тряслось и вертелось, оно визжало и корчилось, черепные кости вот-вот разлетятся на куски. Бормотание, вопли, как будто через равнины разума и континент костного мозга, через лошины вен, по холмам артерий, через реки меланхолии идет армия за армией, одна армия, две армии, мечи сверкают на солнце, скрещиваясь друг с другом, пятьдесят тысяч умов, нуждающихся в нем, использующих его, хватают, скребут, режут. Через миг — страшное столкновение, одна армия на другую, бросок, кровь, грохот, неистовство, смерть, безумство!

Как цимбалы, звенят столкнувшиеся армии!

Охваченный бредом, он вскочил на ноги и понесся в пустыню. Он бежал и бежал и не мог остановиться.

Он сел и зарыдал. Он рыдал до тех пор, пока не заболели легкие. Он рыдал безутешно и долго. Слезы сбегали по его щекам и капали на растопыренные дрожащие пальцы. «Боже, Боже, помоги мне, о Боже, помоги мне», — повторял он.

Все снова было в порядке.

Было четыре часа пополудни. Солнце палило скалы. Через некоторое время он приготовил и съел

бисквиты с клубничным джемом. Потом, как в забытьи, стараясь не думать, вытер запачканные руки о рубашку.

«По крайней мере, я знаю, с кем имею дело, — подумал он. — О Господи, что за мир! Каким простодушным он кажется на первый взгляд, и какой он чудовищный на самом деле! Хорошо, что никто до сих пор его не посещал. А может, кто-то здесь был?» Он покачал головой, полной боли. Им можно только почувствовать, тем, кто разбился здесь раньше, если только они действительно были. Теплое солнце, крепкие скалы, и никаких признаков враждебности. Прекрасный мир.

До тех пор, пока не закроешь глаза и не забудешься. А потом ночь, и голоса, и безумие, и смерть на неслышных ногах.

«Однако я уже вполне в норме, — сказал он гордо. — Вот посмотри», — и вытянул руку. Подчиненная величайшему усилию воли, она больше не дрожала. «Я тебе покажу, кто здесь правитель, черт возьми, — пригрозил он безвинному небу. — Это я». И постучал себя в грудь.

Подумать только, что мысль может прожить так долго! Наверно, миллион лет все эти мысли о смерти, смутах, завоеваниях таились в безвредной на первый взгляд, но ядовитой атмосфере планеты и ждали живого человека, чтобы он стал сосудом для проявления их бессмысленной злобы.

Теперь, когда он почувствовал себя лучше, все это казалось глупостью. «Все, что мне нужно, — думал он, — это продержаться шесть суток без сна. Тогда они не смогут так мучить меня. Когда я бодрствую, я хозяин положения. Я сильнее, чем эти сумасшедшие военачальники с их идиотскими ордами трубачей и носителей мечей и щитов».

«Но выдержу ли я? — усомнился он. — Целых шесть ночей? Не спать? Нет, я не буду спать. У меня есть кофе, и таблетки, и книги, и карты. Но я уже сейчас устал, так устал, — думал он. — Продержусь ли я?»

Ну а если нет... Тогда пистолет всегда под рукой.

Интересно, куда денутся эти дурацкие монархи, если пустить пулю на помост, где они выступают? На помост, который — весь их мир. Нет. Ты, Леонард Сейл, слишком маленький помост. А они слишком мелкие актеры. А что, если пустить пулю из-за кулис, разрушив декорации, занавес, зрительный зал? Уничтожить помост, всех, кто неосторожно попадется на пути!

Прежде всего снова радиовать в Марсопорт. Если найдут возможность прислать спасательный корабль поскорее, может быть, удастся продержаться. Во всяком случае, надо предупредить их, что это за планета: такое невинное с виду место в действительности не что иное, как обиталище кошмаров и дикого бреда.

Минуту он стучал ключом, стиснув зубы. Радио безмолвствовало.

Оно послало призыв о помощи, принял ответ и потом умолкло навсегда.

«Какая насмешка, — подумал он. — Остается одно — составить план».

Так он и сделал. Он достал свой желтый карандаш и набросал шестидневный план спасения.

«Этой ночью, — писал он, — прочесть еще шесть глав “Войны и мира”. В четыре утра выпить горячего черного кофе. В четверть пятого вынуть колоду карт и сыграть десять партий в солитер. Это займет время до половины седьмого, затем еще кофе. В семь послушать первые утренние передачи с Земли, если приемник вообще работает. Работает ли?»

Он проверил работу приемника. Тот молчал.

«Хорошо, — написал он, — от семи до восьми петь все песни, какие знаешь, развлекать самого себя. От восьми до девяти думать об Элен Кинг. Вспомнить Элен. Нет, думать об Элен прямо сейчас».

Он подчеркнул это карандашом.

Остальные дни были расписаны по минутам. Он проверил медицинскую сумку. Там лежало несколько пакетиков с таблетками, которые помогут не спать. Каждый час по одной таблетке все эти шесть суток. Он почувствовал себя вполне уверенным. «Ваше здоровье,

Иорр, Тилле!» Он проглотил одну из возбуждающих таблеток и запил ее глотком обжигающего черного кофе.

Итак, одно следовало за другим, был Толстой, был Бальзак, ромовый джин, кофе, таблетки, прогулки, снова Толстой, снова Бальзак, опять ромовый джин, снова солитер. Первый день прошел так же, как второй, а за ним третий.

На четвертый день он тихо лежал в тени скалы, считая до тысячи пятерками, потом десятками, только чтобы загрузить чем-нибудь ум и заставить его бодрствовать. Глаза его так устали, что он вынужден был часто промывать их холодной водой. Читать он не мог, голова разламывалась от боли. Он был так изнурен, что уже не мог и двигаться. Лекарства привели его в состояние оцепенения. Он напоминал бодрствующую восковую фигуру. Глаза его остекленели, язык стал похож на заржавленное острие пики, а пальцы словно обросли мехом и ощетинились иглами.

Он следил за стрелкой часов. Еще секундой меньше, думал он. Две секунды, три секунды, четыре, пять, десять, тридцать секунд. Целая минута. Теперь уже на целый час меньше осталось ждать. О корабль, поспеши же к назначенней цели!

Он тихо засмеялся.

А что случится, если он бросит все и уплывет в сон? Спать, спать, быть может, грезить. Весь мир — помост. Что, если он сдастся в неравной борьбе и падет?

«Иииииии», — высокий, пронзительный, грозный звук разящего металла.

Он содрогнулся. Язык шевельнулся в сухом, шершавом рту.

Иорр и Тилле снова начнут свои стародавние распри.

Леонард Сейл совсем сойдет с ума.

И победитель овладеет останками этого безумца — трясущимся, хохочущим диким телом — и пошлет его скитаться по лицу планеты на десять, двадцать лет, а сам надменно расположится в нем и будет творить суд, и отправлять на казнь величественным жестом, и

навещать души невидимых танцовщиц. А самого Леонарда Сейла, то, что от него останется, отведут в какую-нибудь потаенную пещеру, где он пробудет двадцать безумных лет, кишащий червями и войнами, насилием древними диковинными мыслями.

Когда придет спасательный корабль, он не найдет ничего. Сейла спрячет ликующая армия, сидящая в его голове. Спрячет где-нибудь в расщелине, и Сейл станет гнездом, в котором какой-нибудь Иорр будет высиживать свои гнусные планы. Эта мысль едва не убила его.

Двадцать лет безумия. Двадцать лет пыток, двадцать лет, заполненных делами, которые ты не хочешь делать. Двадцать лет бушующих войн, двадцать лет тошноты и дрожи.

Голова его упала на колени. Веки со скрежетом разомкнулись и с легким шумом закрылись. Барабанная перепонка устало хлопнула.

«Спи, спи», — запели слабые голоса.

«У меня... у меня есть к вам предложение, — подумал Леонард Сейл. — Слушайте, ты, Иорр, и ты, Тилле! Иорр, ты, и ты тоже, Тилле! Иорр, ты можешь владеть мной по понедельникам, средам и пятницам. Тилле, ты будешь сменять его по воскресеньям, вторникам и субботам. В четверг я выходной. Согласны?»

«Ээээээ», — пели морские приливы, кипя в его мозгу.

«Ооооооооо», — мягко-мягко пели отдаленные голоса.

«Что вы скажете? Поладим на этом, Иорр, Тилле?»

«Нет!» — ответил один голос.

«Нет!» — сказал другой.

«Жадуги, оба вы жадуги! — жалобно вскричал Сейл. — Чума на оба ваших дома!»

Он спал.

Он был Иорром, и драгоценные кольца сверкали на его руках. Он появился у ракеты и выставил вперед руку, направляя слепые армии. Он был Иорром, древним предводителем воинов, украшенных драгоценными камнями.

И он был Тилле, любимцем женщин, убийцей собак! Почти бессознательно его рука потянулась к кобуре у бедра. Спящая рука вытащила пистолет. Рука поднялась, пистолет прицелился. Армии Тилле и Иорра вступили в бой.

Пистолет выстрелил.

Пуля оцарапала лоб Сейла и разбудила его.

Выбравшись из осады, он не спал следующие шесть часов. Теперь он знал, что это безнадежно. Он промыл и перевязал рану. Он пожалел, что не прицелился точнее, тогда все было бы уже кончено. Он взглянул на небо. Еще два дня. Еще два. Торопись, корабль, торопись. Он отупел от бессонницы.

Бесполезно. К концу этого срока он уже вовсю бредил. Он поднял пистолет, и положил его, и поднял снова, приложил к голове, нажал было пальцем на спусковой крючок, передумал, снова посмотрел на небо.

Наступила ночь. Он попытался читать, но отбросил книгу прочь. Разорвал ее и сжег, просто чтобы чем-нибудь заняться.

Как он устал! Через час, решил он.

«Если ничего не случится, я убью себя. Теперь серьезно. На этот раз не струшу». Он подготовил пистолет и положил его на землю рядом с собой.

Теперь он был очень спокоен, хотя и ужасно измучен. С этим будет покончено.

В небе показалось пламя.

Это было так неправдоподобно, что он заплакал.

«Ракета», — сказал он, вставая. «Ракета!» — закричал он, протирая глаза, и побежал вперед.

Пламя становилось все ярче, росло, опускалось.

Он бешено размахивал руками, спеша вперед, бросив пистолет, и припасы, и все.

«Вы видите это, Иорр, Тилле! Дикари, чудовища, я вас одолел. Я победил! За мной пришли! Я победил, черт бы вас побрал».

Он злорадно усмехнулся, поглядев на скалы, небо, на собственные руки.

Ракета села. Леонард Сейл, качаясь, ждал, когда откроется дверь.

«Прощай, Иорр, прощай, Тилле!» — ухмыляясь, с горящими глазами, победно закричал он.

«Эээээ», — затих вдалеке рев.

«Ааааах», — угасли голоса.

Широко раскрылся шлюзовой люк ракеты. Из него выпрыгнули два человека.

— Сейл? — спросили они. — Мы — корабль АСДН номер тринадцать. Перехватили ваш SOS и решили сами вас подобрать. Корабль из Марсопорта придет только послезавтра. Мы бы хотели немного отдохнуть. Неплохо здесь переночевать, потом забрать вас и отправиться дальше.

— Нет, — произнес Сейл, и лицо его исказилось от ужаса. — Нельзя переночевать...

Он не мог говорить. Он упал на землю.

— Быстрей, — произнес над ним голос в туманном вихре. — Дай ему немного жидкой пищи и снотворного. Ему нужна еда и отдых.

— Не надо отдыха! — завопил Сейл.

— Бредит, — тихо сказал один из них.

— Нельзя спать! — вопил Сейл.

— Тише, тише, — сказал человек нежно. Игла вонзилась в руку Сейла.

Сейл колотил руками и ногами.

— Не надо спать, поедем! — страшно кричал он. — Ну поедем!

— Бред, — сказал один. — Шок.

— Не надо снотворного! — пронзительно кричал Сейл.

Снотворное разливалось по его телу.

«Эээээээ», — пели древние ветры.

«Аааааааах», — пели древние моря.

— Не надо снотворного, нельзя спать, пожалуйста, не надо, не надо, не надо! — кричал Сейл, пытаясь подняться. — Вы... не... знаете!..

— Не волнуйся, старик, ты теперь в безопасности, не о чем беспокоиться.

Леонард Сейл спал. Двое стояли над ним. По мере того как они смотрели на него, черты его лица менялись все больше и больше.

Он стонал и плакал, и рычал во сне. Его лицо беспрестанно преображалось. Это было лицо святого, грешника, злого духа, чудовища, мрака, света, одного, множества, армии, пустоты — всего-всего!

Он корчился во сне.

— Ээээээээ! — взорвался криком его рот. — Иии-ииии! — визжал он.

— Что с ним? — спросил один из спасителей.

— Не знаю. Дать еще сноторвного?

— Да, еще дозу. Нервы. Ему надо много спать.

Они вонзили иглу в его руку. Сейл корчился, плевался и стонал.

И вдруг умер.

Он лежал, а двое стояли над ним.

— Какой ужас! — сказал один. — Как ты это объяснишь?

— Шок. Бедный малый. Какая жалость. — Они закрыли ему лицо. — Ты когда-нибудь видел подобное лицо?

— Абсолютно безумное.

— Одиночество. Шок.

— Да. Боже, что за выражение! Не хотел бы я когда-нибудь еще увидеть такое лицо.

— Какая беда, ждал нас, и мы прибыли, а он все равно умер.

Они огляделись вокруг.

— Что будем делать? Переночуем здесь?

— Да. И хорошо бы не в корабле.

— Сначала похороним его, конечно.

— Само собой.

— И будем спать на свежем воздухе, ладно? Хорошо снова поспать на свежем воздухе. После двух недель в этом проклятом корабле.

— Давай. Я подыщу для него место. А ты готовь ужин, идет?

— Идет.

— Хорошо поспим сегодня.

— Отлично. Отлично!

Они выкопали могилу, прочитали молитву. Потом молча выпили по чашке вечернего кофе. Они вдыхали сладкий воздух планеты и смотрели на чудесное небо и яркие и прекрасные звезды.

— Какая ночь! — сказали они, укладываясь.

— Приятных сновидений, — сказал один, поворачиваясь.

И другой ответил:

— Приятных сновидений.

Они заснули.

И КАМНИ ЗАГОВОРИЛИ...

Освежеванные туши внезапно возникли перед взором и пронеслись мимо в дрожащем раскаленном воздухе зеленых джунглей. Тошнотворный запах падали ворвался в открытое окно машины. Леонора Уэбб нажала кнопку, и стекло поднялось.

— Как ужасны эти мясные лавки на открытом воздухе, — сказала она.

Зловоние все еще держалось в воздухе, напоминая о войне и несчастьях.

— Ты заметил, сколько мух!

— Да, чтобы выбрать кусок мяса, надо прежде хорошенько похлопать по туще рукой, чтобы мухи разлетелись.

Машина круто свернула на повороте.

— Как ты думаешь, нас пропустят через Хуаталу?

— Не знаю.

— Осторожно!..

Но он слишком поздно заметил на шоссе какие-то блестящие предметы. С пронзительным свистом спустила передняя шина. Подпрыгнув, машина остановилась. Уэбб открыл дверцу и вышел. Джунгли дышали зноем и молчали; шоссе в этот полуденный час было пустынно. Он осмотрел переднее колесо, не переставая ощупывать револьвер в кобуре под мышкой.

Блеснув на солнце, опустилось боковое стекло.

— Шина сильно повреждена? — спросила Леонора.

— Бесправоротно.

Он поднял с шоссе блестящий предмет.

— Куски мачете и острия установлены навстречу.

Наше счастье, что мы наехали только одним колесом.

— Но зачем это?

— Ты сама прекрасно знаешь зачем.

Он кивком указал на газету, лежавшую на сиденье.
«4 октября 1963 года.

Соединенные Штаты и Европа безмолвствуют. Радиостанции США и Европы молчат. Везде царит великое безмолвие. Война пришла к концу.

Предполагают, что большинство населения США погибло. Большая часть населения Европы, России, Сибири уничтожена. Веку белой расы пришел конец».

— Все произошло так неожиданно, — промолвил Уэбб. — Еще неделю назад мы мечтали, что проведем отпуск, путешествуя. А потом свершилось все это.

Они оторвали взгляд от газетного заголовка и посмотрели на молчавшие джунгли. Громада джунглей ответила дыханием зноя, шелестом трав и листвы, сверканием миллиардов изумрудных и бриллиантовых глаз.

— Будь осторожен, Джон!

Автоматический домкрат со свистом приподнял машину, и она как бы повисла в воздухе. Джон Уэбб торопливо ткнул ключом в правое колесо. Оно тут же соскочило, хлопнув, как пробка, выбитая из бутылки. Понадобилось всего несколько секунд, чтобы поставить на его место новое, а колесо с поврежденной шиной откатить назад и спрятать в багажнике. Проделывая все это, Джон Уэбб не снимал руки с револьвера.

— Пожалуйста, не стой на виду.

— Значит, началось. — Он чувствовал, как от зноя тлеют волосы на затылке. — У плохих вестей длинные ноги.

— Ради Бога, Джон, помолчи. Тебя могут услышать.

Он взглянул в сторону джунглей.

— Что ж, я знаю — вы там!

— Джон!..

Он крикнул молчавшим джунглям:

— Я вижу вас!

И торопливо, беспорядочно послал в них пули — одну, вторую, третью, четвертую, пятую...

Джунгли, не шелохнувшись, проглотили их. С резким звуком, напоминающим звук рвущегося шелка, пули исчезли в многомильной бездне изумрудной листвы, гигантских стволов, влажных запахов и безмолвия. Почти сразу же замерло короткое эхо. За своей спиной Уэбб слышал мягкое пофыркивание автомобильного мотора. Он обошел машину. Сев в нее, он захлопнул дверцу и запер ее. Когда он перезарядил револьвер, они снова тронулись в путь.

Они ехали не останавливаясь.

— Ты что-нибудь видишь?

— Нет. А ты?

Она отрицательно тряхнула головой.

— Ты ведешь машину слишком быстро.

Он вовремя уменьшил скорость. На повороте, справа у обочины снова сверкнули обломки мачете. Он свернул и обогнал их.

— Негодяи!

— Нет, они всего лишь люди, у которых никогда не было таких машин, как эта, и еще много другого.

Что-то ударилось о приспущенное боковое стекло, и по нему потекла струйка бесцветной жидкости.

Леонора посмотрела на небо.

— Будет дождь?

— Нет, это какое-то насекомое.

Еще легкий стук по стеклу.

— Ты уверен, что это насекомое?

Щелк, щелк, щелк...

— Подними стекло! — крикнул он, прибавив скорость.

Что-то упало ей на колени. Он наклонился и посмотрел:

— Стекло, быстрее!

Она нажала кнопку, и стекло поднялось. Она тоже посмотрела на свои колени — в подоле юбки лежал, поблескивая, крошечный дротик, такими стреляют из духовых ружей.

— Не прикасайся к нему голыми руками, — сказал он. — Заверни в носовой платок, — потом мы выбросим его.

Машина мчалась со скоростью шестьдесят миль в час.

— Это только здесь опасно, — сказал он. — Мы скоро выберемся отсюда.

О стекло все время что-то ударялось и отскакивало, словно крупинки града.

— Зачем это? — спросила Леонора. — Ведь они даже не знают, кто мы.

— Вот именно. Людей, которых знаешь, труднее убивать.

— Я не хочу умирать, — сказала она просто.

Он сунул руку под пиджак.

— Если со мной что-нибудь случится, револьвер вот здесь. Воспользуйся им и, ради Бога, не раздумывай.

Она поближе придвигнулась к нему. Машина мчалась со скоростью семьдесят пять миль в час по прямому как стрела шоссе. Они ехали молча.

Опустили стекло, и в машине стало легче дышать.

— Как глупо, — сказала она наконец. — Как глупо разбрасывать по дороге ножи и пытаться убить нас из духовых ружей. Откуда они знают, что в следующей машине не окажется кто-нибудь из их соотечественников?

— Не требуй от них благородства, — ответил он. — Автомобиль — это автомобиль. Он большой, он стоит денег. За него можно получить столько, что хватит на всю жизнь. Во всяком случае, они знают, что, если остановят на шоссе машину, ее владельцем наверняка окажется американский турист или богатый испанец, предкам которого следовало бы вести себя поприличней в чужой стране. А если шину повредит свой брат, индеец, что ж, они помогут ему сменить колесо.

— Который час? — спросила она.

В какой уж раз по старой привычке он взглянул на пустое запястье, где прежде были часы. А потом без тени удивления и замешательства вытащил из кармана тепло поблескивающие золотом. Это было год назад.

Какой-то туземец впился взглядом в его часы. Он глядел на них с какой-то неистовой жадностью, а затем перевел взгляд на Уэбба. И в этом взгляде не было ни презрения, ни ненависти, ни печали, ни радости. Ничего, кроме удивления. С тех пор он никогда больше не носил часы на руке.

— Полдень, — ответил он.

Полдень.

Перед ними была граница. Они одновременно увидели ее и вскрикнули от радости. Машина остановилась. Сами того не сознавая, они улыбались...

Джон Уэбб высунулся из окна и жестами стал подзывать часового, но вдруг, словно опомнившись, вышел из машины.

Он направился к зданию пограничной заставы, около которого стояли, разговаривая, три низкорослых парня в мешковатых мундирах пограничников. Когда он подошел, они даже не взглянули на него и продолжали свою беседу на испанском языке.

— Прошу прощения, — наконец промолвил Джон Уэбб. — Можно пересечь границу? Нам надо в Хуаталу.

Один из пограничников обернулся:

— К сожалению, нет.

И они возобновили беседу.

— Вы меня не поняли, — сказал Уэбб, тронув за руку того, кто ему ответил. — Нам надо на ту сторону.

Пограничник отрицательно покачал головой:

— Все паспорта теперь недействительны. Да и зачем вам уезжать отсюда?

— По радио всем американцам предложено немедленно покинуть страну.

— A, si, si. — Все трое закивали головами, заулыбались и обменялись торжествующими взглядами.

— Иначе нам грозит штраф, или тюрьма, или то и другое, — сказал Уэбб.

— Даже если мы пропустим вас через границу, Хуатала не примет вас; она прикажет вам убраться оттуда в двадцать четыре часа. Если не верите, можно спросить. Вот, слушайте. — Пограничник обернулся и крикнул по ту сторону заставы.

— Эй, ты! Эй!

В сорока ярдах от линии границы под палящим солнцем вышагивал часовой с ружьем на плече. Он обернулся.

— Эй, Пако, тебе нужны эти двое?

— Нет, *gracias, gracias*, нет, — ответил часовой.

— Вот видите, — сказал пограничник, повернувшись к Джону Уэббу.

И трое дружно засмеялись.

— У меня есть деньги, — сказал Уэбб.

Смех умолк.

Первый из пограничников сделал несколько шагов к Джону Уэббу, и лицо его уже не казалось ни спокойным, ни благодушным. Теперь оно было словно высечено из коричневого камня.

— Вот как? — сказал он. — У вас всегда есть деньги. Это мы знаем. Приезжают сюда и думают, что могут делать здесь все что угодно на свои деньги. А что такое деньги? Всего лишь обещание, *señor*. Я читал об этом в книгах. А что, если никто больше не нуждается в ваших обещаниях?

— Я дам вам все, чего вы пожелаете.

— Неужели? — Пограничник повернулся к товарищам. — Слышите, он даст мне все, чего я пожелаю. — А затем, обращаясь к Уэббу, сказал: — Вы шутите, я знаю. Вам всегда нравилось смеяться над нами, не так ли?

— Нет.

— *Mañana**¹, смеялись вы над нами. *Mañana*, смеялись вы над нашими *siesta*² и над нашими *tañana*. Разве не так?

— Нет, я не смеялся. Возможно, другие.

— Нет, вы тоже смеялись.

— Я здесь впервые. Я никогда не был здесь прежде.

— И все-таки я вас знаю. Сделай то, сделай это, принеси то, принеси это. Вот тебе пезо за услуги, можешь купить себе дом. Беги туда, беги сюда, сделай то, сделай это.

— Это был не я.

* Завтра (*исп.*). (Здесь и далее примеч. пер.)

** Полуденный отдых (в самое жаркое время дня) (*исп.*).

— Что ж, в таком случае вы все очень похожи друг на друга.

Трое пограничников стояли под ярким солнцем, и черные тени ложились у их ног, а пот темными пятнами проступал под мышками. Первый из пограничников приблизился к Джону Уэббу.

— Теперь я ничего не должен делать для вас.

— Вы и раньше ничего для меня не делали. Я никогда ни о чем вас не просил.

— Вы дрожите.

— Нет, ничего. Это от жары.

— Сколько у вас денег? — спросил пограничник.

— Тысяча пезо за переход через эту границу и тысяча пезо за переход через ту.

Пограничник снова крикнул часовому по ту сторону заставы:

— Тысячи пезо хватит?

— Нет, — ответил часовой. — Скажи ему, пусть идет жалуйтесь!

— Да, — сказал пограничник, поворачиваясь к Уэббу. — Идите жалуйтесь. Пусть меня увольняют со службы. Меня уже один раз уволили из-за вас.

— Нет, это был не я.

— Запишите мое имя. Карлос Родригес Изотл. И теперь уходите.

— Так, понимаю.

— Нет, пока вы еще не все понимаете, — сказал Карлос Родригес Изотл. — Давайте-ка сюда ваши две тысячи пезо.

Джон Уэбб достал бумажник и вынул деньги. Карлос Родригес Изотл под застывшим голубым небом своей родины, поплевав на палец, медленно пересчитал деньги. А в это время полуденные тени густели и зной становился все нестерпимее, поднимаясь неведомо откуда. Наступая на собственные тени, люди тяжело дышали, изнемогая от жары.

— Ровно две тысячи пезо, — сказал он и спокойно положил деньги в карман. — А теперь поворачивайте вашу машину и поищите другую заставу.

— Да пропустите же нас, черт побери!

Пограничник посмотрел на него:

— Поворачивай!

Они молча глядели друг на друга, и солнечные блики играли на металлических частях винтовки часового. А потом Джон Уэбб повернулся и медленно побрел к машине, прикрыв лицо рукой. Он опустился на сиденье.

— Куда же теперь? — спросила Леонора.

— Не знаю. Попробуем добраться до Порто-Белло.

— Нам нужен бензин, нужно починить колесо. Возвращаться по этим дорогам!.. На этот раз их, возможно, завалят бревнами и...

— Я знаю, я все знаю. — Он потер руками глаза и затем какое-то время сидел, уткнувшись лицом в ладони. — Мы здесь одни, Боже мой, совсем одни. Помнишь, в какой безопасности мы всегда себя чувствовали? В безопасности! Останавливались в самых больших городах, где непременно имелись американские консульства. Помнишь, как мы любили шутить: «Куда ни поедешь, везде слышишь шелест орлиных крыльев»*? А это всего лишь шелестели доллары? Я уже сам не знаю. Господи, как быстро образовалась пустота. На чью помочь могу я теперь рассчитывать?

Она помолчала немного, а потом сказала:

— Должно быть, только на мою. Увы, это не так много.

Он обнял ее.

— Ты держишься молодцом. Ни истерики, ни слез.

— Сегодня, как только мы найдем крышу и постель, если только мы найдем их, я, возможно, буду биться в истерике.

Он дважды поцеловал ее в сухие растрескавшиеся губы. Затем медленно откинулся на спинку сиденья.

— Прежде всего надо раздобыть бензин. Если нам это удастся, мы направимся прямо в Порто-Белло.

Троє пограничников продолжали разговаривать и смеяться. Машина отъехала.

Спустя минуту Джон Уэбб тихонько засмеялся.

— Что ты? — спросила жена.

* Орел с распластанными крыльями — государственный герб США.

— Я вспомнил старинный негритянский спиричуэлс. Вот, послушай:

Я подошел к камням
И попросил укрыть меня,
И камни заговорили:
«Нет тебе места здесь, нет!»

— Я тоже помню эти слова, — сказала она.

— Они подходящие для создавшейся ситуации, — сказал он. — Я спою тебе его весь, если вспомню. И если мне захочется петь.

Он еще сильнее нажал на стартер.

Они остановились у заправочной станции, и, когда никто не вышел, Джон Уэбб нажал на кнопку сигнала. Но он тут же отдернул руку и посмотрел на нее с таким отвращением, словно это была рука прокаженного.

— Мне не следовало делать этого.

В темном провале двери появился человек. За ним вышли еще двое.

Все трое обошли вокруг машины, разглядывая и ощупывая ее.

Лица их были цвета пережженной бронзы. Они шупали упругие шины, вдыхали густой запах нагретого металла и суконной обивки.

— Señor, что угодно? — наконец спросил хозяин заправочной станции.

— Мы хотели бы купить бензин, если можно.

— Бензин весь вышел, señor, — ответил хозяин.

— Ваши баки полны, это видно даже отсюда.

— Бензин весь вышел.

— Я уплачую вам по десять пезо за галлон.

— Gracias, не надо.

— У нас так мало бензина, что мы никуда не сможем добраться. — Уэбб посмотрел на стрелку бензобака. — Осталось меньше четверти галлона. Придется оставить машину здесь и дойти пешком до города. Может, там достанем.

— Я присмотрю за вашей машиной, señor, — сказал хозяин заправочной станции. — Если вы оставите ключи.

— Мы не можем сделать этого! — воскликнула Леонора. — Как же тогда?..

— У нас нет иного выхода. Или оставить ее здесь, или бросить на шоссе, где ее подберет каждый.

— Здесь будет лучше, — сказал владелец бензиновой колонки.

Они вышли из машины. Они стояли и смотрели на нее.

— Это была хорошая машина, — сказал Джон Уэбб.

— Очень хорошая, — согласился владелец бензиновой колонки, протягивая руку за ключами. — Я присмотрю за ней.

— Но, Джон...

Леонора Уэбб открыла дверцу машины и стала вытаскивать чемоданы. Он видел яркие наклейки — целый каскад цветов и красок на потертой коже чемоданов — следы множества путешествий, совершенных в десятки стран, остановок в дорогих отелях.

Обливаясь потом, жена тянула к себе чемоданы. Он остановил ее. Тяжело дыша, они глядели в открытую дверцу машины на прекрасные дорогие саквояжи, в которых лежали великолепные вещи из шерсти и шелка, ставшие непременной принадлежностью их образа жизни, духи, стоившие сорок долларов за флакон, прекрасные бархатистые прохладные меха и отливающие серебром клюшки для гольфа. Двадцать лет жизни было в каждом из этих чемоданов. Двадцать лет жизни и по меньшей мере четыре десятка ролей, которые их владельцам приходилось играть в Рио*, Париже, Риме, Шанхае. Но больше всего, пожалуй, они любили роль богатой и счастливой четы Уэббов, веселых, всегда улыбающихся Уэббов, владеющих редким искусством готовить мудреный и капризный коктейль «Сахара».

— Нам не донести их до города, — сказал он. — Мы вернемся за ними. Потом.

— Но, Джон...

Он не дал ей договорить. Он повернул ее спиной к машине и подтолкнул идти в сторону шоссе.

* Сокращенное от Рио-де-Жанейро.

— Мы не можем все бросить здесь, все наши вещи, нашу машину! Я останусь здесь, я подниму окна и запрусь в машине, пока ты не вернешься с бензином!

Он остановился и оглянулся назад, на мужчин, стоявших у сверкающей машины. Он увидел глаза глядящих им вслед.

— Вот тебе ответ, — сказал он. — Идем.

— Разве можно так просто бросить машину, которая стоит четыре тысячи долларов! — воскликнула она.

Но он решительно увлек ее вперед, крепко держа за локоть.

— Машина хороша, когда она на ходу. Когда она мертва, она ничего не стоит. А сейчас нам во что бы то ни стало надо идти вперед. Машина не стоит и цента, если в ней нет бензина. Пара сильных выносливых ног стоит ста машин, если умеешь ими пользоваться. Мы только начали освобождаться от лишнего груза. Мы будем выбрасывать балласт за борт до тех пор, пока при нас не останется лишь собственная шкура.

Он отпустил ее локоть. Теперь она шла рядом, стараясь подладиться под его шаг.

— Странно. Как странно. Не помню уже, сколько лет я не ходила пешком.

Она видела, как мелькает шоссе под ногами, видела джунгли по бокам дороги и рядом быстро шагающего мужа; наконец ритм быстрой ходьбы увлек и ее.

— Оказывается, многому можно снова научиться, — сказала она.

Солнце плыло по небосклону. Они долго шли по раскаленному шоссе. Когда он все обдумал, он заговорил.

— Во всяком случае, хорошо понять самое главное. Вместо того чтобы беспокоиться о тысяче всяких мелочей, мы теперь будем думать о самом главном — о нас самих.

— Осторожно, машина!.. Нам лучше...

Они обернулись, вскрикнули, отскочили в сторону. Упав на землю подальше от обочины, они проводили взглядом машину, промчавшуюся со скоростью семьдесят пять миль в час. В ней пели, смеялись, кричали

люди и махали им руками. Машина пронеслась в облаке пыли и исчезла за поворотом, оглашая воздух звуками двойного горна. Джон помог жене подняться, и они снова вышли на шоссе.

— Ты видел ее?

Они смотрели, как медленно оседает пыль.

— Надеюсь, они догадаются сменить масло и перезарядить аккумулятор, — сказала она. — И налить свежей воды в радиатор, — добавила она и умолкла. — Они пели, не так ли?

Он кивнул. Они стояли и смотрели, как желтоватое пыльное облако оседает на их одежду и волосы. Две слезинки скатились по ее щекам.

— Не надо, — сказал он. — В сущности, это всего лишь машина, мертвая машина.

— Я так любила ее.

— Мы вечно привязываемся к тому, к чему не следуют.

Они обошли лежавшую на шоссе разбитую бутылку и видели, как испаряется вино, пролившееся на раскаленный асфальт.

Они подходили к окраинам городка, жена впереди, муж сзади, устремив глаза на асфальт, как вдруг лязг металла, пыхтение мотора и бульканье воды в перегретом радиаторе заставили их обернуться. Их догонял старик в полуразвалившемся «форде» образца 1929 года. Машина была без подножек, сожженная солнцем краска облупилась, но старик со спокойным достоинством восседал за рулем. Его лицо, затененное полями грязной панамы, было задумчивым и печальным. Увидев их, он остановил дымящуюся и вздрагивающую машину и открыл жалобно скрипнувшую дверцу.

— В такое время опасно ходить пешком.

— Вы так добры, — ответили они.

— Пустяки. — Старик был в поношенном пожелтевшем от времени, но когда-то белом летнем костюме; на старой морщинистой шее — небрежно повязанный засаленный галстук. Он с изысканным поклоном помог женщине устроиться на заднем сиденье.

— А мы, мужчины, впереди, — сказал он мужу. И когда тот сел, старик тронул машину, оставившую после себя густое облако пара.

— Меня зовут Гарсиа.

Состоялось знакомство и обмен кивками.

— Ваша машина потерпела аварию? Вы направляетесь в город за помощью? — спросил сеньор Гарсиа.

— Да.

— Тогда разрешите, я отвезу вас и механика обратно, — предложил старик.

Они вежливо поблагодарили и отказались. Старик продолжал настаивать, но, заметив, что его внимание только смущает их, тактично перевел разговор на другую тему.

Он коснулся рукой небольшой пачки газет, которая лежала у него на коленях.

— Вы читаете газеты? Ну конечно же, как глупо спрашивать об этом! Но вы не читаете их так, как я. Не думаю, чтобы вам была известна моя система. Хотя не я сам ее придумал — обстоятельства вынудили. Но теперь я знаю, какая это чудесная находка. Я читаю газеты недельной давности. Всякий, кто пожелает, может получать свои газеты из столицы с недельным запозданием. Ничто так не помогает сохранять трезвость мышления, как газеты недельной давности. Человек невольно становится очень сдержаным и осторожным в своих суждениях.

Когда муж и жена попросили его продолжать, старик сказал:

— Помню, я месяц жил в столице и ежедневно покупал газеты. Я чуть с ума не сошел от любви, ненависти, возмущения, отчаяния. Страсти так и клокотали во мне. Я был молод и готов был взорваться по любому поводу. Я верил в то, что видел и что читал. Вы заметили? Когда читаешь газету в тот же день, почему-то веришь всему, что в ней написано. Думаешь: раз это случилось всего час назад, значит, это правда. — Он покачал головой. — Поэтому я приучил себя отходить в сторонку и выжидать, когда газета отстоится, устареет. Здесь, в нашем городке, газетные заголовки меркнут, превращаются в ничто. Газета недельной давности! Вы

можете, если хотите, даже плюнуть на нее. Она похожа на женщину, которую вы любили, а потом вдруг увидели, что она совсем не та, какой вам казалась. Она даже дурна собой, а душа ее не глубже блюдца с водой.

Он осторожно вел машину, бережно и нежно положив руки на руль, словно на головы любимых внуков.

— Вот я еду домой, чтобы читать газеты недельной давности, смотреть на них со стороны, играть с ними. — Одну из них он развернул и держал на колене, время от времени заглядывая в нее. — Как пуст этот лист, словно разум слабоумного ребенка. Пустоту можно заполнить чем угодно. Вот, посмотрите! Эта газета утверждает, что все представители белой расы исчезли с лица земли. Какая глупость писать подобные вещи! И это тогда, когда на свете миллионы и миллионы белых мужчин и женщин сейчас спокойно обедают или ужинают. Мир содрогается, рушатся города, люди с воплями покидают их. Кажется, все погибло! А рядом, в деревушках, люди не понимают, зачем весь этот шум, поскольку они только что прекрасно выспались и с новыми силами встречают день. Ай, ай, как непостоянен и кошмарен этот мир! А люди не видят этого. Для них либо ночь, либо день. Слухи разносятся быстро. Здесь повсюду, в деревушках, позади и впереди нас, люди готовятся к карнавалу. Белые исчезли с лица земли, утверждают слухи, а тут я въезжаю в город и у меня в машине их целых двое, живых и невредимых. Надеюсь, вас не обижают мои речи? Не будь вас, я разговаривал бы с моим автомобилем. Иногда он возражает мне довольно шумно.

Они подъехали к городу.

— Пожалуйста, — промолвил Джон Уэбб, — не надо, чтобы нас увидели в вашей машине. Мы сойдем здесь. Так будет лучше.

Старик неохотно остановил машину.

— Ценю ваше благородство. — Он обернулся и посмотрел на красивую женщину.

— Когда я был молод, я был полон самых невероятных замыслов и идей. Я перечитал все книги одного француза. Его звали Жюль Верн. Я вижу, вам знакомо это имя. Во сне я часто видел себя изобретателем. Те-

перь это прошло. Я ничего не изобрел. Но я хорошо помню машину, которую хотел изобрести. Она должна была помочь людям понимать друг друга. Она состояла из запахов и красок, в ней был проекционный фонарь, как в киноаппарате, а сама она напоминала гроб. Человек ложился в нее и нажимал кнопку, и в течение целого часа он был то эскимосом на льдине, то арабом на коне. Вы могли испытывать все, что испытывал житель Нью-Йорка, вдыхали запахи, которые вдыхал швед, вкушали блюда, которые ел китаец. Машина была вашим вторым «я». Вы меня понимаете? Нажимая ее кнопки, вы могли становиться то белым, то желтым, то черным. Вы могли стать даже ребенком или женщиной, если бы вам вдруг захотелось.

Муж и жена вышли из автомобиля.

— Вы пытались изобрести такую машину?

— Да, но это было очень давно. Я совсем забыл о ней, а вот сегодня вспомнил. Сегодня, подумал я, она как никогда пригодилась бы нам, она очень нужна именно сегодня. Как жаль, что мне не удалось ее создать. Но когда-нибудь это сделают за меня другие.

— Да, когда-нибудь, — промолвил Джон Уэбб.

— Я рад, что побеседовал с вами, — сказал старик. — Да хранит вас Бог.

— Adios, señor Гарсиа, — ответили они.

Машина медленно тронулась в облаке пара. С минуту они провожали ее взглядом. Затем муж молча взял жену за руку.

Они пешком вошли в небольшой городок Колонию. Они шли мимо маленьких лавочонок, открытой мясной лавки *carneceria*, парикмахерской. Люди останавливались и долго глядели им вслед. Каждые несколько секунд рука Уэбба осторожно и незаметно ощупывала револьвер в кобуре под мышкой, касаясь его легонько и бережно, словно нарява, который с каждой минутой становился все больше и причинял боль.

В мрачном дворике отеля «Эспоза» было прохладно как в гроте под сенью голубого водопада. Пели

птицы в клетках, а шаги отдавались эхом, гулким и неожиданно звонким, словно короткие выстрелы.

— Помнишь? Мы останавливались здесь несколько лет назад, — сказал Уэбб, помогая жене подняться по ступенькам. Они стояли в тени грота, наслаждаясь его синей прохладой.

— *Señor* Эспоза, — промолвил Джон Уэбб, когда навстречу им из-за конторки вышел тучный человек. — Вы помните меня? Я — Джон Уэбб. Пять лет назад мы всю ночь напролет играли с вами в карты.

— Конечно, конечно. — *Señor* Эспоза отвесил даме поклон и быстро пожал гостям руки. Наступило неловкое молчание.

Уэбб откашлялся.

— Мы попали в затруднительное положение, *señor*. Не могли бы мы остановиться в вашем отеле, только на одни сутки?

— Ваши деньги всегда здесь в цене.

— Значит, вы не отказываете нам? Я уплачу вперед. Видит Бог, нам необходим отдых. А еще больше нам нужен бензин.

Леонора тронула мужа за рукав:

— Ты забыл, что у нас нет машины.

— Ах да. — Он умолк, а потом, вздохнув, сказал: — Ну что ж. Бог с ним, с бензином. Когда идет ближайший автобус в столицу?

— Я обо всем позабочусь, — засуетился *señor* Эспоза. — Сюда, пожалуйста.

Поднимаясь по лестнице, они услышали шум. Взглянув в окно, они увидели свою машину. Она описывала круги по площади, набитая до отказа кричащими и смеющимися людьми, висящими даже на подножках. За машиной бежали дети и собаки.

— Неплохо иметь такую машину, — сказал *señor* Эспоза.

В комнате на третьем этаже Эспоза наполнил три стакана прохладным вином.

— За перемены, — сказал *señor* Эспоза.

— Охотно выпью, за них.

Они выпили. Сейнор Эспоза облизнул губы, а затем вытер их рукавом.

— Перемены всегда застают врасплох и удивляют. Это безумие, это так неожиданно, говорим мы. Это невероятно. А теперь... Во всяком случае, вы здесь в безопасности. Примите ванну, поужинайте. Я могу предоставить вам комнату только на один день, чтобы отплатить за вашу доброту ко мне пять лет назад.

— А завтра?

— Завтра? Только не вздумайте ехать в столицу на автобусе. В столице неспокойно. Убито несколько североамериканцев. Но это все ненадолго. Это пройдет через несколько дней. Но эти несколько дней, пока не улягутся страсти, вы должны быть очень осторожны. Многие в корыстных целях постараются воспользоваться этими днями, сейнор. В эти сорок восемь часов, используя невиданную вспышку национализма, они постараются оказать свое влияние. Личное тщеславие и патриотизм — так трудно теперь отличить их, сейнор. Поэтому пока вам надо где-нибудь укрыться. Но где, вот вопрос. Через несколько часов в городе станет известно, что вы здесь. Это может повредить моему отелю. Как знать.

— Мы вас понимаем. Вы очень добры, что согласились сделать для нас хотя бы это.

— Если вам понадобится что-нибудь, позовите меня. — Эспоза допил остаток вина в стакане. — Оставьте себе вино, — сказал он, указывая на бутылку.

В девять вечера начался фейерверк. Сначала взлетела в небо одна ракета, за ней взвилась и лопнула другая, нарисовав причудливый узор на черном бархате неба. Каждая из следующих одна за другой ракет в конце своего полета, взрываясь, прочерчивала небо красно-белыми штрихами, и казалось, что вверху обрисовываются контуры какого-то величественного и прекрасного собора.

Леонора и Джон Уэбб стояли у открытого окна темной комнаты, смотрели и прислушивались. По мере того как спустилась ночь, на улицах города становилось все многолюднее; толпы стекались в город со всех

концов, по всем дорогам и тропинкам. Взявшись за руки, с песнями и криками, подражая лаю собак, крику петухов, они плясали на площади. Устав, они тут же опускались на плиты тротуаров и, смеясь, подняв голову кверху, следили за огнями фейерверков, бросавшими яркие отсветы на их запрокинутые лица. Глухо заухал и засвистел духовой оркестр.

— Итак, вот к чему мы пришли после многовекового господства, — сказал Джон Уэбб. — Вот что осталось от нашего превосходства: мы в темной комнате отеля, в городишке, расположенном в самом сердце ликующего вражеского стана.

— Надо постараться понять их.

— Ты думаешь, я не старался с тех самых пор, как помню себя? Отчасти я даже рад, что они счастливы. Видит Бог, они долго ждали этого дня. Но я хотел бы знать, надолго ли это. Теперь, когда главный виновник уничтожен, кого будут винить они в своем бесправии, кто будет так же бесспорно виновен и так же легко доступен для расправы, как мы с тобой или человек, который ночевал здесь до нас?

— Не знаю.

— Ведь мы очень подходим для этого. И человек, который жил здесь до нас, тоже очень подходит, он просто сам напрашивается на это. Он откровенно смеялся над их государственными системами. Он наотрез отказывался выучить хотя бы слово по-испански. Пусть они учат английский, черт побери, и говорят наконец на человеческом языке. Он слишком много пил и распутничал с их женщинами. — Он умолк, отпрянув от окна, и окинул взглядом комнату.

Вот эта мебель, думал он. Он клал свои ноги в грязных ботинках на этот диван, прожигал сигаретами дыры в коврах. Темное пятно на обоях — кто знает, как и зачем он его посадил? Поцарапанные ножки стульев, которые он пинал ногами. Это был не его отель, не его комната. Он только временно пользовался всем этим, и все это ровным счетом ничего для него не значило. И этот негодяй разъезжал хозяином по стране все эти последние сто лет — коммивояжер, представитель торговой палаты. А теперь мы остановились здесь,

похожие на него, как родные брат и сестра, а внизу ликуют люди, взявшие реванш. Они еще не знают — а даже если и знают, то не хотят думать об этом, — что они все так же бедны и бесправны, и завтра старая машина завернется по-старому.

Оркестр внизу умолк; на помост вскочил человек и что-то крикнул в толпу. Засверкали мачете, блеснули полуобнаженные смуглые тела.

Человек на помосте стоял лицом к отелю, и взгляд его был устремлен на темное окно, в глубине которого, прячась от вспышек фейерверка, стояли Джон и Леонора Уэбб.

Человек что-то кричал.

— Что он говорит? — спросила Леонора.

— «Теперь это — свободный мир», — перевел Джон Уэбб.

Человек крикнул еще громче.

Джон Уэбб снова перевел:

— Он говорит: «Мы теперь свободны!»

Человек приподнялся на носках и сделал руками жест, словно разорвал цепи.

— Он говорит: «Теперь никто не владеет нами, никто на свете».

Толпа одобрительно загудела, снова заиграл оркестр, а человек на помосте смотрел на темное окно отеля, и в глазах его была вековая ненависть человечества.

Ночью был слышен шум драк и потасовок, громкие споры и выстрелы. Джон Уэбб, не смыкавший глаз, слышал, как *señor* Эспоза тихим, спокойным, но твердым голосом кого-то уверещевал. Затем шум утих, отдалился; последние ракеты взлетели в небо, последние пустые бутылки были разбиты о мостовую.

В пять часов утренняя прохлада, постепенно нагреваясь, стала переходить в новый день. В дверь еле слышно постучали.

— Это я, Эспоза, — произнес голос.

Джон Уэбб, чувствуя, как болит от бессонной ночи тело, медленно поднялся и отпер дверь.

— Что за ночь, что за ночь! — сказал, входя в комнату, Эспоза и со смущенным смешком покачал

головой. — Вы слышали шум? Да? Они хотели войти к вам. Я не позволил.

— Благодарю вас, — сказала Леонора. Она лежала, отвернувшись лицом к стене.

— Это все старые друзья, приятели. Я с ними договорился. Они порядком выпили, были в хорошем настроении и согласились подождать. У меня к вам предложение. — Он смутился еще больше и подошел к окну. — Сегодня все встанут поздно. Не спят лишь несколько человек. Вон, смотрите, они там, в конце площади.

Джон Уэбб посмотрел в окно. Группа темнокожих людей спокойно беседовала о чем-то — о погоде, мировых событиях, солнце, жизни своего городка или, быть может, о том, что не мешало бы выпить.

— Señor, знакомо ли вам чувство голода?

— Однажды я испытал его, в течение одного дня.

— Только одного дня! У вас всегда был свой дом, своя машина?

— Да, до вчерашнего дня.

— Были ли вы когда-нибудь без работы?

— Никогда.

— Дожили ли ваши братья и сестры до своего совершеннолетия?

— Все до одного.

— Даже я, — сказал señor Эспоза, — даже я иногда ненавижу вас. Потому что у меня не было своего дома, я голодал, и я отвез своих трех братьев и сестру на кладбище, что на горе за городом. Они все, один за другим, умерли от туберкулеза... когда им исполнилось всего девять лет.

Señor Эспоза посмотрел на людей на площади.

— Теперь я не голодая, я не беден, у меня своя машина, я жив. Но я один из тысячи. А что сможете вы сказать вот им?

— Я попытаюсь что-нибудь сказать им.

— Я давно оставил эти попытки, señor. Нас, белых, всегда было меньшинство. Я испанец, но я родился здесь. Они приняли меня и примирились со мной.

— Мы никогда не хотели признаться, что нас меньшинство, — сказал Уэбб, — поэтому нам теперь так страшно поверить этому.

— Вы вели себя достойно.

— Разве это так уж важно?

— На арене во время боя быков это важно, на войне — тоже, да и в любой другой ситуации, похожей на эту. Вы не жалуетесь, не ищете оправданий. Вы не обратились в бегство и поэтому не стали мишенью для насмешек и оскорблений. Я считаю, что вы двое держитесь очень хорошо. — Хозяин отеля медленно и устало опустился на стул. — Я пришел, чтобы предложить вам остаться здесь.

— Мы предпочли бы продолжить наш путь, если это возможно.

Хозяин пожал плечами:

— У вас отняли машину, и я не могу вернуть ее вам, и вам едва ли удастся покинуть этот город. Оставайтесь, примите мое предложение — работать в моем отеле.

— Подскажите, куда нам лучше всего держать путь?

— Это может продлиться двадцать дней, señor, или двадцать лет. Вы не сможете жить без денег, без пищи и кровя. Подумайте о моем предложении, я дам вам работу.

Хозяин встал и с удрученным видом пошел к двери. Он на мгновенье задержался у стола, на котором висел пиджак Уэбба, и легонько коснулся его рукой.

— Что вы можете предложить нам? — спросил Уэбб.

— Работу на кухне, — ответил хозяин и отвернулся.

Джон Уэбб, сидевший на кровати, ничего не ответил. Его жена не шелохнулась. Тогда señor Эспоза сказал:

— Это все, что я могу для вас сделать. Чего вы еще хотите от меня? Вчера ночью эти люди на площади требовали вас. Вы видели у них в руках мачете? Мне удалось договориться с ними. Вам повезло. Я сказал, что нанял вас на работу в отеле сроком на двадцать лет и теперь вы мои служащие и находитесь под моей защитой.

— Вы сказали им это!

— Señor, señor, вы должны благодарить меня. Подумайте сами, куда вы пойдете? В джунгли? Через два часа вы погибнете от укусов ядовитых змей. Сможете вы проделать пятьсот миль пешком до столицы, куда вас все равно не пустят? Нет, вы должны примириться с тем, что случилось. — Señor Эспоза открыл дверь в коридор. — Я предлагаю вам честную работу и твердый заработка — два пезо в день и харчи. Предпочитаете остаться у меня или хотите встретиться в полдень с моими друзьями, которые ждут вас на площади? Решайте.

Дверь закрылась. Señor Эспоза ушел.

Уэбб встал и долго смотрел на дверь. Затем подошел к стулу и ощупал кобуру револьвера, прикрытую брошенной поверх пиджака рубашкой. Кобура была пуста. Он держал ее в руках и, растерянно моргая, смотрел в ее черную пустоту, а затем перевел взгляд на дверь, за которой скрылся сеньор Эспоза.

Он подошел к кровати и сел на нее. Затем он прилег рядом с женой и поцеловал ее. Они лежали и смотрели, как светлеют стены комнаты и разгорается новый день.

В одиннадцать часов, открыв настежь окна и двери, они начали одеваться. В ванной нашлись мыло, полотенца, бритвенный прибор и одеколон, заботливо приготовленные сеньором Эспозой.

Джон Уэбб тщательно побрился и оделся. В одиннадцать тридцать он включил маленький радиоприемник у кровати. Такой приемник обычно легко ловил станции Нью-Йорка, Кливленда или Хьюстона. Но теперь он молчал. Джон Уэбб выключил его.

Возвращаться не к чему, позади ничего нет.

Жена в застывшей позе сидела на стуле у двери, устремив немигающий взгляд в стену.

— Мы можем остаться здесь и работать, — сказал он.

Наконец она сделала какое-то движение.

— Нет, мы не можем, не можем. Ведь ты сам это знаешь.

— Да, должно быть, не можем.

— Выхода нет. Мы избалованы, мы испорчены, но мы последовательны в своих поступках.

Он на минуту задумался.

— Мы можем уйти в джунгли.

— Не думаю, что нам удастся выйти из отеля незамеченными. Ведь мы не собираемся бежать, чтобы за нами устроили погоню и поймали? Будет еще хуже.

Он кивнул.

Оба какое-то время молчали.

— Может быть, останаться здесь и работать не так уж плохо? — сказал он.

— Для чего? Все умерли — твой отец и мой, твоя мать и моя, твои и мои братья, все наши друзья, погибло все, что было нам близко и понятно.

Он опять кивнул.

— Мы останемся, будем работать, но в один прекрасный день кто-нибудь тронет меня и ты не стерпишь, ты ведь сам знаешь, что не стерпишь. Или кто-нибудь тронет тебя, и тогда я не стерплю.

Он снова кивнул головой.

Так вполголоса они беседовали минут пятнадцать. Наконец он поднял трубку телефона.

— Bueno, — ответил голос.

— Señor Эспоза?

— Si.

— Señor Эспоза, — он передохнул и облизнул губы, — скажите вашим друзьям, что в полдень мы выйдем из отеля.

Ответ последовал не сразу. Послышался вздох и наконец сеньор Эспоза сказал:

— Как вам угодно. Вы уверены, что...

Молчание длилось еще с минуту. Затем голос сеньора Эспозы тихо произнес:

— Мои друзья будут ждать вас в конце площади.

— Хорошо, мы встретимся с ними там, — ответил Джон Уэбб.

— Но...

— Да.

— Прошу вас, не вините меня, не вините никого из нас.

— Я никого не виню.

— Это ужасный мир, *señor*. Никто из нас не знает, зачем он здесь и что он делает. Эти люди сами не знают, почему они так озлоблены, но они озлоблены. Простите их и не питайте к ним ненависти.

— Я не пытаю ненависти ни к ним, ни к вам.

— Благодарю вас, благодарю.

Возможно, человек на другом конце провода пла-
кал. Слова его прерывались долгими паузами. Он тя-
жело дышал. Спустя какое-то время он промолвил:

— Мы сами не знаем, что делаем. Без всякой причи-
ны люди набрасываются друг на друга — только пото-
му, что они очень несчастны. Запомните это. Я ваш
друг. Я помог бы вам, если бы это было в моих силах.
Но я бессилен. Я один против целого города. Прощайте,
señor. — Он повесил трубку.

Джон Уэбб сидел, не снимая руки с умолкшего теле-
фонного аппарата. Прошла минута, пока наконец он
поднял голову. Еще минута, пока его взгляд сосредо-
точился на чем-то, что было прямо перед ним. И даже
когда его глаза явственно разглядели то, на что он так
пристально смотрел, прошло еще какое-то время, прежде
чем он все понял и губы его дрогнули — это была
бесконечно усталая, горькая усмешка.

— Посмотри, — промолвил он наконец.

Леонора проследила его взгляд: на гладкой полиро-
ванной поверхности стола чернела обуглившаяся впа-
дина — след от забытой им непогашенной сигареты.

Был полдень, когда они вышли из отеля. Солнце
стояло над самой головой, сильно укорачивая тени.
За их спиной щебетали птицы в бамбуковых клетках
и тихо падали струйки фонтана в маленький бассейн.
Они постарались выглядеть как можно опрятнее, тща-
тельно вымыли лицо и руки, отполировали ногти, до
блеска начистили обувь.

В противоположном конце площади, в двухстах яр-
дах от них, у одного из магазинов, в тени нависающего
над тротуаром верхнего этажа стояла группа людей.
Среди них были те, кто пришел из джунглей, — в опу-
щенных руках они держали мачете. Лица их были по-
вернуты в сторону площади.

Джон Уэбб долго смотрел на них. Нет, они — это еще не все, это еще не весь народ этой страны, это только то, что на поверхности. Это всего лишь оболочка, но не сама плоть. Всего лишь скорлупа, как на яйце. Помнишь ли там, дома, разъяренную толпу? Толпа везде одинакова — и здесь, и там. Десяток искаженных ненавистью лиц, а за ними молчаливые ряды тех, кто не участвует, стоит в стороне, не мешает событиям развиваться. Большинство стоит в стороне. Поэтому единицы, горстка делают за них все.

Он не сводил с них немигающего взгляда. Только бы прорваться через этот тонкий барьер. «Видит Бог, он очень тонок! — думал он. — Если бы удалось уговорить их и прорваться к тем, что за ними... Смогу ли я сделать это? Найду ли нужные слова? Скажу ли все спокойно?»

Он порылся в карманах и отыскал измятую пачку сигарет и коробок спичек.

«Я попробую, — думал он. — Как поступил бы на моем месте старик в старом “фордике”? Я постараюсь поступить так, как поступил бы он. Когда мы пересечем площадь, я начну говорить; если надо, я буду говорить даже шепотом. И если мы спокойно пройдем через толпу, мы, возможно, найдем дорогу к тем, кто стоит за нею, и будем в безопасности».

Леонора была рядом. Какой свежей и опрятной выглядела она, несмотря ни на что, как странно ее появление сейчас в этом старом городке, странно и неуместно, — при этой мысли его передернуло, как от внезапной боли. Он обнаружил, что смотрит на нее так, словно она предала его своей сверкающей чистотой и свежестью, красиво уложенными волосами, маникюром и ярко накрашенными губами.

Сойдя с последней ступеньки крыльца, Уэбб закурил сигарету, сделал две-три глубокие затяжки, бросил сигарету, растоптал ее и далеко отшвырнул ногой растоптанный окурок.

— Ну, пойдем, — сказал он.

Они пошли по тротуару, огибавшему площадь, в дальний ее конец, мимо открытых дверей лавок. Они шли, не торопясь.

— Может, они не тронут нас.

— Будем надеяться на это.

Они прошли мимо лавчонки фотографа.

— Еще бы один день. За один день все может случиться. Я уверена. Нет, в сущности, я совсем не уверена. Это я просто для того, чтобы что-нибудь сказать. Я должна говорить, иначе я не смогу потом вымолвить и слова, — сказала она.

Они прошли мимо кондитерской.

— Тогда говори, не останавливайся.

— Я боюсь, — сказала она. — С нами не должно ничего случиться! Неужели мы единственные из уцелевших?

— Должно быть.

Они приближались к *carteaseria*.

«Господи! — подумал он. — Как сузились горизонты, как сомкнулось все вокруг. Год назад не было всего лишь четырех направлений — их был миллион. А вчера их стало только четыре; мы могли ехать только в Хуаталу, Порто-Белло, Сан-Хуан-Клементас или Бриконбрико. Мы были рады, что у нас машина. А потом мы не смогли достать бензин и были рады, что у нас есть чемоданы, а потом, когда и их не стало, мы были рады, что есть где переночевать. Одно за другим они отнимали у нас то, что было нам дорого, однако мы все время находили что-то взамен. Ты заметила, как, потеряв одно, мы тут же цеплялись за другое? Человек, должно быть, не может иначе. А потом у нас отняли все. Ничего не осталось. Кроме нас самих. Остались только ты да я, бредущие по тротуару, и я, некстати, черт побери, думающий обо всем этом. Единственное, что важно теперь, — это знать, отнимут они тебя у меня, Ли, или меня у тебя. Однако я хочу верить, что они не сделают этого. Они отняли у нас все, и я не виню их. Но они не должны тронуть нас. Если снять всю одежду и побрякушки, остаются всего лишь два живых существа, которым или хорошо или плохо вместе, а мы с тобой никогда ведь не жаловались».

— Не спеши, иди медленно, — сказал Джон Уэбб.

— Я не спешу.

— Но не так медленно, чтобы казалось, будто ты боишься. И не так быстро, словно ты торопишься поскорее покончить с этим. Не давай им возможности торжествовать, Ли, не давай им больше ничего.

— Хорошо.

Они шли вперед.

— Не притрагивайся ко мне, — тихо промолвил он. — Не пытайся взять меня за руку.

— О, пожалуйста!

— Нет, нет, не делай этого.

Он отодвинул ее, продолжая идти. Он смотрел прямо перед собой. Их шаги были ровными и размежеванными.

— Я сейчас разревусь, Джон.

— Проклятье! — медленно, не повышая голоса, сквозь зубы сказал он, даже не взглянув в ее сторону. — Перестань! Ты хочешь, чтобы я бросился бежать? Ты этого хочешь? Хочешь, чтобы я схватил тебя и бросился в джунгли, а потом чтобы они охотились за нами, — ты этого хочешь, черт побери, хочешь, чтобы я упал на землю, завизжал и забился в истерике? Перестань, сделаем все как надо, они не получат больше ничего!

Они шли вперед.

— Хорошо, — сказала она, крепко сжав руки и подняв голову. — Я уже не плачу. Я не буду плакать.

— Хорошо, черт побери, очень хорошо, что ты не плачешь.

Странно, они все еще не минули эту *carnéceria*. Они медленно шли по горячим плитам тротуара, а слева от них находилось это чудовищное видение. То, что свешивалось с крюков, напоминало о чем-то жестоком и постыдном, как нечистая совесть, кошмарные сны, растерзанные знамена и преданные надежды. Багровый цвет, зловещий запах сырости и крови — высоко подвешенные на крюках туши. Все было так ужасно, так непривычно.

Проходя мимо мясной лавки, Джон Уэбб, сам не зная зачем, вдруг поднял руку и с размаху хлопнул одну из туш. Сверкающим черно-синим конусом над головой взвились сердито жужжащие мухи.

Не замедляя шага, глядя прямо перед собой, Леонора сказала:

— Они нам все чужие. Я никого не знаю. Мне хотелось бы знать хотя бы одного из них. Мне хотелось бы, чтобы хоть один из них знал меня.

Наконец они миновали *сагрёсегрия*. Отвратительная багровая туша раскачивалась все медленнее и медленнее под жаркими лучами солнца.

И когда она остановилась совсем, жадные мухи снова облепили ее, словно укрыли черной мантией.



**ЛЕКАРСТВО
ОТ МЕЛАНХОЛИИ**



ПОГОЖИЙ ДЕНЬ

О человеке, который больше всего в жизни любил искусство

Однажды летним полднем Джордж и Элис Смит приехали поездом в Биарриц и уже через час выбежали из гостиницы на берег океана, искупались и разлеглись под жаркими лучами солнца.

Глядя, как Джордж Смит загорает, развались на песке, вы бы приняли его за обыкновенного туриста, которого свеженьkim, точно салат-латук во льду, доставили самолетом в Европу и очень скоро пароходом отправят восвояси. А на самом деле этот человек больше жизни любил искусство.

— Ну вот... — Джордж Смит вздохнул. По груди его поползла еще одна струйка пота. Пусть испарится вся вода из крана в штате Огайо, а потом наполним себя лучшим бордо. Насытим свою кровь щедрыми соками Франции и тогда все увидим глазами здешних жителей.

А зачем? Чего ради есть и пить все французское, дышать воздухом Франции? Да затем, чтобы со временем по-настоящему постичь гений одного человека.

Губы его дрогнули, беззвучно промолвили некое имя.

— Джордж? — Над ним наклонилась жена. — Я знаю, о чем ты думаешь. По губам прочла.

Он не шевельнулся, ждал.

In a Season of Calm Weather
Copyright © 1956 by Ray Bradbury
Погожий день
© Нора Галь, перевод, 1973

— Ну и?..

— Пикассо, — сказала она.

Он поморщился. Хоть бы научилась наконец правильно произносить это имя.

— Успокойся, прошу тебя, — сказала жена. — Я знаю, сегодня утром до тебя докатился слух, но поглядел бы ты на себя — опять глаза дергает тик. Пускай Пикассо здесь, на побережье, в нескольких милях отсюда, гостит у друзей в каком-то рыбачьем поселке. Но не думай про него, не то наш отдых пойдет прахом.

— Лучше бы мне про это не слышать, — честно признался Джордж.

— Ну что бы тебе любить других художников, — сказала она.

Других? Да, есть и другие. Можно недурно позавтракать натюрмортами Караваджо — осенними грушами и темными, как полночь, сливами. А на обед — брызгущие огнем подсолнухи Ван Гога на мощных стеблях, их цветенье постигнет и слепец, пробежав обожженными пальцами по пламенному холсту. Но истинное пиршество? Полотна, которыми хочешь по-настоящему насладиться? Кто заполнит весь горизонт от края до края, словно Нептун, встающий из вод в венце из алебастра и коралла, когтистые пальцы сжимают подобно трезубцу большущие кисти, а взмах огромного рыбьего хвоста обдаст летним ливнем весь Гибралтар, — кто, если не создатель «Девушки перед зеркалом» и «Герники»?

— Элис, — терпеливо сказал Джордж, — как тебе объяснить? Всю дорогу в поезде я думал: Боже милостивый, ведь вокруг — страна Пикассо!

Но так ли, спрашивал он себя. Небо, земля, люди, тут румяный кирпич, там ярко-голубая узорная решетка балкона, и мандолина, будто спелый плод, под несчетными касаньями чьих-то рук, и клочки афиш — летучее конфетти на ночном ветру... Сколько тут от Пикассо, а сколько — от Джорджа Смита, озирающего мир неистовым взором Пикассо? Нет, не найти ответа. Этот старик насквозь пропитал Джорджа Смита скипидаром и олифой, преобразил все его бытие: в

сумерки сплошь Голубой период, на рассвете сплошь — Розовый.

— Я все думаю, — сказал он вслух, — если бы мы отложили денег...

— Никогда нам не отложить пяти тысяч долларов.

— Знаю, — тихо согласился он. — Но как славно думать, а вдруг когда-нибудь это удастся. Как бы здорово просто прийти к нему и сказать: «Пабло, вот пять тысяч! Дай нам море, песок, вот это небо, дай, что хочешь, из старого, мы будем счастливы...»

Выждав минуту, жена коснулась его плеча.

— Иди-ка лучше окунись, — сказала она.

— Да, — сказал он, — так будет лучше.

Он врезался в воду, фонтаном взметнулось белое пламя.

До вечера Джордж Смит окунался и вновь и вновь выходил на берег со множеством других, то опаленных жаркими лучами, то освеженных прохладной волной, и наконец, когда солнце уже клонилось к закату, эти люди с кожей всех оттенков, кто цвета омара, кто — жареного цыпленка, кто белой цесарки, устало поплелись к своим отелям, похожим на свадебные пироги.

На опустелом берегу, что протянулся на мили и мили, остались только двое. Один — Джордж Смит с полотенцем через плечо, готовый совершить вечерний обряд.

А издали, в мирном безветрии, шел по пустынному берегу еще один человек, невысокий, коренастый. Он загорел сильнее, солнце окрасило его бритую голову в цвет красного дерева, на темном лице светились глаза, ясные и прозрачные, как вода.

Итак, вот он, берег — сцена перед началом спектакля, и через считанные минуты эти двое встретятся. Снова, в который раз, судьба кладет на чаши весов потрясения и неожиданности, встречи и расставанья. А меж тем два одиноких путника вовсе не задумывались о потоке внезапных совпадений, подстерегающих каждого во всякой толпе, в любом городе. Ни тому, ни другому не приходило на ум, что, если осмелившись погрузиться в этот поток, можно ухватить полные горсти

чудес. Подобно многим, они только отмахнулись бы от такого вздора и преспокойно остались бы на берегу, не столкни их в поток сама Судьба.

Незнакомец остановился в одиночестве. Огляделся, увидел, что один, увидел чарующие воды залива и солнце, утопающее в последнем многоцветье дня, потом обернулся и заметил на песке щепочку. То была всего лишь тонкая палочка из-под давно растаявшего лимонного мороженого. Он улыбнулся и подобрал ее. Опять огляделся и, уверясь, что он здесь один, снова наклонился и, бережно держа палочку, легкими взмахами руки стал делать то, что умел лучше всего на свете.

Он стал рисовать на песке немыслимые фигуры. Набросал одну, шагнул дальше и, не поднимая глаз, теперь уже весь поглощенный работой, нарисовал еще одну, потом третью, четвертую, пятую, шестую...

Джордж Смит шел по берегу, оставляя следы на песке, глядел вправо, глядел влево, потом увидел впереди незнакомца. Подходя ближе, Джордж Смит увидел, что человек этот, бронзовый от загара, низко наклонился. Джордж Смит подошел еще ближе и понял, чем тот занимается. И усмехнулся. Ну да, конечно... этот тип на берегу — сколько ему, шестьдесят пять, семьдесят? — что-то там выцарапывает, чертит. Песок так и летит во все стороны! Нелепые образы так и разлетаются по берегу! И так...

Джордж Смит сделал еще шаг — и замер.

Незнакомец рисовал, рисовал и, видно, не замечал, что кто-то стоит у него за плечом, рядом с миром, возникающим под его рукой на песке. От всего отрешенный, он был одержим вдохновением: взорвесь в заливе глубинные бомбы, даже это не остановило бы полета его руки, не заставило бы обернуться.

Джордж Смит смотрел на песок. Долго смотрел, и вот его бросило в дрожь.

Ибо здесь, на гладком берегу, возникли греческие львы и козы Средиземноморья, и девы с плотью из песка, словно тончайшая золотая пыльца, играли на свирелях сатиры и танцевали дети, разбрасывая цветы дальше и дальше, скакали следом по берегу резвые

ягнята, перебирали струны арф и лир музыканты, единороги уносили юных всадников к далеким лугам и лесам, к руинам храмов и вулканам. Не уставала рука одержимого, он не разгибался, охваченный лихорадкой, пот катил с него градом, и струилась непрерывная линия, вилась, изгибалась, деревянное стило металось вверх, вниз, вдоль, поперек, кружило, петляло, чертило, шуршало, замирало и неслось дальше, словно эта неподдержимая вакханалия непременно должна достичь блестательного завершения прежде, чем волны погасят солнце. На двадцать, на тридцать ярдов и еще дальше пронеслись вереницей загадочных иероглифов нимфы, дриады, взметнулись струи летних ключей. В закатном свете песок стал точно расплавленная медь, несущая послание всем и каждому, пусть бы читали и наслаждались годы и годы. Все кружило и замирало, подхваченное собственным вихрем, повинуясь своим особым законам тяготения. Вот пляшут на щедрых гроздьях дочери виноградаря, брызжет алый сок из-под ступней, вот из курящихся туманами вод рождаются чудища в кольчуге чешуи, а летучие паруса облаков испещрены узорчатыми воздушными змеями... а вот еще... и еще... и еще...

Художник остановился.

Джордж Смит отпрянул и застыл.

Художник поднял глаза, удивленный неожиданным соседством. Постоял, переводя глаза с Джорджа Смита на свое творение, что протянулось по песчаной полосе, словно следы праздного пешехода. И наконец с улыбкой пожал плечами, словно говоря: смотрите, что я наделал, видели такое ребячество? Ведь вы меня извините? Рано или поздно всем нам случается свалить дурака... может быть, и с вами бывало? Так простим старому сумасброду эту выходку, а? Вот и хорошо!

Но Джордж Смит только и мог смотреть на невысокого человека с высмугленной солнцем кожей и ясными зоркими глазами да единственный раз еле слышно прошептал его имя.

Так они стояли, пожалуй, еще секунд пять, Джордж Смит жадно разглядывал песчаный фриз, а художник

присматривался к нему с насмешливым любопытством. Джордж Смит открыл было рот — и закрыл, протянул руку — и отдернул. Шагнул к картине, отступил. Потом пошел вдоль вереницы изображений, как шел бы человек, рассматривая бесценные мраморные статуи, оставшиеся на берегу от каких-нибудь древних руин. Он смотрел не мигая, рука жаждала коснуться изображений, но не смела. Хотелось бежать, но он не побежал.

Вдруг он посмотрел в сторону гостиницы. Бежать, да! Бежать! А что дальше? Схватить лопату, вынуть, выкопать, спасти хоть толику ненадежной, сыпучей песчаной ленты? Найти мастера-формовщика, примчаться с ним сюда, пускай сделает гипсовый слепок хотя бы с малой хрупкой доли? Нет, нет. Глупо, глупо. Или?.. Взгляд его метнулся к окну гостиничного номера. Фотоаппарат! Бежать, схватить аппарат — и скорей с ним по берегу, щелкать затвором, перекручивать пленку, снимать и снимать, пока...

Джордж Смит круто обернулся, глянул на солнце. Теплые лучи коснулись его лица, зажгли два огонька в зрачках. Солнце уже наполовину погрузилось в воду — и на глазах у Джорджа Смита за считанные секунды затонуло совсем.

Художник подошел ближе и теперь смотрел в лицо Джорджу Смиту с бесконечно дружеской добротой, будто угадывал каждую его мысль. И вот слегка кивнул. И вот пальцы его небрежно выронили палочку от мороженого. И вот он уже говорит — до свиданья, до свиданья. И вот он шагает по берегу к югу... ушел.

Джордж Смит стоял и смотрел ему вслед. Так прошла долгая минута, а потом он сделал то, что только и мог. От самого начала он двинулася вдоль фантастического фриза, медленно шел он по берегу мимо фавнов и сатиров, и мимо дев, пляшущих на виноградных грозьях, и горделивых единорогов, и юношей, играющих на свирели. Долго шел он, не сводя глаз с этой вольно летящей вакханалии. Дошел до конца вереницы зверей и людей, повернул и пошел обратно, все так же опустив глаза, словно что-то потерял и не знает толком, где

искать. Так ходил он взад и вперед, пока не осталось света ни в небесах, ни на песке и уже ничего нельзя было разглядеть.

Он сел к столу ужинать.

— Как ты поздно, — сказала жена. — Я не могла дождаться, спустилась в ресторан одна. Я умираю с голоду.

— Ну ничего, — сказал он.

— Интересная была прогулка?

— Нет, — сказал он.

— Какой-то ты странный, Джордж. Ты что, заплыл слишком далеко и чуть не утонул? По лицу вижу! Ты заплыл слишком далеко, да?

— Да, — сказал он.

— Ну хорошо, — сказала жена, не сводя с него глаз. — Только никогда больше так не делай. А теперь... что будешь есть?

Он взял меню, стал просматривать и вдруг застыл.

— Что случилось? — спросила жена.

Он повернул голову, зажмурился.

— Слушай.

Жена прислушалась.

— Ничего не слышу, — сказала она.

— Не слышишь?

— Нет. А что такое?

— Прилив начался, — сказал он не сразу, он все еще сидел не шевелясь, не открывая глаз. — Просто начался прилив.

ДРАКОН

Ничто не шелохнется на бескрайней болотистой равнине, лишь дыхание ночи колышет невысокую траву. Уже долгие годы ни одна птица не пролетала под огромным слепым щитом небосвода. Когда-то, давным-давно, тут притворялись живыми мелкие камешки — они крошились и рассыпались в пыль. Теперь в душе двух людей, что сгорбились у костра, затерянные среди пустыни, шевелится одна только ночь; тьма тихо струится по жилам, мерно, неслышно стучит в висках.

Отсветы костра пляшут на бородатых лицах, дрожат оранжевыми всплесками в глубоких колодцах зрачков. Каждый прислушивается к ровному, спокойному дыханию другого и даже слышит, кажется, как медленно, точно у ящерицы, мигают веки. Наконец один начинает мечом ворошить уголья в костре.

— Перестань, глупец, ты нас выдашь!

— Что за важность, — отвечает тот, другой. — Дракон все равно учуяет нас издалека. Ну и холодице, Боже милостивый! Сидел бы я лучше у себя в замке.

— Мы ищем не сна, но смерти...

— А чего ради? Ну чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город!

— Тише ты, дурень! Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку между нашим городом и соседним.

— Ну и пусть пожирает, а мы вернемся домой!

— Тс-с... слышишь?

Оба замерли.

Они ждали долго, но в ночи лишь пугливо подрагивали спины коней, точно бархатный черный бубен, да едва-едва позванивали серебряные стремена.

— Страшные наши места, — вздохнул второй. — Тут добра не жди. Кто-то задувает солнце — и сразу ночь. И уж тогда, тогда... Господи, ты только послушай! Говорят, у этого дракона из глаз — огонь. Дышит он белым паром, издалека видно, как он мчится по темным полям. Несется в серном пламени и громе и поджигает траву. Овцы в страхе кидаются врассыпную и, обезумев, изыхают. Женщины рождают чудовищ. От ярости дракона сотрясаются стены, башни рушатся и обращаются в прах. На рассвете холмы усеяны телами жертв. Скажи, сколько рыцарей уже выступило против этого чудища и погибло, как погибнем и мы?

— Хватит, надоело!

— Как не надоест! Среди этого запустения я даже не знаю, какой год на дворе!

— Девятисотый от рождества Христова.

— Нет, нет, — зашептал другой и зажмурился. — Здесь, на равнине, нет Времени — только Вечность. Я чувствую, вот выбежать назад, на дорогу, а там все не так, города как не бывало, жители еще и не родились, камень для крепостных стен еще не добыт из каменоломен, бревна не спилены в лесах. Не спрашивай, откуда я это знаю, сама равнина знает и подсказывает мне. А мы сидим тут одни в стране огненного дракона. Боже, спаси нас и помилуй!

— Затаи страх в душе, но не забудь меч и латы!

— Что толку? Дракон приносится неведомо откуда, мы не знаем, где его жилище. Он исчезает в тумане, мы не знаем, куда он скрывается. Что ж, наденем доспехи и встретим смерть во всеоружии.

Не успев застегнуть серебряные латы, второй вновь застыл и обернулся.

По сумрачному краю, где царили тьма и пустота, из самого сердца равнины сорвался ветер и принес пыль, что струится в часах, прахом отмеряющих бег времени. В глубине этого невиданного вихря пылали черные

солнца и неслись мириады сожженных листьев, сорванных неведомо с каких осенних деревьев где-то за оконцем. Под этим жарким вихрем таяли луга и холмы, кости истончались, словно белый воск, кровь мутилась и густела и медленно оседала в мозгу. Вихрь налетал, и это летели тысячи погибающих в смятенном времени душ. Это был сумрак, объятый туманом, объятый тьмою, и тут не место было человеку, и не было ни дня, ни часа — время исчезло, остались только эти двое в безликой пустоте, во внезапной леденящей буре, в белом громе, что надвигался за прозрачным зеленым щитом ниспадающих молний. По траве хлестнул ливень; и снова все стихло, и в холодной тьме, в бездыханной тиши только и осталось живого тепла, что эти двое.

— Вот, — прошептал первый. — Вот оно!..

Вдалеке, за много миль, оглушительно загремело, взревело — мчался дракон.

В молчании оба опоясались мечами и сели на коней. Первозданную полуночную тишину разорвало грозное шипение, дракон стремительно надвигался — ближе, ближе; над гребнем холма сверкнули свирепые огненные очи, возникло что-то темное, неясное, сползло, извиваясь, в долину и скрылось.

— Скорей!

Они пришпорили коней и поскакали к ближней лощине.

— Он пройдет здесь!

Поспешно закрыли коням глаза шорами, руками в железных перчатках подняли копья.

— Боже правый!

— Да, будем уповать на Господа.

Миг — и дракон обогнул косогор. Огненно-рыжий глаз чудища впился в них, на доспехах вспыхнули алые искры и отблески. С ужасающим надрывным воплем и скрежетом дракон рванулся вперед.

— Помилуй нас, Боже!

Копье ударило под желтый глаз без век, согнулось — и всадник вылетел из седла. Дракон сшиб его с ног, повалил, подмял. Мимоходом задел черным жарким плечом второго коня и отшвырнул вместе с седоком

прочь, за добрых сто футов, и они разбились об огромный валун, а дракон с надрывным пронзительным воем и свистом промчался дальше, весь окутанный рыжим, алым, багровым пламенем, в огромных мягких перьях слепящего едкого дыма.

— Видал? — воскликнул кто-то. — Все в точности, как я тебе говорил!

— То же самое, точь-в-точь! Рыцарь в латах, вот лопни мои глаза! Мы его сшибли!

— Ты остановишься?

— Уж пробовал раз. Ничего не нашел. Неохота останавливаться на этой пустоши. Жуть берет. Что-то тут нечисто.

— Но ведь кого-то мы сбили!

— Я свистел вовсю, малый мог посторониться, а он и не двинулся!

Вихрем разорвало пелену тумана.

— В Стокли прибудем вовремя. Подбрось-ка угля, Фред.

Новый свисток стряхнул капли росы с пустого неба. Дыша огнем и яростью, ночной скорый пронесся по глубокой лощине, с разгона взял подъем и скрылся, исчез безвозвратно в холодной дали на севере, остались лишь черный дым и пар — и еще долго таяли в оцепенелом воздухе.

ЛЕКАРСТВО ОТ МЕЛАНХОЛИИ

— **П**ошлите за пиявками; ей нужно сделать кровопускание, — заявил доктор Джимп.

— У нее уже и так не осталось крови! — воскликнула миссис Уилкес. — О, доктор, что томит нашу Камиллу?

— С ней не все в порядке.

— Да?

— Она нездорова. — Добрый доктор нахмурился.

— Продолжайте, продолжайте!

— Не вызывает сомнения: она угасает как свеча.

— О, доктор Джимп, — запротестовал мистер Уилкес. — Вы же повторяете то, что вам говорили мы, когда вы только пришли в наш дом!

— Нет, вы не правы! Давайте ей эти пилюли на рассвете, в полдень и на закате солнца. Превосходное средство!

— Проклятье, она уже нафарширована превосходными средствами!

— Ну-ну! С вас шиллинг, сэр, я спускаюсь вниз.

— Идите и пришлите сюда дьявола! — Мистер Уилкес сунул монету в руку доброго доктора.

Пока врач спускался по лестнице, с громким сопением нюхая табак и чихая, на многолюдных улицах Лондона наступило сырое утро весны 1762 года.

Мистер и миссис Уилкес повернулись к постели, где лежала их любимая Камилла, бледная и похудевшая,

но все еще очень хорошенькая, с большими влажными сиреневыми глазами. По подушке золотым потоком струились волосы.

— О, — она чуть не плакала, — что со мной стало? С начала весны прошло три недели, в зеркале я вижу лишь призрак; я сама себя пугаю. Мне страшно подумать, что я умру, не дожив до своего двадцатого дня рождения.

— Дитя мое, — сказала мать, — что у тебя болит?

— Мои руки. Мои ноги. Моя грудь. Моя голова. Сколько докторов — шесть? — поворачивали меня, словно мясо на вертеле. Не хочу больше. Дайте мне спокойно отойти в мир иной.

— Какая ужасная, какая таинственная болезнь, — пролепетала мать. — Сделай что-нибудь, мистер Уилкес!

— Что? — сердито спросил мистер Уилкес. — Она не хочет видеть врачей, аптекарей или священников — амины! — а они очень скоро разорят меня! Может, мне следует сбегать на улицу и привести мусорщика?

— Да, — послышался голос.

— Что?! — Все трое повернулись посмотреть на того, кто произнес эти слова.

Они совсем забыли о младшем брате Камиллы, Джейми, который стоял у дальнего окна и ковырял в зубах. Он невозмутимо смотрел вдаль, туда, где шумел Лондон и шел дождь.

— Четыреста лет назад, — совершенно спокойно проговорил Джейми, — именно так и поступили. И это помогло. Нет, не надо приводить мусорщика сюда. Давайте поднимем Камиллу, вместе с кроватью и всем остальным, снесем ее вниз по лестнице и поставим возле входной двери.

— Почему? Зачем?

— За один час, — Джейми вскинул глаза — он явно считал, — мимо наших ворот проходит тысяча людей. За день двадцать тысяч пробегают, проезжают или ковыляют по нашей улице. Каждый из них увидит мою несчастную сестру, пересчитает ее зубы, потрогает мочки ушей, и все, можете не сомневаться, все до единого,

захотят предложить свое самое превосходное средство, которое наверняка ее излечит! Одно из них обязательно окажется тем, что нам нужно!

— О! — только и смог произнести пораженный мистер Уилкес.

— Отец, — взволнованно продолжал Джейми. — Нежели ты встречал хотя бы одного человека, который не полагал бы, что он способен написать «*Materia Medica*»*: вот эта зеленая мазь отлично лечит больное горло, а бычий бальзам — опухоли? Прямо сейчас десять тысяч самозваных аптекарей проходит мимо нашего дома, и их мудрость пропадает зря!

— Джейми, мальчик, ты меня удивляешь!

— Прекратите! — вмешалась миссис Уилкес. — Моя дочь никогда не будет выставлена на всеобщее обозрение на этой или любой другой улице...

— Тьфу, женщина! — оборвал мистер Уилкес. — Камилла тает, как льдинка, а ты не хочешь вынести ее из этой жаркой комнаты? Давай, Джейми, поднимай кровать!

— Камилла? — Миссис Уилкес повернулась к дочери.

— Я могу с тем же успехом умереть под открытым небом, — заявила Камилла, — где свежий ветерок будет перебирать мои локоны, пока я...

— Вздор! — возразил мистер Уилкес. — Ты не умрешь, Камилла. Джейми, поднимай! Ха! Сюда! С дороги, жена! Давай, мой мальчик, выше!

— О! — воскликнула Камилла слабым голосом. — Я лечу, лечу...

Совершенно неожиданно над Лондоном вдруг засияло чистое голубое небо. Горожане, удивленные такой переменой погоды, высыпали на улицы, им не терпелось что-нибудь увидеть, сделать, купить. Слепые пели, собаки прыгали, клоуны вертелись и кувыркались, дети играли в классики и мяч, словно наступило время карнавала.

* Целительные средства, как источник лекарств (*лат.*).

И в этот шум и гам с покрасневшими от напряжения лицами Джейми и мистер Уилкес несли Камиллу, которая, будто папа римский, только женского пола, с закрытыми глазами возлежала на своей койке-портшезе и молилась.

— Осторожней! — кричала миссис Уилкес. — О, она умерла!.. О нет... Опустите ее на землю. Полегче!

Наконец кровать была поставлена рядом со стеной дома так, чтобы людской поток, стремительно несущийся мимо, мог обратить внимание на Камиллу — большую бледную куклу, выставленную, словно приз, на солнце.

— Принеси перо, чернила и бумагу, сын, — сказал мистер Уилкес. — Я запишу симптомы, о которых станут говорить прохожие, и предложенные ими способы лечения. Вечером мы все отсортируем. А сейчас...

Однако какой-то человек из толпы уже внимательно разглядывал Камиллу.

— Она больна! — заявил он.

— Ага, — радостно кивнул мистер Уилкес. — Началось. Перо, мой мальчик. Вот так. Продолжайте, сэр!

— С ней не все в порядке. — Человек нахмурился. — Она плохо выглядит.

«Плохо выглядит...» — записал мистер Уилкес, а потом с подозрением посмотрел на говорившего.

— Сэр? Вы, случайно, не врач?

— Да, сэр.

— Так я и думал, я узнал эти слова! Джейми, возьми мою трость и гони его в шею. Уходите, сэр, и побыстрее!

Однако человек не стал ждать и, ругаясь и раздраженно размахивая руками, торопливо зашагал прочь.

— Она больна, она плохо выглядит... Фу! — перебрал его мистер Уилкес, но был вынужден остановиться. Потому что высокая и худая, словно призрак, только что восставший из могилы, женщина показывала пальцем на Камиллу Уилкес.

— Меланхолия, — произнесла она нараспев.

«Меланхолия» — запечатлел на бумаге ее слова довольноый мистер Уилкес.

— Отек легких, — бубнила женщина.

«Отек легких» — писал сияющий мистер Уилкес.

— Вот это совсем другое дело! — пробормотал он себе под нос.

— Необходимо лекарство от меланхолии, — негромко продолжала говорить женщина. — Есть ли у вас в доме порошок мумий для приготовления лекарств? Самые лучшие мумии — египетские, арабские и ливийские; они очень помогают при магнитных расстройствах. Спросите цыганку на Флодден-роуд. Я продаю каменную петрушку, благовония для мужчин...

— Флодден-роуд, каменная петрушка... Не так быстро, женщина!

— Опобальзам, понтийская валериана...

— Подожди, женщина! Опобальзам, да! Джейми, останови ее!

Но женщина продолжала, не обращая на него внимания.

Подошла молоденькая девушка, лет семнадцати, и посмотрела на Камиллу Уилкес.

— Она...

— Один момент! — Мистер Уилкес продолжал лихорадочно писать. — ...Магнитные расстройства, понтийская валериана... А, пропади ты пропадом! Юная леди, что вы видите на лице моей дочери? Вы так пристально на нее смотрите, даже перестали дышать. Ну, каково ваше мнение?

— Она... — Казалось, странная девушка пытается заглянуть Камилле в глаза, потом она смущилась и, заикаясь, проговорила: — Она страдает от... от...

— Ну, говори же!

— Она... она... о!

И девушка, бросив последний сочувственный взгляд на Камиллу, стремительно скрылась в толпе.

— Глупая девчонка!

— Нет, папа, — пробормотала Камилла, глаза которой вдруг широко раскрылись. — Совсем не глупая.

Она увидела. Она знает. О, Джейми, догони ее, заставь сказать!

— Нет, она ничего не предложила! А вот цыганка — ты только посмотри на список!

— Да, папа. — Еще больше побледневшая Камилла закрыла глаза.

Кто-то громко откашлялся.

Мясник, фартук которого покраснел от кровавых боев, теребил роскошные усы.

— Я видел коров с похожим выражением глаз, — сказал он. — Мне удавалось спасти их при помощи бренди и трех свежих яиц. Зимой я и сам с огромной пользой для здоровья принимаю этот эликсир...

— Моя дочь не корова, сэр! — Мистер Уилкес отбросил в сторону перо. — И не мясник в январе! Отойдите в сторону, сэр, своей очереди ждут другие!

И действительно, вокруг собралась здоровенная толпа — всем не терпелось рассказать о своем любимом средстве, порекомендовать страну, где редко идет дождь и солнце светит чаще, чем в Англии или в вашей южной Франции. Старики и женщины, в особенности врачи, как и все пожилые люди, спорили друг с другом, ощетинившись тросточками и фалангами костей.

— Отойдите! — с тревогой воскликнула миссис Уилкес. — Они раздавят мою дочь, как весеннюю ягодку!

— Прекратите напирать! — закричал Джейми, схватил несколько тросточек и костей и отбросил их в сторону.

Толпа зашевелилась, владельцы бросились на поиски своих дополнительных конечностей.

— Отец, я слабею, слабею... — Камилла задыхалась.

— Отец! — воскликнул Джейми. — Есть только один способ остановить это нашествие! Нужно брать с них деньги! Заставить платить за право дать совет!

— Джейми, ты мой сын! Быстро напиши объявление! Послушайте, люди! Два пенса! Становитесь, пожалуйста, в очередь! Два пенса за то, чтобы рассказать

об известном только вам, самом великолепном лекарстве на свете! Готовьте деньги заранее! Вот так. Вы, сэр. Вы, мадам. И вы, сэр. А теперь, мое перо! Начинаем!

Толпа кипела, как темная морская пучина.

Камилла открыла глаза, а потом снова впала в обморочное состояние.

Наступило время заката, улицы почти опустели, лишь изредка мимо проходили последние гуляющие. Веки Камиллы затрепетали, она услышала знакомый звон.

— Триста девяносто пять фунтов и четыреста пенсов! — Мистер Уилкес бросал последние монеты в сумку, которую держал его ухмыляющийся сын. — Вот так!

— Теперь вы сможете нанять для меня красивый черный катафалк, — сказала бледная девушка.

— Помолчи! Семья моя, вы могли себе представить, что двести человек захотят заплатить только за то, чтобы высказать нам свое мнение по поводу состояния Камиллы?

— Очень даже могли, — кивнула миссис Уилкес. — Жены, мужья и дети не умеют слушать друг друга. Поэтому люди охотно платят за то, чтобы на них хоть кто-нибудь обратил внимание. Бедняги, они думают, что только им дано распознать ангину, водянку, сап и крапивницу. Поэтому сегодня мы богаты, а две сотни людей счастливы, поскольку вывалили перед нами содержимое своих медицинских сумок.

— Господи, нам пришлось выставлять их вон, а они огрызались, как нашкодившие щенки.

— Прочитай список, отец, — предложил Джейми. — Там двести лекарств. Какое следует выбрать?

— Не надо, — прошептала Камилла, вздыхая. — Становится темно. У меня в животе все сжимается от бесконечных названий! Вы можете отнести меня на верх?

— Да, дорогая. Джейми, поднимай!

— Пожалуйста, — произнес чей-то голос.
Склонившийся человек поднял взгляд.

Перед ними стоял ничем не примечательный мусорщик, с лицом, покрытым сажей, однако на нем сияли яркие голубые глаза и белозубая улыбка. Когда он говорил — совсем тихо, кивая головой, — с рукавов его темной куртки и штанов сыпалась пыль.

— Мне не удалось пробиться сквозь толпу, — сказал он, держа грязную шапку в руках. — А теперь я возвращаюсь домой и могу с вами поговорить. Я должен заплатить?

— Нет, мусорщик, тебе не нужно платить, — мягко сказала Камилла.

— Подожди... — запротестовал мистер Уилкес.

Но Камилла нежно посмотрела на него, и он замолчал.

— Благодарю вас, мадам. — Улыбка мусорщика сверкнула в сгущающихся сумерках как теплый солнечный луч. — У меня есть всего один совет.

Он взглянул на Камиллу. Камилла не спускала с него глаз.

— Кажется, сегодня канун дня святого Боско, мадам?

— Кто знает? Только не я, сэр! — заявил мистер Уилкес.

— А я в этом уверен, сэр. Кроме того, сегодня полночь. Поэтому, — кротко проговорил мусорщик, не в силах оторвать взгляда от прелестной, большой девушки, — вы должны оставить вашу дочь под открытым небом, в свете восходящей луны.

— Одну, в свете луны! — воскликовала миссис Уилкес.

— А она не станет лунатиком? — спросил Джейми.

— Прошу прощения, сэр. — Мусорщик поклонился. — Полная луна утешает всех, кто болен, — людей и диких животных. В сиянии полной луны есть безмятежность, в прикосновении ее лучей — спокойствие, умиротворяющее воздействие на ум и тело.

— Может пойти дождь... — с беспокойством сказала мать Камиллы.

— Я клянусь, — перебил ее мусорщик. — Моя сестра страдала от такой же обморочной бледности. Мы оставили ее весенней ночью, как лилию в вазе, наедине с полной луной. Она и по сей день живет в Суссексе, позабыв обо всех болезнях!

— Позабыв о болезнях! Лунный свет! И не будет нам стоить ни одного пенни из тех четырех сотен, что мы заработали сегодня! Мать, Джейми, Камилла...

— Нет! — твердо сказала миссис Уилкес. — Я этого не потерплю!

— Мама! — сказала Камилла. — Я чувствую, что луна вылечит меня, вылечит, вылечит...

Мать вздохнула:

— Сегодня, наверное, не мой день и не моя ночь. Разреши тогда поцеловать тебя в последний раз. Вот так.

И мать поднялась по лестнице в дом.

Теперь пришел черед мусорщика, который начал пятиться назад, кланяясь всем на прощание.

— Всю ночь, помните: под луной, до самого рассвета. Спите крепко, юная леди. Пусть вам приснятся самые лучшие сны. Спокойной ночи.

Сажу поглотила сажа; человек исчез.

Мистер Уилкес и Джейми поцеловали Камиллу в лоб.

— Отец, Джейми, — сказала она, — не беспокойтесь.

И ее оставили одну смотреть туда, где, как показалось Камилле, она еще видела висящую в темноте мерцающую улыбку, которая вскоре скрылась за углом.

Она ждала, когда же на небе появится луна.

Ночь опустилась на Лондон. Все глуше голоса в гостиницах, реже хлопают двери, слышатся слова пьяных прощаний, бьют часы. Камилла увидела кошку, которая прошла мимо, словно женщина в мехах, и женщину, похожую на кошку, — обе мудрые, несущие в себе древний Египет, обе источали пряные ароматы ночи.

Каждые четверть часа сверху доносился голос:

— Все в порядке, дитя мое?

— Да, отец.

— Камилла?

— Мама, Джейми, у меня все хорошо.

И наконец:

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Погасли последние огни. Лондон погрузился в сон.

Взошла луна.

И чем выше поднималась луна, тем шире открывались глаза Камиллы, когда смотрела она на аллеи, дворы и улицы, пока наконец в полночь луна не оказалась над ней и засияла, словно мраморная фигура над древней усыпальницей.

Движение в темноте.

Камилла насторожилась.

Слабая, едва слышная мелодия поплыла в воздухе.

В тени двора стоял человек.

Камилла тихонько вскрикнула.

Человек сделал шаг вперед и оказался в лучах лунного света. В руках он держал лютню, струны которой перебирал, едва касаясь пальцами. Это был хорошо одетый мужчина, на его красивом лице застыло серьезное выражение.

— Трубадур, — прошептала Камилла.

Человек, не говоря ни слова, приложил палец к губам и медленно приблизился к ее кровати.

— Что вы здесь делаете, ведь сейчас так поздно? — спросила девушка.

Она совсем не боялась — сама не зная почему.

— Меня послал друг, чтобы я вас вылечил.

Трубадур коснулся струн лютни. И они сладкозвучно запели.

— Этого не может быть, — возразила Камилла, — потому что было сказано: меня вылечит луна.

— Так оно и будет, дева.

— А какие песни вы поете?

— Песни весенних ночей, боли и недугов, не имеющих имени. Назвать ли мне вашу лихорадку, дева?

— Если вы знаете, да.

— Во-первых, симптомы: перемены температуры, неожиданный холод, сердце бьется то совсем медленно, то слишком быстро, приступы ярости сменяются умиротворением, опьянение от глотка колодезной воды, головокружение от простого касания руки — вот такого...

Он чуть дотронулся до ее запястья, заметил, что она готова лишиться чувств, и отпрянул.

— Депрессия сменяется восторгом, — продолжал трубадур. — Сны...

— Остановитесь! — в изумлении воскликнула Камилла. — Вы знаете про меня все. А теперь назовите имя моего недуга!

— Я назову. — Он прижал губы к ее ладони, и Камилла затрепетала. — Имя вашего недуга — Камилла Уилкес.

— Как странно. — Девушка дрожала, ее глаза горели сиреневым огнем. — Значит, я — моя собственная болезнь? Как сильно я заставила себя заболеть! Даже сейчас мое сердце это чувствует.

— Я тоже.

— Мои руки и ноги, от них пышет летним жаром!

— Да. Они обжигают мне пальцы.

— Но вот подул ночной ветер — посмотрите, как я дрожу, мне холодно! Я умираю, клянусь вам, я умираю!

— Я не дам тебе умереть, — спокойно сказал трубадур.

— Значит, вы доктор?

— Нет, я самый обычный целитель, как и тот, другой, что сумел сегодня вечером разгадать причину твоих бед. Как девушка, что знала имя болезни, но скрылась в толпе.

— Да, я поняла по ее глазам: она догадалась, что со мной стряслось. Однако сейчас мои зубы выбивают дробь. А у меня даже нет второго одеяла!

— Тогда подвинься, пожалуйста. Вот так. Дай-ка я посмотрю: две руки, две ноги, голова и тело. Я весь тут!

— Что такое, сэр?

— Я хочу согреть тебя в холодной ночи.

— Как печка. О, сэр, сэр, я вас знаю? Как вас зовут?

Тень от его головы упала на голову Камиллы. Она снова увидела чистые, как озерная вода, глаза и ослепительную, белозубую улыбку.

— Меня зовут Боско, конечно же, — сказал он.

— А есть ли святой с таким именем?

— Дай мне час, и ты станешь называть меня этим именем.

Его голова склонилась ниже. Полумрак сыграл роль сажи, и девушка радостно вскрикнула: она узнала своего мусорщика!

— Мир вокруг меня закружился! Я сейчас потеряю сознание! Лекарство, мой милый доктор, или все прошло!

— Лекарство, — сказал он. — А лекарство таково...

Где-то запели кошки. Туфля, выброшенная из оконшка, заставила их спрыгнуть с забора. Потом улица снова погрузилась в тишину, и луна вступила в свои владения...

— Шшш...

Рассвет. На цыпочках спустившись вниз, мистер и миссис Уилkes заглянули в свой дворик.

— Она замерзла до смерти этой ужасной, холодной ночью, я знаю!

— Нет, жена, посмотри! Она жива! На ее щеках розы! Нет, больше того — персики, хурма! Она вся светится молочно-розовой белизной! Милая Камилла, живая и здоровая, ночь сделала тебя прежней!

Родители склонились над крепко спящей девушкой.

— Она улыбается, ей снятся сны; что она говорит?

— Превосходное, — выдохнула Камилла, — средство.

— Что, что?

Не просыпаясь, девушка улыбнулась снова, ее улыбка была счастливой.

— Лекарство, — пробормотала она, — от меланхолии.

Камилла открыла глаза.

— О, мама, отец!

— Дочка! Дитя! Пойдем наверх!

— Нет. — Она нежно взяла их за руки. — Мама? Папа?

— Да?

— Никто не увидит. Солнце еще только встает над землей. Пожалуйста. Потанцуйте со мной.

Они не хотели танцевать. Но, празднуя совсем не то, что они думали, мистер и миссис Уилкес пустились в пляс.

КОНЕЦ НАЧАЛЬНОЙ ПОРЫ

Он почувствовал: вот сейчас, в эту самую минуту, солнце зашло и проглянули звезды — и остановил косилку посреди газона. Свежескошенная трава, обрызгавшая его лицо и одежду, медленно подсыхала. Да, вот уже и звезды — сперва чуть заметные, они все ярче разгораются в ясном пустынном небе. Он услышал, как затворилась дверь — на веранду вышла жена, и, глядя в вечернее небо, он почувствовал на себе ее внимательный взгляд.

— Уже скоро, — сказала она.

Он кивнул: ему незачем было смотреть на часы. Ощущения его поминутно менялись, он казался сам себе то глубоким стариком, то мальчишкой, его бросало то в жар, то в холод. Вдруг он перенесся за много миль от дома. Это уже не он, это его сын надевает летнюю форму, проверяет запасы еды, баллоны с кислородом, шлем, скафандр, прикрывая размеренными словами и быстрыми движениями громкий стук сердца, вновь и вновь охватывающий страх — и, как все и каждый в этот вечер, запрокидывает голову и смотрит в небо, где становится все больше звезд.

И вдруг он очутился на прежнем месте, он снова — только отец своего сына, и снова ладони его сжимают рычаг косилки.

— Иди сюда, посидим на веранде, — позвала жена.

— Лучше я буду заниматься делом!

Она спустилась с крыльца и подошла к нему.

— Не тревожься за Роберта, все будет хорошо.

— Уж очень это ново и непривычно, — услышал он собственный голос. — Никогда такого не бывало. Подумать только — люди летят в ракете строить первую внеземную станцию. Господи Боже, да это просто невозможно, ничего этого нет — ни ракеты, ни испытательной площадки, ни срока отлета, ни строителей. Может, и сына, по имени Боб, у меня никогда не было. Не умещается все это у меня в голове!

— Тогда чего ты тут стоишь и смотришь?

Он покачал головой:

— Знаешь, сегодня утром иду я на работу и вдруг слышу — кто-то хохочет. Я так и стал посреди улицы как вкопанный. Оказывается, это я сам хохотал! А почему? Потому что наконец понял — Боб и вправду нынче летит! Наконец я в это поверил. Никогда я зря не ругаюсь, а тут стал столбом у всех на дороге и думаю — чудеса, разрази меня гром! А потом сам не заметил, как запел. Знаешь эту песню: «Колесо в колесе высоко в небесах...»? И опять захохотал. Надо же, думаю, внеземная станция! Этакое громадное колесо, спицы полые, а внутри будет жить Боб, а потом, через полгода или месяцев через восемь, полетит к Луне. После, по дороге домой, я припомнил, как там дальше поется: «Колесом поменьше движет вера, колесом побольше — милость Божья». И мне захотелось прыгать, кричать, самому вспыхнуть ракетой!

Жена тронула его за рукав:

— Если уж не хочешь на веранду, давай устроимся поудобнее.

Они вытащили на середину лужайки две плетеные качалки и тихо сидели и смотрели, как в темноте появляются все новые и новые звезды, точно блестящие крупинки соли, рассыпанные по всему небу, от горизонта до горизонта.

— Мы будто в праздник фейерверка ждем, — после долгого молчания сказала жена.

— Только нынче народу больше...

— Я вот думаю: в эту самую минуту миллионы людей смотрят на небо, разинув рот.

Они ждали и, казалось, всем телом ощущали вращение Земли.

— Который час?

— Без одиннадцати минут восемь.

— И никогда ты не ошибешься! Видно, у тебя в голове устроены часы.

— Нынче я не могу ошибиться. Я тебе точно скажу, когда им останется одна секунда до взлета. Смотри, сигнал! Осталось десять минут.

На западном небосклоне распустились четыре алых огненных цветка; подхваченные ветром, они поплыли, мерзая, над пустыней, беззвучно канули вниз и угасли.

Стало темнее прежнего, муж и жена выпрямились в качалках и застыли. Немного погодя он сказал:

— Восемь минут.

Молчание.

— Семь минут.

Молчание — на этот раз оно словно тянется много дольше.

— Шесть...

Жена откинулась в качалке, пристально смотрит на звезды — на те, что прямо над головой.

— Зачем это все? — бормочет она и закрывает глаза. — Зачем ракеты и этот вечер? Зачем? Если бы знать...

Он смотрит ей в лицо, бледное, словно припудренное отсветом Млечного Пути. Он уже хотел ответить, но передумал — пусть она договорит. И жена продолжает:

— Может быть, это как в старину, когда люди спрашивали: зачем подниматься на Эверест? А им отвечали: затем, что он существует. Никогда я этого не понимала. По-моему, это не ответ.

Пять минут, подумал он. Время идет... тикают часы на руке... колесо в колесе... колесом поменьше движет... колесом побольше движет... высоко в небесах... четыре минуты! Люди уже устроились поудобнее в ракете, все на местах, светится приборная доска...

Губы его дрогнули.

— Я знаю одно: это конец начальной поры. Каменный век, Бронзовый век, Железный век — теперь мы всему этому найдем одно общее имя: век, когда мы ходили по Земле и утром спозаранку слушали птиц и чуть не плакали от зависти. Может быть, мы назовем это время — Земной век, или Век земного притяжения. Миллионы лет мы старались побороть земное притяжение. Когда мы были амебами и рыбами, мы силились выйти из вод океана, да так, чтобы нас не раздавила собственная тяжесть. Очутившись на берегу, мы всячески старались распрямиться — и чтобы сила тяжести не переломила наше новое изобретение — позвоночник. Мы учились ходить, не спотыкаясь, и бегать, не падая. Миллионы лет притяжение удерживало нас дома, а ветер и облака, кузнецики и мотыльки насмехались над нами. Вот что сегодня главное: пришел конец нашему стариинному спутнику — притяжению, век притяжения миновал безвозвратно. Не знаю, что там будут считать началом новой эпохи — может, персов, они мечтали о ковре-самолете, а может, китайцев — они, когда праздновали день рождения или Новый год, запускали в небо фейерверки и воздушных змеев; а может быть, счет начнется через час, неведомо в какую минуту или секунду. Но сейчас кончается эра долгих и тяжких усилий, миллионы лет — они нелегко дались нам, людям, и как-никак делают нам честь.

Три минуты... две минуты пятьдесят девять секунд... две минуты пятьдесят восемь секунд...

— И все равно, — сказала жена, — я не знаю, зачем все это.

Две минуты, подумал он. «Готовы? Готовы? Готовы?» — окликает по радио далекий голос. «Готовы! Готовы! Готовы!» — чуть слышно доносится быстрый ответ из гудящей ракеты. «Проверка! Проверка! Проверка!»

Сегодня! — думал он. Если не выйдет с этим первым кораблем, мы пошлем другой, третий. Мы доберемся до всех планет, а там и до звезд. Мы не остановимся, и

наконец громкие слова — бессмертие, вечность — обретут смысл. Громкие слова — да, но нам того и надо. Непрерывности. С тех пор как мы научились говорить, мы спрашивали об одном: в чем смысл жизни? Все другие вопросы нелепы, когда смерть стоит за плечами. Но дайте нам обжить десять тысяч миров, что обращаются вокруг десяти тысяч незнакомых солнц, и уже незачем будет спрашивать. Человеку не будет пределов, как нет пределов вселенной. Человек будет вечен, как вселенная. Отдельные люди будут умирать, как умирали всегда, но история наша протянется в невообразимую даль будущего, мы будем знать, что выживем во все грядущие времена и станем спокойными и уверенными, а это и есть ответ на тот извечный вопрос. Нам дарована жизнь, и уж по меньшей мере мы должны хранить этот дар и передавать потомкам — до бесконечности. Ради этого стоит потрудиться!

Чуть поскрипывали плетеные качалки, с шорохом задевая траву.

Одна минута.

— Одна минута, — сказал он вслух.

— Ох! — Жена порывисто схватила его за руку. —

Только бы наш Боб...

— Все будет хорошо!

— Господи, помоги им...

Тридцать секунд.

— Теперь смотри.

Пятнадцать, десять, пять...

— Смотри!

Четыре, три, две, одна.

— Вот она! Вот!

Оба вскрикнули. Вскочили. Опрокинутые качалки свалились наземь. Шатаясь, не видя, муж и жена, как слепые, пошарили в воздухе, схватились за руки, стиснули пальцы. В небе разгоралось зарево, еще десять секунд — и взмыла огромная яркая комета, затмила собою звезды, прочертilla огненный след и затерялась среди головокружительных россыпей Млечного Пути. Муж и жена ухватились друг за друга, словно под ногами у них разверзлась непостижимая, непроглядно черная

бездонная пропасть. Они смотрели вверх, и плакали, и слышали только собственные рыдания. Прошло немало времени, пока они, наконец, сумели заговорить.

— Она улетела, улетела, правда?

— Да...

— И все благополучно, правда?

— Да... да...

— Она ведь не упала?

— Нет, нет, она цела и невредима. Боб цел и невредим, все благополучно.

Они наконец разняли руки.

Он провел ладонью по лицу, посмотрел на свои мокрые пальцы.

— Черт меня побери, — сказал он. — Черт меня побери.

Они смотрели еще пять минут, потом еще десять, пока темную глубину зрачков и мозга не стали больно жечь миллионы крупинок огненной соли. Пришлось закрыть глаза.

— Что ж, — сказала она, — пойдем в дом.

Он не двинулся с места. Только рука сама собой протянулась и нащупала рычаг косилки. И, заметив, что держит рычаг, он сказал:

— Осталось еще немножко скосить...

— Так ведь ничего не видно.

— Увижу, — сказал он. — Надо же мне кончить. А после, перед сном, посидим немного на веранде.

Он помог жене оттащить на веранду качалки, усадил ее, вернулся на лужайку и снова взялся за косилку. Косилка. Колесо в колесе. Нехитрая машина, берешься обеими руками за рычаг и ведешь ее вперед, колеса вертятся, стрекочут, а ты шагаешь сзади и спокойно раздумываешь о своем. Шум, треск, а над всем этим — покой и тишина. Круженье колеса — и неслышная поступь раздумья.

Мне миллионы лет от роду, сказал он себе. Я родился минуту назад. Я ростом в дюйм, нет, в десять тысяч миль. Я опускаю глаза и не могу разглядеть своих ног, они слишком далеко внизу.

Он вел косилку по газону. Срезанная трава брызгала из-под ножей и мягко падала вокруг; он вдыхал ее свежесть, упивался ею и чувствовал — не его одного, но все человечество наконец-то омывает животворный родник вечной молодости.

И, омытый этими живительными водами, он снова вспомнил песенку про колеса, про веру и про милость Божью там, высоко в небе, среди миллионов неподвижных звезд, куда вторглась одна-единственная, дерзкая, и летит, и ее уже не остановить.

Потом он скосил оставшуюся траву.

ЧУДЕСНЫЙ КОСТЮМ ЦВЕТА СЛИВОЧНОГО МОРОЖЕНОГО

На город опускались летние сумерки. Из дверей бильярдной, где мягко постукивали шары, вышли трое молодых мексиканцев подышать теплым вечерним воздухом, а заодно поглядеть на мир. Они то лениво переговаривались, то молча смотрели, как по горячему асфальту, словно черные пантеры, скользят лимузины или, разбрасывая громы и молнии, как грозовая туча, проносятся трамваи, затихая вдали.

— Эх, — вздохнул Мартинес, самый молодой и самый печальный из троих. — Чудесный вечер, а, ребята? Чудесный...

Ему казалось, что в этот вечер мир то приближается к нему, то снова отдаляется. Снующие мимо прохожие вдруг оказывались словно на противоположном тротуаре, а дома, стоящие на расстоянии пяти миль, вдруг низко склонялись над ним. Но чаще люди, машины, дома были где-то по ту сторону невидимого барьера и были недосягаемы. В этот жаркий летний вечер лицо юного Мартинеса застыло, словно скованное морозом.

— В такие вечера хорошо мечтать... мечтать о многом...

— Мечтать! — воскликнул тот, которого звали Вильянасул. У себя в комнатушке он вслух громко читал книги, но на улице всегда говорил почти шепот-

том. — Мечтать — это бесполезное занятие для безработных.

— Безработных? — воскликнул небритый Ваменос. — Вы только послушайте! А кто же мы, по-твоему? У нас ведь тоже нет ни работы, ни денег.

— А значит, — заключил Мартинес, — нет и друзей.

— Это верно. — Взгляд Вильянасула был устремлен в сторону площади, где тихий летний ветерок шевелил кроны пальм. — Знаете, чего бы мне хотелось? Мне хотелось бы пойти на площадь, потолкаться среди деловых людей, побеседовать с теми, кто приходит туда по вечерам, чтобы поговорить о дела на бирже. Но пока я так одет, пока я бедняк, они не станут со мной разговаривать. Ничего, Мартинес, зато у нас троих есть дружба. А дружба бедняков — это что-нибудь да значит. Это настоящая дружба... Мы...

В эту минуту мимо прошел красивый молодой мексиканец с тонкими усиками: на каждой руке у него повисла хохочущая девица.

— *Madre mia!* — хлопнул себя по лбу Мартинес. — А как вот этому удалось подцепить сразу двух подружек?

— Ему помог его красивый белый костюм. — Ваменос грыз свой грязный ноготь. — Видать, он из ловчей.

Прислонившись к стене, Мартинес провожал взглядом хохочущую компанию. В доме напротив открылось окно четвертого этажа, и из него выглянула красивая девушка; ветер ласково заиграл ее легкими волосами. Мартинес знал эту девушку вечноность, целых шесть недель. Он кивал ей головой, он приветственно поднимал руку, улыбался, подмигивал, даже кланялся ей на улице или когда, навешая друзей, встречал ее в вестибюле дома, или в городском парке, или в центре города. Но девушка лишь подставила лицо ветру. Юноша не существовал для нее — его словно и не было.

— *Madre mia!* — Мартинес отвел от нее взгляд и снова посмотрел вдоль улицы; мексиканец и девицы уже заворачивали за угол. — Эх, был бы у меня такой

костюм. Мне не нужно даже денег, только бы иметь приличный костюм.

— Не знаю, стоит ли советовать, — вдруг сказал Вильянасул, — но что, если бы тебе повидаться с Гомесом. Он уже месяц что-то толкует насчет костюма. Я пообещал ему, что войду в пай, лишь бы отвязаться. Уж этот Гомес!

— Эй, приятель, — раздался чей-то тихий голос.

— Гомес! — Троє друзей обернулись и с любопытством уставились на подошедшего.

С какой-то странной улыбкой Гомес вытащил бесконечно длинную желтую ленту, которая заплескалась и зашелестела на ветру.

— Гомес! — воскликнул Мартинес. — Зачем тебе портновский метр?

Гомес расплылся в улыбке:

— Я снимаю мерку.

— Мерку?

— Стой спокойно. — Гомес окинул Мартинеса оценивающим взглядом. — *Caramba!* Где же ты был все это время? А ну-ка, давай!

Мартинес почувствовал, как ему измеряют длину руки, ноги, затем объем груди.

— Стой спокойно! — покрикивал Гомес. — Руки — точно. Ноги, грудь — великолепно! А теперь быстрее рост! Пять футов пять дюймов! Подходишь! Давай руку! — Тряся Мартинеса за руку, он вдруг воскликнул: — Подожди, а есть у тебя десять долларов?

— У меня есть! — Ваменос помахал грязными бумагами. — Сними мерку с меня, Гомес.

— Весь мой капитал — это девять долларов девяносто два цента. — Мартинес пошарил в карманах. — Ты считаешь, что этого хватит на новый костюм? Как же это так?

— А так. Потому что у тебя подходящий размер!

— Сеньор Гомес, но я совсем не знаю вас...

— Не знаешь? Ничего, теперь мы будем жить вместе. Пошли!

Гомес исчез в дверях бильярдной. Мартинес, сопровождаемый деликатным Вильянасулом и подталкивае-

мый нетерпеливым Ваменосом, тоже очутился в бильярдной.

— Домингес! — позвал Гомес.

Разговаривающий по телефону Домингес подмигнул вошедшем. В трубке пронзительно пищал женский голос.

— Мануло! — крикнул Гомес.

Мануло, опрокидывающий в рот содержимое винной бутылки, обернулся.

Гомес указал на Мартинеса:

— Я нашел вам пятого партнера!

Домингес ответил:

— У меня свидание, не мешай... — И вдруг умолк.

Трубка выпала у него из рук. Маленькая черная записная книжка, полная имен и телефонов, быстро исчезла в кармане.

— Гомес, ты?!

— Да, да! Давай скорее деньги. Выкладывай!

В телефонной трубке продолжал пищать женский голос.

Домингес в нерешительности поглядывал на трубку.

Мануло поглядывал то на пустую бутылку, которую продолжал держать в руках, то на вывеску винной лавки напротив.

Мануло и Домингес неохотно выложили по десять долларов на зеленое сукно бильярдного стола.

Изумленный Вильянасул последовал их примеру. То же самое сделал и Гомес, толкнув в бок Мартинеса. Мартинес пересчитал смятые бумажки и мелочь. Гомес жестом опытного крупье сгреб деньги.

— Пятьдесят долларов! Костюм стоит шестьдесят! Нам нужны еще десять долларов.

— Погоди, Гомес! — воскликнул Мартинес. — Ты говоришь об одном костюме? *Uno*?

— *Uno*! — Гомес поднял кверху палец. — Один великолепный летний костюм цвета сливочного мороженого. Светлый-светлый, как луна в августе.

— Чей же он будет?

— Мой! — крикнул Мануло.

— Мой! — крикнул Домингес.

— Мой! — крикнул Вильянасул.

— Мой! — крикнул Гомес. — И твой, Мартинес. Друзья, покажем ему, а? Становитесь-ка все в ряд.

Вильянасул, Мануло, Домингес и Гомес выстроились в ряд у стены бильярдного зала.

— Мартинес, становись-ка и ты тоже! А теперь, Ваменос, положи нам на головы бильярдный кий.

— Сейчас, Гомес, сейчас.

Мартинес почувствовал, как на его макушку лег бильярдный кий, и высунулся вперед, чтобы посмотреть, что происходит.

— О! — воскликнул он.

Кий ровно лежал на головах пятерых парней. Ваменос, широко улыбаясь, легко двигал его взад и вперед.

— Мы все одного роста! — вскричал Мартинес.

— Одного! — засмеялись приятели.

Гомес пробежал вдоль шеренги, шелестя желтым портновским метром, прикладывая его то к одному, то к другому юноше, отчего те смеялись еще громче.

— Точно! — заявил он. — Подумайте только, по-надобился месяц, целых четыре недели, чтобы подобрать четырех парней одинакового роста и сложения. Целый месяц я искал и снимал мерки. Мне попадались парни ростом в пять футов и пять дюймов, но они были либо слишком толсты, либо слишком тонки. Иногда у них были длинные руки или слишком длинные ноги. Эх, ребята, если бы вы знали, скольких пришлось обмерить! А теперь нас пятеро совсем одинаковых — в плечах и в груди, одинаковая длина рук и одинаковый вес! Ох, ребята!

Мануло, Домингес, Вильянасул, Гомес, а за ними и Мартинес встали один за другим на весы; весы-автомат, пощелкивая, выбрасывали билетики с обозначенным на них весом. Ваменос, улыбаясь во весь рот, кидал в автомат монетки. С бьющимся сердцем Мартинес прочел свой билетик.

— Сто тридцать пять фунтов... сто тридцать шесть... сто тридцать три... сто тридцать четыре... сто тридцать семь... Это чудо!

— Нет, — просто сказал Вильянасул, — это просто Гомес.

Они улыбались своему добруму гению, а он сгреб их всех в охапку.

— Ну, не молодцы ли мы, ребята? — удивлялся он сам. — Все одного роста, и у всех одна мечта — костюм! Каждый из нас будет красавцем по крайней мере один раз в неделю, а?

— Я уже не помню, когда я был красивым, — сказал Мартинес. — Девушки шарахаются от меня.

— Теперь они остолбенеют от восхищения, когда увидят тебя, — сказал Гомес, — увидят в новеньком летнем костюме цвета сливочного мороженого.

— Гомес, — сказал Вильянасул, — можно мне задать тебе вопрос?

— Конечно.

— Когда мы купим этот прекрасный летний костюм цвета сливочного мороженого, не может ли случиться так, что ты наденешь его, сядешь в автобус и уедешь в Эль-Пасо эдак на годик, а?

— Вильянасул, Вильянасул, как можешь ты такое говорить?

— Что видят глаза, то говорит язык, — сказал Вильянасул. — А помнишь беспрогрышную лотерею, которую ты устроил и в которую так никто и не выиграл? Или компанию «Перец с мясом и фасолью», которую ты задумал создать, но только задолжал за аренду помещения?

— Ошибки молодости, — сказал Гомес. — Ну довольно. В такую жару обязательно кто-нибудь купит наш костюм. Он стоит в витрине магазина «Солнечные костюмы фирмы Шамуэй». У меня есть пятьдесят долларов. Нам нужен еще один партнер.

Мартинес видел, как его ищущий взгляд пробежал по залу. Он тоже стал разглядывать присутствующих. Глаза его миновали, не останавливаясь, Ваменоса, затем неохотно вернулись к нему; он увидел грязную сорочку Ваменоса, толстые, желтые от никотина пальцы.

— Я! — наконец не выдержал Ваменос. — Снимите мерку с меня! Мои руки слишком велики от рытья канав, это верно, но фигура...

В эту минуту Мартинес снова услышал на тротуаре шаги несносного мексиканца и его хохочущих девиц.

Тень беспокойства, словно летняя туча, пробежала по лицам друзей.

Ваменос медленно ступил на весы и опустил в автомат монету. Зажмурив глаза, он начал шептать слова молитвы:

— *Madre mia*, прошу тебя...

Автомат щелкнул и выбросил билетик. Ваменос открыл глаза.

— Смотрите! Сто тридцать пять фунтов! Еще одно чудо!

Все смотрели на билетик в правой руке Ваменоса и засаленную десятидолларовую бумажку в левой.

Гомес дрогнул. Покрывшись испариной, он облизнул губы. Затем его рука рванулась вперед и схватила деньги.

— В магазин! За костюмом! Пошли!

Они бросились из бильярдной.

В забытой телефонной трубке все еще пищал женский голос. Мартинес, выбегающий последним, повесил трубку на рычаг. Во внезапно наступившей тишине он покачал головой:

— *Santos*, это сон! Шесть человек и один костюм. Что это будет? Безумие? Поножовщина? Убийства? Но я иду. Гомес, подожди меня!

Мартинес был молод. Он бегал быстро.

Мистер Шамуэй, владелец магазина «Солнечные костюмы» фирмы Шамуэй, развесив галстуки и вдруг замер, словно почувствовал, что перед его лавкой творится что-то необычное.

— Лео, — шепнул он помощнику. — Посмотри...

Мимо, лишь заглянув в лавку, прошел Гомес. Торопливо прошли,бросив взгляд в открытую дверь, Мануло и Домингес. Вильянасул, Мартинес и Ваменос, толкая друг друга, проделали то же самое.

— Лео, — мистер Шамуэй проглотил слону, — звони в полицию.

Вдруг все шестеро возникли в дверях. Зажатый между приятелями Мартинес, с неприятным ощущением в желудке, с возбужденным красным лицом, улыбался так широко, что Лео положил трубку на рычаг.

— Вот это да! — тяжело дыша, с выпученными глазами, сказал Мартинес. — Вот шикарный костюм.

— Нет, — сказал Мануло, гладя борта другого костюма. — Вот этот.

— Есть только один-единственный костюм на свете, — спокойно заявил Гомес. — Мистер Шамуэй, костюм цвета сливочного мороженого, размер тридцать четыре, он был в витрине час назад. Неужели вы его продали?

— Продал? Нет, нет, — облегченно вздохнул мистер Шамуэй. — Он в примерочной. На манекене.

Мартинес не помнил, он ли первым бросился вперед и увлек остальных, или это они побежали и увлекли его за собой, но все вдруг пришли в движение. Мистер Шамуэй поторопился опередить их.

— Сюда, сюда, джентльмены. Ну а который же из вас...

— Один за всех, все за одного! — услышал свой голос Мартинес и рассмеялся. — Мы все примеряем этот костюм.

— Все? — Мистер Шамуэй ухватился за занавес примерочной, словно его магазин вдруг стал кораблем, попавшим в шторм. Он глядел на них непонимающим взглядом.

«Смотри, смотри, — думал Мартинес, — видишь, мы улыбаемся. А теперь посмотри на наши фигуры. Смерька отсюда сюда и оттуда туда, сверху вниз и снизу вверх, теперь понимаешь?»

Да, мистер Шамуэй все понял. Он кивнул головой. Он пожал плечами.

— Все! — Он широко распахнул занавес примерочной. — Сюда. Покупайте костюм, и я дам вам в придачу манекен.

Мартинес осторожно заглянул в примерочную; за ним то же проделали остальные.

Костюм был там.

И он был белый.

Мартинесу стало трудно дышать. Да он и не хотел дышать.

Ему нельзя было дышать. Он боялся, что от его дыхания костюм вдруг растает. Нет, ему достаточно лишь глядеть на этот костюм.

Наконец, глубоко, прерывисто вздохнув, он прошептал:

— Ay, ay, caramba!

— Глазам даже больно, — прошептал Гомес.

— Мистер Шамуэй, — услышал Мартинес шепот Лео. — Это опасный прецедент. Если все начнут покупать один костюм на шестерых...

— Лео, — сказал мистер Шамуэй, — ты когда-нибудь видел, чтобы один костюм в пятьдесят девять долларов мог осчастливить сразу шестерых мужчин?

— Крылья ангела, — шептал Мартинес. — Белые крылья ангела.

Мартинес почувствовал, как через его плечо в примерочную просунулась голова мистера Шамуэя.

Белое сияние разлилось по примерочной.

— Знаешь, Лео, — благоговейно прошептал мистер Шамуэй. — Это действительно замечательный костюм.

Гомес, насвистывая, с громкими радостными возгласами вбежал на площадку третьего этажа, обернулся и помахал рукой друзьям; они, смеясь, взбежали за ним, запыхавшиеся, тоже остановились и присели на ступеньки лестницы.

— Сегодня вечером! — крикнул Гомес. — Вы все сегодня вечером переселяетесь ко мне. Мы сэкономим на квартирной плате, на одежде, а? Ну конечно, Мартинес, костюм у тебя?

— Где же ему быть? — Мартинес весело поднял красивую подарочную коробку. — Вот он, наш подарок друг другу.

— Ваменос, манекен у тебя?

— Вот он!

Жуя старый сигарный окурок и разбрасывая вокруг спопы искр, Ваменос вдруг отступил. Манекен упал, перевернулся раза два и с грохотом полетел вниз по ступенькам.

— Ваменос! Болван! Растворя!

Манекен тут же был отобран у Ваменоса. Подавленный Ваменос оглядывался вокруг так, словно что-то потерял.

Мануло щелкнул пальцами:

— Эй, Ваменос, надо отпраздновать. Пойди-ка возьми вина в долг.

Ваменос ринулся вниз по лестнице, словно комета, оставляя за собой хвост сигарных искр.

Друзья внесли костюм в комнату. Мартинес задержался в коридоре. Он смотрел на Гомеса.

— У тебя больной вид, Гомес.

— Так оно и есть, я болен, — сказал Гомес. — Что я наделал? — Он кивнул в сторону комнаты, где двигались тени трех приятелей, возвившихся около манекена. — Я выбрал Домингеса, бабника и волокиту. Ладно. Я выбрал Мануло, который пьет, но зато поет голосом нежным, как у девушки. Ты, по крайней мере, моешь за ушами. Но что я сделал дальше? Стал я ждать? Нет. Я захотел купить этот костюм немедленно. И для этого я взял в партнеры неотесанного чурбана и дал ему право надевать этот костюм... — Он растерянно умолк. — Он наденет его, упадет в нем в грязь или выйдет под дождь. Зачем, зачем я сделал это?

— Гомес, — послышался шепот Вильянасула. — Костюм уже готов. Иди взгляни, как он выглядит при свете твоей лампочки.

Гомес и Мартинес вошли.

В центре комнаты на манекене висело фосфоресцирующее чудо, белое, сияющее видение с необыкновенно отутюженными лацканами, с потрясающе аккуратными стежками и безукоризненной петлицей. Белый отблеск костюма упал на лицо Мартинеса, и ему показалось, что он в церкви. Белый! Белый! Словно самое

белое из всех ванильных мороженых, словно парное молоко, доставляемое молочником на рассвете. Белый, как одинокое зимнее облако в лунную ночь. От одного его вида в этой душной летней комнате дыхание людей застывало в воздухе. Даже закрыв глаза, Мартинес его видел. Он знал, какого цвета сны будут сниться ему в эту ночь.

— Белый... — шептал Вильянасул. — Белый, как снег на вершине горы возле нашего городка в Мексике; эту гору называют Спящая.

— Повтори, что ты сказал, — попросил его Гомес.

Гордый и несколько смущенный Вильянасул был рад повторить:

— ...белый, как снег на вершине горы, которую называют...

— А вот и я!

Они испуганно обернулись. В дверях стоял Ваменос с бутылками в руках.

— Празднуем! Глядите, что я принес! А теперь скажите, кто же наденет костюм сегодня? Я?

— Сейчас уже поздно, — возразил Гомес.

— Поздно?! Всего четверть десятого.

— Поздно? — возмущенно повторили остальные. — Поздно?

Гомес попятился назад от этих людей, которые горящими глазами смотрели то на него, то на костюм, то в открытое окно.

За окном внизу, думал Мартинес, был, в сущности, чудесный субботний вечер и в теплых спокойных сумерках плыли женщины, словно цветы, брошенные в тихие воды ручья. Печальный стон вырвался из груди мужчин.

— Гомес, у меня предложение. — Вильянасул смочил языком кончик карандаша и на листке блокнота составил расписание: — Ты носишь костюм с девятыми тридцати до десяти, Мануло — до десяти тридцати, Домингес — до одиннадцати, я — до половины двенадцатого, Мартинес — до двенадцати, а...

— Почему я должен быть последним? — недовольно воскликнул Ваменос.

Мартинес быстро нашелся и сказал с улыбкой:

— А ведь после двенадцати самое лучшее время, дружище.

— Это верно, — согласился Ваменос. — Я не подумал об этом. Ладно.

Гомес вздохнул:

— Хорошо. Каждый по полчаса. Но с завтрашнего дня, запомните, каждый из нас надевает костюм только раз в неделю. А в воскресенье мы тянем жребий, кому надеть его еще раз.

— Мне! — со смехом воскликнул Ваменос. — Я везучий.

Гомес крепко ухватился за Мартинеса.

— Гомес, ты первый. Надевай же, — подтолкнул его Мартинес.

Гомес не мог оторвать глаз от злополучного Ваменоса. Наконец жестом отчаяния он сорвал с себя сорочку:

— Э-эх!

Тихий шелест полотна — чистая сорочка.

— Ох!..

Как приятна на ощупь чистая одежда, думал Мартинес, держа наготове пиджак. Как она приятно шуршит, как приятно пахнет!

Позвякивание пряжек — брюки; шелест — галстук, подтяжки. Шорох — Мартинес набросил пиджак, и он ловко сел на податливые плечи Гомеса.

— Ole!

Гомес повернулся, как матадор, в чудесном, излучающем сияние костюме.

— Ole, Гомес, ole!

Гомес отвесил поклон и направился к двери.

Мартинес впился глазами в циферблат своих часов. Ровно в десять он услышал чьи-то неуверенные шаги в коридоре, словно человек заблудился. Он открыл дверь и выглянул.

По коридору бесцельно брел Гомес.

«У него больной вид, — подумал Мартинес. — Нет, у него потерянный, потрясенный, удивленный вид».

— Сюда, Гомес, сюда!

Гомес круто повернулся и наконец нашел дверь.

— О, друзья, друзья, — сказал он. — Друзья, вы не представляете!.. Этот костюм, этот костюм!..

— Расскажи нам, Гомес! — попросил Мартинес.

— Не могу, не могу! — Гомес воздел глаза к небу, поднял кверху широко раскинутые руки.

— Расскажи, Гомес!

— Нет слов, нет слов. Вы должны увидеть сами. Да-да, сами... — Он молчал, тряся головой, пока не вспомнил, что все стоят и ждут. — Кто следующий? Мануло!

Мануло в одних трусах выскочил вперед:

— Я готов!

Все засмеялись, закричали, засвистели.

Мануло, надев костюм, ушел. Его не было двадцать девять минут и тридцать секунд. Он вошел в комнату, не отпуская ручку двери, он держался руками за стены, он ощупывал собственные руки, проводил ладонями по лицу.

— Дайте мне рассказать вам, — наконец промолвил он. — *Compadres*, я зашел в бар. Нет, я не заходил в бар, слышите? Я не пил. Потому что, пока я шел туда, я уже начал смеяться и петь. Почему? Почему? — спрашивал я сам себя. Потому что от этого костюма мне стало веселее, чем от вина. От этого костюма я стал пьян, пьян, пьян! Поэтому я зашел в закусочную «Гадалахара», играл там на гитаре и спел четыре песни очень высоким голосом. Этот костюм, ах, этот костюм!

Домингес — теперь была его очередь — ушел и вернулся.

Черная записная книжка с телефонными номерами, подумал Мартинес. Она была у него в руках, когда он уходил. А теперь руки его пусты. Что это? Что?

— На улице, — сказал Домингес с широко раскрытыми глазами, переживая все заново, — когда я шел, одна женщина воскликнула: «Домингес, неужели это ты?» А другая сказала: «Домингес? Нет, это сам Кетсалкоатл, Великий Белый Бог, пришедший с Востока». Слышите? И мне сразу же расхотелось встречаться одновременно с шестью, с восемью женщинами. Должна

быть одна, подумал я, одна! И кто знает, что я скажу ей, этой одной. «Будь моей». Или: «Выходи за меня замуж». *Caramba!* Этот костюм опасен. Но мне плевать на это. Я живу, я живу! Гомес, с тобой тоже такоетворилось?

Гомес, все еще ошеломленный тем, что пережил в этот вечер, покачал головой:

— Не надо, не говори. Слишком много всего. Потом. Вильянасул!

Вильянасул смущенно вышел вперед.

Вильянасул смущенно покинул комнату. Вильянасул смущенно вернулся обратно.

— Представьте, — сказал он, ни на кого не глядя, опустив глаза вниз, словно обращаясь к половицам. — Зеленая площадь, группа пожилых коммерсантов и дельцов под открытым звездным небом — они говорят, кивают, опять говорят. Потом один из них что-то шепчет, все поворачиваются, расступаются, и через обра-зовавшийся проход, словно сноп света сквозь льдину, проходит белое видение, а внутри его — я. Я делаю глубокий вдох, в животе у меня словно желе, голос мой еле слышен, но вот он становится громче. Что же я говорю? Я говорю: «Друзья, вы читали “Sartor Resartus” Карлейля? В этой книге мы находим изложение его философии одежды...»

Наконец пришла очередь Мартинеса надеть костюм и отправиться в неизвестность.

Четыре раза он обошел квартал, четыре раза оставался под балконом дома и глядел вверх на освещенное окно: там двигалась тень — за этим окном была прекрасная девушка, она появлялась и исчезала. Лишь на пятый раз он увидел ее на балконе — летняя жара выгнала ее из комнаты подышать ночной прохладой. Она посмотрела вниз. Она сделала знак.

Вначале ему показалось, что она машет ему. Ему показалось, что он привлек ее внимание, словно белый гейзер. Но она никому не махала. Еще жест — и пара очков в темной оправе украсила ее переносицу. Девушка посмотрела на Мартинеса.

«Ага, вот оно что, — подумал он. — Ну что ж, даже слепые видят этот костюм». Он улыбнулся ей. Ему уже не надо было махать ей рукой. Наконец-то и она улыбнулась в ответ. И ей тоже не надо было махать ему рукой. А потом, возможно, потому что он не знал, как ему быть дальше и как избавиться от улыбки, которая растянула его рот до ушей, он бросился наутек и завернул за угол, чувствуя на себе взгляд девушки. Когда он обернулся, она уже сняла очки и следила близоруким взглядом за тем, что ей, должно быть, казалось движущимся белым пятном в темноте. Затем, чтобы прийти в себя, он снова завернул за угол и зашагал через весь город, ставший внезапно таким прекрасным, что ему захотелось кричать, смеяться и снова кричать.

Возвращаясь, он шел медленно, словно во сне, с полузакрытыми глазами; и, когда он появился в дверях, все увидели не Мартинеса, а самих себя, возвращающихся домой. И все вдруг поняли, что с ними что-то происходит...

— Ты опоздал! — воскликнул Ваменос, но тут же умолк. Нельзя было разрушить чары.

— Скажите мне, кто я? — сказал Мартинес.

Медленно он сделал круг по комнате.

Да, думал он, это сделал костюм и все, что связано с ним, то, как они пошли все вместе в магазин, смеющиеся и, как сказал Мануло, без вина пьяные. По мере того как сгущалась темнота и каждый по очереди натягивал брюки, балансируя на одной ноге и держась рукой за плечи других, чувства их росли, становились теплее, лучше; один за другим они выходили за дверь, один за другим возвращались, пока снова не пришел черед Мартинеса стоять во всем великолепии и белизне, так, словно он готовится отдать какое-то приказание и все должны были умолкнуть и расступиться.

— Мартинес, пока тебя не было, мы достали три зеркала. Посмотри.

В зеркалах, поставленных, как в магазине, отражалось три Мартинеса, а за ним тени и эхо тех, кто надевал костюм до него и ходил глядеть на сверкающий мир. В блестящей глади зеркал Мартинес увидел огромность

того, что они переживали, и глаза его наполнились слезами. Другие тоже заморгали. Мартинес коснулся зеркал. Они задрожали. Мартинес увидел тысячу, миллион Мартинесов в белоснежных одеяниях, проходящих через вечность, еще и еще раз отраженных в ней, неисчезающих и нескончаемых.

Он поднял белый пиджак в воздух. В оцепенении остальные не сразу сообразили, чья грязная рука потянулась к нему.

А затем:

— Ваменос!

— Свинья!

— Ты даже не умылся! — закричал Гомес. — И не побрился, пока ждал Compadres, в ванну его!

— В ванну! — закричали все.

— Нет! — завопил Ваменос. — Ночной воздух, я заболею.

Кричащего Ваменоса поволокли в ванную.

Ваменос был почти неправдоподобен в белом костюме, побритый, причесанный, с чистыми ногтями.

Его друзья мрачно взирали на него.

«Ибо разве не верно, — думал Мартинес, — что, когда идет Ваменос, лавины низвергаются с гор, а когда он проходит по тротуару, обитателям домов хочется плеваться из окон или выливать помои или еще хуже. Сегодня, в этот вечер, Ваменос пройдет под тысячами раскрытых окон, балконов, по глухим, темным переулкам. Мир жужжит от мух, а Ваменос похож на свежезамороженный торт».

— Ты действительно здорово выглядишь в этом костюме, Ваменос, — грустно сказал Мануло.

— Спасибо. — Ваменос передернул плечами, чтобы поудобнее чувствовать себя в костюме, в котором только что перебывали все его друзья. Тихим голосом он спросил: — Теперь я могу идти?

— Вильянасул! — сказал Гомес. — Запиши-ка ему правила.

Вильянасул послюнил огрызок карандаша.

— Во-первых, — диктовал Гомес, — ты не имеешь права падать в этом костюме, Ваменос.

— Не буду.

— Прислоняться к стенам домов.

— Никаких стен.

— Ходить под деревьями, где гнездятся птицы. Курить. Пить...

— Пожалуйста, — взмолился Ваменос, — можно мне садиться в этом костюме?

— Если стул нешибко чистый, снимай брюки и вешай на спинку стула.

— Пожелай мне счастья, — сказал Ваменос.

— С Богом, Ваменос.

Он вышел и захлопнул за собой дверь. И вдруг все услышали звук рвущейся материи.

— Ваменос! — завопил Мартинес.

Он бросился к двери, распахнул ее.

Ваменос держал в руке разорванный надвое носовой платок и громко хохотал.

— Тр-р-р! Видели бы вы свои рожи! Тр-р-р! — Он разорвал платок в клочья. — Ну и рожи! Вот умора. Ха-ха-ха!

С громоподобным хохотом Ваменос захлопнул перед обеспокоенными друзьями дверь и ушел.

Гомес схватился за голову и отвернулся:

— Бейте меня, бросайте в меня камнями. Я продал наши души дьяволу.

Вильянасул сунул руку в карман, вытащил серебряную монетку и долго глядел на нее.

— Вот мои последние пятьдесят центов. Кто еще может дать деньги, чтобы выкупить у Ваменоса его часть костюма?

— Бесполезно. — Мануло показал десять центов. — Этого хватит выкупить лишь лацкан да петлицу.

Гомес, стоявший у открытого окна, внезапно высунулся из него и закричал:

— Нет, Ваменос, нет!

Внизу на улице испуганный Ваменос погасил спичку и швырнул на землю где-то подобранный сигарный окурок. Он сделал какой-то странный жест друзьям,

глядевшим в окно, затем небрежно помахал им рукой и зашагал прочь.

Пятеро друзей не могли отойти от окна, тесня и толкая друг друга.

— Клянусь, он в этом костюме будет есть шницель по-гамбургски, — с тоской прошептал Вильянасул. — Я думаю о горчице.

— Перестань! — воскликнул Гомес. — Не может этого быть! Не может!

Внезапно Мануло очутился у двери.

— Мне необходимо промочить горло.

— Мануло, вино в бутылке на полу...

Но Мануло был уже за дверью. Через минуту Вильянасул с деланно безразличным видом потянулся и прошелся по комнате.

— Пожалуй, пойду прогуляюсь до площади, друзья.

Не прошло и минуты после его ухода, как Домингес, помахав друзьям записной книжкой, подмигнул и взялся за дверную ручку.

— Домингес! — окликнул его Гомес.

— Что?

— Если случайно увидишь Ваменоса, скажи ему, чтобы не ходил к Мики Мурильо в «Красный петух». Там драки не только на экране телевизора.

— Он не посмеет пойти к Мурильо, — сказал Домингес. — Ваменосу слишком дорог этот костюм. Он не сделает ничего такого, что может причинить костюму вред.

— Он скорее убьет родную мать, — добавил Мартинес.

— Уверен, что он способен на это, — сказал Гомес.

Мартинес и Гомес остались одни в комнате, прислушиваясь к торопливым шагам Домингеса, сбегавшего по лестнице. Они обошли вокруг голого манекена. Затем, покусывая губы, Гомес долго стоял у раскрытоого окна и глядел вниз. Рука его дважды касалась нагрудного кармана сорочки, и каждый раз он отдергивал ее. Наконец он вынул что-то из кармана и, даже не взглянув, протянул Мартинесу:

— Возьми, Мартинес.

— Что это?

Мартинес глядел на сложенную вдвое розовую бумагу с какими-то цифрами и словами. Глаза его расширились от удивления.

— Билет на автобус, отходящий от Эль-Пасо через три недели?

Гомес кивнул. Он не смотрел на Мартинеса. Он смотрел в окно на летнюю ночь.

— Верни его в кассу и получи обратно деньги, — сказал он. — Купи к нашему костюму хорошую белую панаму и бледно-голубой галстук. Сделай это, Мартинес.

— Гомес...

— Молчи. Ну и духота же здесь. Мне надо подышать свежим воздухом.

— Гомес! Я тронут, Гомес...

Дверь комнаты зияла пустотой. Гомес ушел.

«Красный петух», кафе и коктейль-бар Мики Мурильо, был зажат между двумя высокими кирпичными домами и поэтому, будучи узким по фасаду, вынужден был вытянуться вглубь. Снаружи шипел, гас и снова загорался неоновый серпантин вывески. Внутри проплывали мимо окон и исчезали в глубине бурлящего ночного бара туманные тени.

Мартинес, приподнявшись на носках, заглянул в светлый глазок размалеванного красной краской окна.

Он почувствовал чье-то присутствие слева от себя и чье-то дыхание справа. Он посмотрел налево, потом направо.

— Мануло! Вильянасул!

— Я пришел к выводу, что мне не хочется пить, — сказал Мануло. — Я решил просто прогуляться.

— Я шел в сторону площади, — сказал Вильянасул, — но мне захотелось пройти этой дорогой.

Словно сговорившись, все трое тут же умолкли и, встав на цыпочки, стали смотреть в бар через глазки в размалеванном окне.

Спустя несколько мгновений они почувствовали за спиной чье-то дыхание.

— Что, наш белый костюм там? — услышали они голос Гомеса.

— Гомес! — воскликнули все трое удивленно. — Хэй!

— Да! — сказал Домингес, который только сейчас нашел удобный глазок в окне. — Вот он! И хвала Господу, он все еще на плечах у Ваменоса.

— Я не вижу! — Гомес прищурился и приложил ладонь козырьком к глазам. — Что он там делает?

Мартинес тоже посмотрел. Да, там, в глубине бара, белое снежное пятно, идиотская ухмылка Ваменоса и клубы дыма.

— Он курит! — сказал Мартинес.

— Он пьет! — сказал Домингес.

— Он ест тáко, — сообщил Вильянасул.

— Сочное тáко, — добавил Мануло.

— Нет! — воскликнул Гомес. — Нет, нет, нет...

— С ним Руби Эскадрильо!

— Дайте-ка мне взглянуть! — Гомес оттолкнул Мартинеса.

Да, это Руби — сто килограммов жира, втиснутые в расшитый блестками тугой черный шелк; пунцовые ногти впились в плечи Ваменоса; обсыпанное пудрой, измазанное губной помадой тупое коровье лицо наклонилось к его лицу.

— Это гиппопотамша!.. — воскликнул Домингес. — Она изуродует плечи костюма. Посмотрите, она собирается сесть к нему на колени!

— Нет, нет, ни за что! Такая намазанная и накрашенная! — застонал Гомес. — Мануло, марш туда! Отними у него стакан. Вильянасул, хватай сигару и тáко! Домингес, назначь свидание Руби Эскадрильо и уведи ее отсюда. Пошли, ребята.

Трое исчезли, оставив Гомеса и Мартинеса подглядывать, ахая от ужаса, в окно.

— Мануло отнял стакан, он выпивает вино!

— Ole! А вон Вильянасул, он схватил сигару, он ест тáко.

— Хэй, Домингес отводит в сторону Руби! Вот молодец!

Какая-то тень скользнула с улицы в дверь заведения Мурильо.

— Гомес! — Мартинес схватил Гомеса за руку. — Это Бык Ла Джолья, дружок Руби. Если он увидит ее с Ваменосом, белоснежный костюм будет залит кровью, кровью!..

— Не пугай меня! — воскликнул Гомес. — А ну, быстрее!

Они бросились в бар. Они были около Ваменоса, как раз когда Бык Ла Джолья сгреб обеими ручищами лацканы прекрасного костюма цвета сливочного мороженого.

— Отпусти Ваменоса! — закричал Мартинес.

— Отпусти костюм, — уточнил Гомес.

Бык Ла Джолья и приподнятый вверх и приплясывающий на цыпочках Ваменос злобно уставились на непрошеных гостей.

Вильянасул застенчиво вышел вперед. Вильянасул улыбнулся:

— Не бей его. Ударь лучше меня.

Бык Ла Джолья ударил Вильянасула в лицо. Вильянасул, схватившись за разбитый нос и с глазами, полными слез, отошел в сторону.

Гомес схватил Быка за одну ногу. Мартинес за другую.

— Пусти его, пусти, *reon, coyote, vaca!*

Но Бык Ла Джолья еще крепче ухватил ручищами лацканы костюма, и все шестеро друзей застонали от отчаяния. Он то отпускал лацканы, то снова мял их в кулаке. Он готовился как следует рассчитаться с Ваменосом, но к нему снова приблизился Вильянасул с мокрыми от слез глазами.

— Не бей его, бей меня.

Когда Ла Джолья снова ударил Вильянасула, на его собственную голову обрушился сокрушительный удар стулом.

— Ole! — воскликнул Гомес.

Бык Ла Джолья пошатнулся, заморгал глазами, словно раздумывая, растянуться ему на полу или не стоит, однако не отпустил Ваменоса.

— Пусти! — закричал Гомес.

Один за другим толстые, как сосиски, пальцы Быка разжались и отпустили лацканы костюма. Через секунду он уже неподвижно лежал на полу.

— Друзья, сюда!

Они вытолкнули Ваменоса на улицу; там с видом оскорбленного достоинства он высвободился из их рук.

— Ладно-ладно, мое время еще не истекло. У меня еще две минуты и десять секунд.

— Что? — возмущенно воскликнули все.

— Ваменос, — сказал Гомес, — ты позволил, чтобы гвадалахарская корова села тебе на колени, ты затеваешь драки, ты куришь, пьешь, ешь та́ко, а теперь еще осмеливаешься говорить, что твое время не истекло!

— У меня еще две минуты и одна секунда.

— Эй, Ваменос, ты сегодня шикарный, — донесся с противоположного тротуара женский голос.

Ваменос улыбнулся и застегнул пиджак.

— Это Рамона Альварес. Эй, Рамона, подожди!

Ваменос ступил на мостовую.

— Ваменос! — умоляюще крикнул вдогонку Гомес. — Что можешь ты сделать в одну минуту... — он взглянул на часы, — и сорок секунд?

— Вот увидите. Рамона!

Ваменос устремился к цели.

— Ваменос, берегись!

Удивленный Ваменос круто обернулся и, увидев машину, услышал скрежет тормозов.

— Нет! — завопили пятеро друзей на тротуаре.

Услышав глухой удар, Мартинес содрогнулся. Он поднял голову — казалось, кто-то швырнул в воздух охапку белого белья. Он закрыл глаза.

Теперь он слышал каждый звук. Кто-то с шумом втянул в себя воздух, кто-то громко выдохнул. Кто-то

задохнулся, кто-то застонал, кто-то громко взывал к милосердию, а кто-то закрыл руками лицо. Мартинес почувствовал, что сам он колотит себя кулаками в грудь. Ноги его словно приросли к земле.

— Я не хочу больше жить, — тихо сказал Гомес. — Убейте меня кто-нибудь.

Тогда, неуклюже покачиваясь, Мартинес взглянул на свои ноги и приказал им двигаться. Он наткнулся на кого-то из друзей — они все теперь двинулись вперед. Они пересекли улицу, тяжело, с трудом, словно перешли вброд глубокую реку, и обступили лежавшего Ваменоса.

— Ваменос! — воскликнул Мартинес. — Ты жив?

Лежа на спине, с открытым ртом и крепко зажмуренными глазами, Ваменос тряс головой и тихо стонал.

— Скажите мне, о, скажите мне...

— Что тебе сказать, Ваменос?

Ваменос сжал кулаки, заскрежетал зубами:

— Костюм... что я сделал с костюмом... костюм, костюм!

Приятели нагнулись к нему пониже.

— Ваменос!.. Он цел.

— Вы лжете! — крикнул Ваменос. — Он разорван, он не может быть не разорван, он разорван весь... и подкладка тоже!

— Нет. — Мартинес стал на колени и ощупал костюм. — Ваменос, он цел, даже подкладка.

Ваменос открыл глаза и наконец дал волю слезам.

— Чудо, — рыдая вымолвил он. — Славьте всех святых. — Он с трудом приходил в себя. — А машина?

— Сшибла тебя и скрылась! — Только сейчас Гомес вспомнил о машине и гневно посмотрел вдоль пустой улицы. — Счастье его, что он успел удрать. Мы бы его...

Все прислушались.

Где-то вдалеке завыла сирена.

Кто-то вызвал «скорую помощь».

— Быстро! — яростно выкрикнул Ваменос, ворочая белками. — Посадите меня! Снимайте пиджак!

— Ваменос...

— Замолчите, идиоты! — орал Ваменос. — Пиджак!

А теперь брюки, брюки, побыстрей! Вы знаете докторов? Вы видели, какими их показывают в кино? Чтобы снять брюки с человека, они разрезают их бритвой. Им плевать! Они сущие маньяки. О Господи, быстрее!

Сирена выла.

Друзья в панике все вместе бросились раздевать Ваменоса.

— Правую ногу, да осторожней. Побыстрее, ослы! Хорошо. Теперь левую, слышите, левую. Поосторожней! О Господи! Быстрее! Мартинес, снимай с себя брюки.

— Что? — застыл от неожиданности Мартинес.

Сирена ревела.

— Идиот! — стонал Ваменос. — Все пропало. Да-вай брюки.

Мартинес рванул ремень.

— Станьте в круг.

В воздухе мелькнули темные брюки, светлые брюки.

— Скорее, маньяки с бритвами уже здесь. Правую ногу, левую ногу, вот так. Молнию, ослы, застегните мне молнию, — бормотал Ваменос.

Сирена умолкла.

— *Madre mia*, еле успели. Они уже здесь. — Ваменос вытянулся на земле и закрыл глаза. — Спасибо, ребята.

Когда мимо него проходили санитары, Мартинес, отвернувшись, с невозмутимым видом застегивал ремень белых брюк.

— Перелом ноги, — сказал один из санитаров, когда Ваменоса укладывали на носилки.

— Ребята, — сказал Ваменос, — не сердитесь на меня.

— Кто сердится? — хмыкнул Гомес.

Уже из машины, лежа на носилках с запрокинутой головой, так что ему все виделось как бы вверх ногами, Ваменос, запинаясь, сказал:

— Ребята, когда... когда я вернусь из больницы... вы меня не выбросите из компаний? Знаете что, я брошу

куриТЬ, никогда и близко не подойду к бару Мурильо, зарекаюсь глядеть на женщин...

— Ваменос, — мягко сказал Мартинес, — не надо клятьв.

Запрокинутая голова Ваменоса с глазами, полными слез, глядела на Мартинеса в белоснежном костюме.

— О, Мартинес, тебе так идет этот костюм. *Compradores*, да ведь он у нас просто красавец!

Вильянасул сел в машину возле Ваменоса. Дверца захлопнулась. Четверо друзей смотрели, как отъехала машина.

А потом под надежной охраной, в белом, как снег, костюме Мартинес благополучно перешел мостовую и ступил на тротуар.

Придя домой, Мартинес достал жидкость для удаления пятен. Друзья, окружив его, наперебой советовали, как чистить костюм, а потом как его лучше отгладить, и не слишком горячим утюгом, особенно лацканы и складку на брюках...

Когда костюм был вычищен и отглажен так, что снова стал похож на только что распустившуюся белую гардению, его повесили на манекен.

— Два часа ночи, — пробормотал Вильянасул. — Надеюсь, Ваменос спокойно спит. Когда я уходил из больницы, у него был вполне приличный вид.

Мануло откашлялся.

— Никто не собирается надевать костюм сегодня, а? Все гневно уставились на него.

Мануло покраснел.

— Я только хотел сказать, что уже поздно. Все устали. Может, никто не будет трогать костюм сегодня, а? Ладно? Где мы разместимся на ночь?

Ночь была душной, и спать в комнате было невозможно. Взяв манекен с костюмом, прихватив с собой подушки и одеяла, друзья вышли в коридор, чтобы подняться по лестнице на крышу. «Там, — подумал Мартинес, — ветерок и можно уснуть».

Проходя по коридору, они миновали десятки открытых дверей, где люди, обливаясь потом от жары, все еще не спали, играли в карты, пили содовую и обмакивались вместо вееров старыми киножурналами.

«А что, если?.. А что... — думал Мартинес. — Да, так оно и есть!»

Четвертая дверь, ее дверь, была тоже открытой. И когда они проходили мимо этой двери, красивая девушка подняла голову. Она была в очках, но, увидев Мартинеса, поспешно сняла их и накрыла книгой.

Друзья прошли мимо, даже не заметив, что Мартинес отстал, что он остановился как вкопанный в дверях чужой комнаты.

Он долго не мог произнести ни слова. Потом наконец представился:

— Хосе Мартинес.

— Селия Обрегон, — ответила девушка.

И оба снова умолкли.

Мартинес слышал, как его друзья уже ходят по крыше. Он повернулся, чтобы уйти, уже сделал несколько шагов, как девушка вдруг торопливо сказала:

— Я видела вас сегодня.

Мартинес вернулся.

— Мой костюм, — сказал он.

— Костюм? — Девушка умолкла, раздумывая. —

При чем здесь костюм?

— Как при чем? — воскликнул Мартинес.

Девушка подняла книгу и показала лежавшие под ней очки. Она коснулась их рукой.

— Я очень близорука. Мне надо постоянно носить очки. Но я много лет отказываюсь от них, я прячу их, чтобы меня никто в них не видел, поэтому я почти ничего не вижу. Но сегодня даже без очков я увидела. Огромное белое облако, выплывшее из темноты. Такое белое-белое! Я быстро надела очки.

— Я же сказал — костюм! — воскликнул Мартинес.

— Да, сначала белоснежный костюм, а потом совсем другое.

— Другое?

— Да, ваши зубы. Такие белые-белые.

Мартинес поднес руку к губам.

— Вы были такой счастливый, мистер Мартинес, — сказала девушка. — Я еще не видела такого счастливо-го лица и улыбки.

— А-а, — ответил он, заливаясь краской, не в силах посмотреть ей в лицо.

— Так что видите, — продолжала девушка, — ваш костюм привлек мое внимание, это верно, как белое видение в ночи. Но ваши зубы были еще белее. А о костюме я уже забыла.

Мартинес еще сильнее покраснел. Девушка тоже была смущена. Она надела очки, но снова поспешно сняла их и спрятала. Она посмотрела на свои руки, а потом куда-то поверх его головы в открытую дверь.

— Можно мне... — наконец сказал Мартинес.

— Что можно?

— Можно мне зайти к вам, когда снова придет моя очередь надеть костюм?

— Зачем вам костюм?

— Я думал...

— Вам не нужен костюм.

— Но...

— Если бы все дело было в костюме, — сказала девушки, — каждый смог бы стать красивым. Я наблюдала. Я видела многих в таких костюмах, и все они были другими. Говорю, вам не надо ждать этого костюма!

— *Madre mia, madre mia!* — воскликнул счастливый Мартинес. А затем, понизив голос, произнес: — Но какое-то время костюм мне все-таки нужен. Месяц, полгода, год. Я еще не уверен в себе. Я немного боюсь. Мне не так уж много лет.

— Так и должно быть, — сказала девушка.

— Спокойной ночи, мисс...

— ...Селия Обрегон.

— Мисс Селия Обрегон, — повторил он и наконец ушел.

Друзья уже ждали Мартинеса. Когда он вылез на крышу через чердачное окно, первое, что он увидел,

был манекен с костюмом, водруженный в самом центре, а вокруг него — одеяла и подушки. Его друзья уже укладывались спать. Приятно дул прохладный ветерок.

Мартинес подошел к костюму, погладил лацканы и сказал почти про себя:

— Эх, сагамба, что за вечер! Кажется, прошло десять лет с тех пор, как все это началось. У меня не было ни одного друга, а в два часа ночи у меня их сколько угодно... — Он умолк, вспомнив о Селии Обрегон, о Селии... — Сколько угодно, — продолжал он. — У меня есть где спать, что надеть. Знаете что? — Он повернулся к друзьям, лежавшим вокруг него и манекена с костюмом: — Смешно, но в этом костюме я знаю, что могу выиграть, как Гомес, я знаю, что женщины будут улыбаться мне, как улыбаются Домингесу, и что я смогу петь, как поет Мануло, говорить о политике, как Вильянасул. Я чувствую, что я такой же сильный, как Ваменос. Ну и что же, спросите вы? А то, что сегодня я больше чем Мартинес. Я — Гомес, Мануло, Домингес, Вильянасул, Ваменос. Я — это все мы. Эх...

Он постоял еще немного возле костюма, который во-брал в себя все их черты, привычки, характеры. В этом костюме можно было идти быстро и стремительно, как Гомес, или медленно и задумчиво, как Вильянасул, или плыть по воздуху, едва касаясь земли, как Домингес, которого всегда, казалось, несет на своих крыльях по-путный ветерок. Этот костюм принадлежит им всем, но и они принадлежали этому костюму. Чем же он был для них? Он был их парадным фасадом.

— Ты ляжешь когда-нибудь спать, Мартинес? — спросил Гомес.

— Конечно. Я просто думаю.

— О чём?

— Если мы когда-нибудь разбегатеем, — тихо сказал Мартинес, — я не обрадуюсь этому. Тогда у каждого из нас будет свой собственный костюм и не будет таких вечеров, как этот. Наша дружба кончится. Все тогда станет другим.

Друзья лежали молча и думали о том, что сказал Мартинес.

Гомес легонько кивнул головой:

— Да... тогда все станет другим.

Мартинес лег на свое одеяло. Вместе со всеми он смотрел на манекен.

Неоновые рекламы на соседних домах вспыхивали и гасли, освещая счастливые глаза друзей, вспыхивали и гасли, освещая чудесный костюм цвета сливочного мороженого.

ГОРЯЧЕЧНЫЙ БРЕД

Eго положили на чистые выглаженные простыни, а на столе под лампой с приглушенным розовым светом всегда стоял стакан густого, только что отжатого апельсинового сока. Чарльзу нужно было лишь позвать маму или папу, и тогда кто-нибудь из них заглядывал в комнату, чтобы посмотреть, как он себя чувствует. Акустика в детской была просто великолепная; Чарльз каждое утро слышал, как туалет прочищает свое фарфоровое горло, слышал, как стучит по крыше дождь и хитрые мышки снуют по потайным коридорам в стенах, слышал, как поет канарейка в клетке внизу. Если держаться настороже, болезнь не так уж и страшна.

Была середина сентября, и весь мир полыхал осенними красками. К тому моменту когда Чарльза, которому исполнилось тринадцать, охватил самый настоящий ужас, он пролежал в постели уже три дня.

У него начала изменяться рука. Правая. Чарльз бросил на нее один, короткий взгляд — она лежала сама по себе на стеганом одеяле, горячая, вся в поту. Вздрогнула, чуть пошевелилась. А потом вдруг стала другого цвета.

Днем снова пришел доктор и принялся стучать по худой груди Чарльза так, словно это был барабан.

Fever Dream

Copyright © 1948 by Ray Bradbury

Горячечный бред

© В. Гольдич, И. Оганесова, перевод, 1997

— Как дела? — улыбаясь, спросил доктор. — Только не говори мне: «С насморком все в порядке, а вот я чувствую себя отвратительно!» — Он рассмеялся своей любимой шутке, которую частенько повторял.

Чарльз молчал, потому что для него эта старинная дурацкая шутка становилась реальностью. Она упрямо сидела в голове; сознание прикасалось к ней и сжималось в бессильном ужасе. Доктор не знал, сколь жестоки его слова!

— Доктор, — прошептал бледный Чарльз, который лежал на спине, боясь пошевелиться. — Моя рука, она мне больше не принадлежит. Сегодня утром она превратилась во что-то другое. Сделайте так, чтобы она снова стала моей, доктор, доктор!

Доктор продемонстрировал ему свои великолепные зубы и погладил по руке.

— А у меня такое впечатление, что с ней все в порядке, сынок. Просто тебе приснился страшный сон.

— Но она и в самом деле изменилась, доктор, о, доктор! — воскликнул Чарльз, жалобно протягивая к нему свою бледную, чужую руку. — Она изменилась!

— Я дам тебе розовую таблеточку, — подмигнув, сказал доктор и положил таблетку Чарльзу на язык. — Проглоти ее!

— А она сделает так, чтобы рука превратилась назад и снова стала моей?

— Конечно.

В доме было совсем тихо, когда доктор ехал по дороге в машине под безмятежным синим сентябрьским небом. Где-то внизу, в мире кухни, тикали часы. Чарльз лежал и не сводил глаз со своей руки.

Она ему не принадлежала, по-прежнему оставаясь чем-то чужим.

На улице подул ветер, и в холодное окно застучали листья.

В четыре часа Чарльзу показалось, что его другую руку опалил болезненный жар. Она пульсировала и менялась, клетка за клеткой. Совсем как живое, теплое сердце. Ногти сначала посинели, а потом стали ярко-красного цвета. Превращение заняло около часа. Рука

была похожа на самую обычную левую руку, только больше не была обычной. И перестала быть собственностью Чарльза.

Мальчик полежал некоторое время, охваченный паническим страхом и очарованный одновременно, а потом, окончательно обессиленный, заснул.

В шесть часов мама принесла суп. Чарльз к нему даже не притронулся.

— У меня нет рук, — сказал он, не открывая глаз.

— Твои руки в полном порядке, — попыталась успокоить его мама.

— Нет, — возразил Чарльз и заплакал, — они исчезли. Мне кажется, что на их месте появились обрубки. Мама, мама, обними меня, я боюсь!

Матери пришлось покормить его с ложечки, как маленького.

— Мама, — проговорил Чарльз, — пожалуйста, позвови еще раз доктора. Я очень серьезно болен.

— Доктор придет сегодня вечером, в восемь, — ответила мать и вышла из комнаты.

В семь, когда на дом уже опустились черные тени, Чарльз сидел в постели. Вдруг он почувствовал, как в ногах возникло то же самое ощущение, что он испытал, когда его руки перестали быть его руками.

— Мама, — закричал он, — иди сюда! Скорее!

Однако, когда она пришла, все стихло.

Мать спустилась вниз, а Чарльз просто лежал и больше не пытался сражаться. Ноги отчаянно, ни на минуту не переставая, пульсировали, стали теплыми, потом раскалились докрасна. В комнате было невыносимо жарко от той перемены, что происходила с Чарльзом. Ослепительное сияние затопило пальцы ног, поползло к щиколотке, потом дальше, дальше — к коленям.

— Можно войти? — В дверях стоял улыбающийся доктор.

— Доктор! — крикнул Чарльз. — Быстрее, снимите с меня одеяло!

Доктор послушно приподнял одеяло.

— Ну вот, целый и невредимый. Немножко вспотел. У тебя небольшой жар. Я же велел тебе лежать в постели и не вставать, сорванец. — Доктор несильно ушипнул Чарльза за розовую, влажную щеку. — Лекарство помогло? Твоя рука вернулась к тебе?

— Нет, а теперь то же самое случилось с другой, и с ногами!

— Ну-ну, придется дать тебе еще три таблетки. По одной на каждую конечность. Ну как, годится, мой сладенький персик? — Доктор рассмеялся.

— А они мне помогут? Пожалуйста, пожалуйста, доктор. Чем я болен?

— Слабая форма скарлатины и небольшая простуда.

— Значит, во мне живет микроб, у которого рождается много детей?

— Да.

— А вы уверены, что у меня на самом деле скарлатина? Вы ведь не делали никаких анализов!

— Думаю, я еще в состоянии распознать явный случай скарлатины, — с уверенным видом сказал доктор и принялся считать пульс мальчика.

Чарльз молча лежал до тех пор, пока доктор не начал упаковывать свой черный чемоданчик. В погруzившейся в тишину комнате зазвучал слабый голос мальчика, в глазах загорелся огонек, он что-то вспомнил.

— Когда-то я читал книгу. Про окаменевшие деревья; про то, как дерево превращалось в камень. Внутрь забирались минералы и росли там, а деревья были совсем похожи на деревья, только в действительности они были камнем.

Мальчик замолчал, было слышно только его тяжелое дыхание.

— И что? — спросил доктор.

— Я вот про что думаю, — через некоторое время продолжал Чарльз. — Микроны становятся большими? Когда-нибудь? Знаете, на уроке биологии нам рассказывали про одноклеточных животных, про амебу, ну и все такое, про то, как миллионы лет назад они собрались вместе, и таким образом возникло первое

тело. Все новые и новые клетки объединялись, становились крупнее, и в конце концов на свет появились рыбы, а потом и мы. Получается, будто мы — всего лишь куча клеток, решивших помочь друг другу. Правда? — Чарльз облизнул горячие губы.

— А зачем тебе это? — Доктор наклонился над своим пациентом.

— Я должен вам сказать, доктор, должен! — воскликнул Чарльз. — Что произойдет, ну представьте себе — только представьте, на минутку, — если, как в прежние времена, целая куча микробов соберется вместе, объединится, начнет размножаться, и возникнут новые...

Его белые руки лежали на груди, но вдруг они поползли к горлу.

— И они решат захватить какого-нибудь человека! — выкрикнул Чарльз.

— Захватить человека?

— Да, стать этим человеком. Мной, мои руки, мои ноги! А вдруг болезнь знает, что нужно делать, чтобы убить человека, но самой при этом оставаться в живых?

Он пронзительно завизжал.

Его руки добрались до горла.

Доктор с диким воплем бросился к нему.

В девять часов отец и мать мальчика проводили доктора к машине, отец Чарльза протянул ему чемоданчик. Они постояли немного и поговорили, не обращая внимания на холодный ветер.

— Просто проследите за тем, чтобы руки были постоянно привязаны к телу, — посоветовал доктор родителям мальчика. — Я не хочу, чтобы мальчик причинил себе вред.

— Чарльз поправится, доктор? — Мать несколько секунд не выпускала руку доктора из своей.

Он погладил ее по плечу и сказал:

— Я ведь являюсь вашим семейным врачом вот уже тридцать лет. Всему виной высокая температура. Ему все это просто кажется.

— Но синяки на шее, он же чуть сам себя не задушил!

— Не развязывайте ему руки, а утром все будет в порядке.

Машина укатила по темной, сентябрьской дороге.

В три часа ночи Чарльз все еще спал в своей маленькой, черной детской. Постель под ним была совсем влажной. Ему было очень жарко. У него больше не было ни рук, ни ног, уже начало меняться тело. Он не шевелился, лишь отчаянно сосредоточившись, не спускал глаз с большого, пустого пространства потолка. Некоторое время он кричал и метался, но теперь ослабел и охрип; мать несколько раз вставала и подходила к нему, вытирая сыну лоб влажным полотенцем. Теперь же он молча лежал, словно забыв о связанных руках.

Он чувствовал, как меняется внешняя оболочка его тела, сдвигаются органы, легкие, точно розовый спирт, полыхают огнем. Комнату освещали мечущиеся блики, будто от камина.

Чарльз лишился тела. Оно исчезло. Нет, оно существовало на самом деле, только превратилось в могучие вспышки какого-то обжигающего летаргического вещества. Словно гильотина аккуратно отсекла голову, которая в данный момент лежала на окутанной ночным мраком подушке, в то время как тело, все еще живое, уже принадлежало кому-то другому. Болезнь пожрала тело Чарльза и благодаря этому сумела воспроизвести себя самое в охваченном жаром лихорадки двойнике.

Его руки покрывали знакомые коротенькие волоски, те же ногти на пальцах, все шрамы и даже крошечная родинка на правом бедре — все повторено самым идеальным образом.

«Я умер, — подумал мальчик. — Меня убили, но я живу. Мое тело умерло, превратилось в болезнь — и никто об этом не узнает. Я буду жить среди них; нет, не я... кто-то чужой. Гнусный и злобный, такой отвратительный, что осознать это просто невозможно. Даже

думать страшно. Он будет покупать обувь и пить воду, когда-нибудь женится и, возможно, причинит миру столько зла, сколько до него никто не причинял».

И вот жар пополз по шее, подобрался к щекам; словно горячее вино обожгло губы и веки, которые вспыхнули огнем, будто сухие листья. Из ноздрей начали вырываться языки голубого пламени, потом все меньше, меньше, реже.

«Ну вот и конец, — подумал Чарльз. — Оно заберет мою голову и мозг, и все, что у меня есть в голове, каждый зуб, все до единой волосинки и каждую морщинку на ушах. И тогда от меня ничего не останется».

Его мозг наполнила кипящая ртуть. Левый глаз закрылся сам собой, точно улитка, спрятался в свой домик. Чарльз ослеп на один глаз, который ему уже не принадлежал. Это была вражеская территория. Исчез язык, его отрезали. Онемела левая щека, куда-то пропала. Левое ухо перестало слышать. Теперь оно было собственностью кого-то другого — чудовища, которое появлялось на свет, минерала, поглотившего деревянное полено, болезни, пожравшей здоровые, живые клетки.

Чарльз попытался закричать, взвыл громко и пронзительно в тишине ночи, а в это время его мозг вытекал — куда? Ему вырезали правый глаз и ухо, он ослеп и оглох, все его существо было охвачено пламенем, ужасом, отчаянием и смертью.

Его вопль затих в тот самый момент, когда мать ворвалась в комнату и подскочила к постели.

Было ясное утро, дул легкий ветерок и подгонял доктора в спину, когда он шел по дорожке к дому. Глядя на него из окна, на верхнем этаже стоял полностью одетый мальчик. Он не помахал доктору в ответ и ничего не сказал, когда тот крикнул:

— В чем дело? Уже встал? О Господи!

Доктор бегом помчался вверх по ступенькам лестницы и, тяжело дыша, влетел в детскую.

— Почему ты не в постели? — спросил он у мальчика. Постучал по его худой груди, проверил пульс и

температуру. — Поразительно! Все в норме. В норме, подумать только!

— Я больше никогда в жизни не заболею, — объявил мальчик, тихо стоявший у окна. — Никогда.

— Надеюсь. Ты прекрасно выглядишь, Чарльз.

— Доктор?

— Слушаю тебя.

— А я могу пойти в школу сейчас?

— Завтра будет в самый раз. Тебе не терпится?

— Не терпится. Я люблю школу. Я хочу играть, драться, плеваться, дергать девчонок за косички, пощечину учителю, а потом вытереть пальцы об одежду в гардеробе. А еще я хочу вырасти и отправиться путешествовать и пожимать руки людям, живущим в разных концах света. Я хочу жениться и иметь много детей. Я буду ходить в библиотеки и трогать книги — вот сколько я всего хочу! — сказал мальчик, глядя в окно на улицу, где сентябрь вступил в свои права. — Каким именем вы меня назвали?

— Что? — Доктор был явно удивлен. — Никаким. Только Чарльзом.

— Наверное, это лучше, чем совсем без имени. — Мальчик пожал плечами.

— Я рад, что ты хочешь в школу, — сказал доктор.

— С нетерпением жду, когда вы мне разрешите туда пойти, — улыбнувшись, ответил мальчик. — Спасибо за помощь, доктор. Можно, я пожму вам руку?

— С удовольствием.

В окно врывался прохладный осенний ветерок, а они, не обращая на него внимания, с самым серьезным видом пожимали друг другу руки. Почти целую минуту. Мальчик улыбался старику и благодарил его.

А потом, смеясь, помчался вниз по лестнице и проводил его до машины. Родители последовали за ними; счастливые и довольные, они тоже хотели попрощаться с доктором.

— Здоровехонький! — проговорил доктор. — Поразительно!

— И сильный, — добавил отец. — Ночью он самостоятельно высвободил руки. Правда ведь, Чарльз?

— Да? — переспросил мальчик.

— Именно! Как тебе удалось?

— Ну, — проговорил мальчик, — это было очень давно.

Давно!

Все засмеялись, а пока они смеялись, совершенно спокойный мальчик опустил голую ногу на землю и чуть прикоснулся к веренице красных муравьев, спешивших куда-то по своим делам. У него засияли глаза, когда он осторожно, чтобы не заметили родители, болтавшие с доктором, покосился на муравьев, которые замерли на мгновение, потом задергались, а в следующую минуту замерли в неподвижности на бетонной дорожке. Мальчик почувствовал, что они уже остыли.

— До свидания!

Помахав рукой, доктор уехал.

Мальчик шагал впереди своих родителей. Он посмотрел в сторону города и принял тихонько напевать «Школьные деньки».

— Хорошо, что он снова здоров, — сказал отец.

— Послушай, ему не терпится пойти в школу!

Мальчик повернулся и сжал своих родителей в объятиях, каждого по очереди. И поцеловал по несколько раз.

А потом, не говоря ни слова, взбежал по лестнице в дом.

В гостиной, прежде чем отец и мать успели туда войти, он быстро засунул руку в клетку с канарейкой и погладил желтенькую птичку, всего один разок.

А потом закрыл дверцу, отошел в сторонку и принялся ждать.

ПРИМИРИТЕЛЬНИЦА

Изголовье кровати сияло под солнцем, как фонтан, брызжущий ослепительным блеском. Оно было украшено львами, химерами и сатирами. Кровать внушила благоговейный ужас даже посреди ночи, когда Антонио, развязав ботинки, касался натруженной рукой изголовья и оно вздрогивало как арфа.

— Каждую божью ночь, — раздался голос его жены, — у нас начинает играть этот орган.

Жалоба больно задела его. Он лежал, не решаясь провести огрубевшими пальцами по холодному ажурному металлу. За долгие годы струны этой лиры спели немало прекрасных, пышущих страстью песен.

— Это не орган, — ответил он.

— Но играет-то как самый настоящий орган, — возразила Мария. — Миллионы людей во всем мире спят сейчас в кроватях. А мы чем хуже, Господи!

— Это и есть кровать, — сдержанно произнес Антонио.

Бережно касаясь пальцами медных струн воображаемой арфы, он подбирал какую-то мелодию. Ему казалось, что это «Санта Лючия».

— Эта кровать горбатая, словно под ней спит стадо верблюдов

— Ну что ты, Мамочка, — попытался успокоить ее Антонио. Он всегда называл ее Мамочкой, когда она выходила из себя, хотя детей у них не было. — С тобой

это началось пять месяцев назад, — продолжал он, — когда внизу, у миссис Бранкоци, появилась новая кровать.

— Кровать миссис Бранкоци... — мечтательно проговорила Мария. — Она как снег, вся белая, ровная, мягкая.

— Не хочу я никакого снега, ни белого, ни ровного, ни мягкого! — вскричал он сердито. — Ты только по-пробуй, какие пружины! Они узнают меня, когда я ложусь. Они знают, что сейчас я лежу так, в два часа — этак, в три часа — таким образом, в пять — этаким! Мы сработались за много лет, как акробаты, мы знаем, когда чья очередь делать трюки.

— Иногда мне снится, будто мы попали в конфетницу, что стоит в кондитерской у Бортоле, — сказала со вздохом Мария.

— Эта кровать, — раздался в темноте голос Антонио, — служила нашей семье еще до Гарибальди! Она дала миру целые округа честных избирателей, взвод бравых солдат, двух кондитеров, парикмахера, четырех артистов, исполнявших вторые партии в «Грубадуре» и «Риголетто», двух гениев, таких одаренных, что за всю жизнь они так и не решили, за что взяться! А сколько в нашем роду было прекрасных женщин! Они уже одним своим присутствием украшали все балы. Это не просто кровать, а рог изобилия! Конвейер!

— Уже два года как мы поженились, — с трудом владея собой, сказала Мария. — Где же наши с тобой исполнители вторых партий для «Риголетто», где наши гении, наши красавицы, которые будут украшать балы?

— Терпение, Мамочка!

— Не называй меня «Мамочкой»! Пока эта кровать по ночам ублажает только тебя, а меня она даже дочкой не осчастливила!

Он сел в кровати.

— До чего же тебя довели твои соседки со своей болтовней о том, кто сколько тратит и сколько получает. Есть у миссис Бранкоци дети? Уже пять месяцев как у нее новая кровать.

— Нет. Но скоро будут! Миссис Бранкоци говорит, что... А кровать у нее замечательная!

Он откинулся назад и натянул на себя одеяло. Кровать завиляла, как стая ведьм, пролетающих по ночному небу в предрассветный час.

В окне стояла луна. Тени от рамы на полу с каждым часом становились короче. Антонио проснулся. Марии рядом не было.

Он встал и пошел посмотреть, что делается за полу-закрытой дверью ванной. Перед зеркалом стояла его жена и разглядывала свое усталое лицо.

— Я себя неважно чувствую, — сказала она.

— Мы спорили. — Он с нежностью похлопал ее по плечу. — Извини. А насчет кровати я что-нибудь придумаю. Посмотрю, как у нас с деньгами. Если и завтра тебе будет нехорошо, сходи к доктору, ладно? Ну, пошли спать.

На следующий день после полудня Антонио прямо с работы отправился в магазин, где в витрине стояли отличные новые кровати. Уголки их покрывал были облазнительно откинуты.

— Я — чудовище, — прошептал он себе под нос.

Антонио посмотрел на часы. Сегодня утром Мария была холодна как лед. Сейчас она, наверное, у врача. Он подошел к витрине кондитерского магазина и смотрел, как конфетница растягивает, мнет и нарезает массу для леденцов. «Интересно, а леденцы кричат? — подумал он. — Может, и кричат, только таким тоненьkim голоском, что их не слышно». Он улыбнулся, и тут в растянутой леденцовой массе ему померещилось лицо Марии. Антонио помрачнел, повернулся и пошел обратно, к мебельному магазину. Нет. Да. Нет... Да! Он прижался носом к холодному стеклу витрины. А будет ли моей спине хорошо на этой кровати?

Он не спеша достал бумажник, пересчитал деньги. Вздохнул, бросил долгий взгляд на белоснежное покрывало. В витрине стояла его новая кровать — неразгаданная загадка, таинственный сфинкс. Зажав в руке деньги, он с унылым видом вошел в магазин.

— Мария! — Антонио взлетел по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Было девять вечера, он отпросился со сверхурочной работы на лесном складе и сразу побежал домой. Дверь была открыта. Он вбежал в комнату. На лице у него сияла улыбка.

В квартире было пусто.

— У-у, — протянул он разочарованно. Положил чек на комод, чтобы Мария сразу его заметила. В те редкие вечера, когда он работал допоздна, она гостила у нижних соседей.

«Пойду поищу ее, — решил он, потом передумал. — Нет, скажу наедине». Антонио сел на кровать.

— Старушка-кровать, — сказал он, — прощай. Прости. — Он нетерпеливо постучал пальцами по медным львам. Прошелся по комнате. — Ну где же ты, Мария! — Он представил ее улыбку.

Антонио ждал, что сейчас услышит, как она легко взбегает по лестнице, но вместо этого до него донеслись чьи-то медленные, осторожные шаги. «Нет, моя Мария так не ходит», — подумал он.

Дверная ручка повернулась.

— Мария!

— Ты рано! — сказала она со счастливой улыбкой на лице. Догадывалась ли она? Видно ли было что-нибудь по его лицу? — А я была внизу, — продолжала она звонким голосом, — и всем рассказывала!

— Всем рассказывала?

— Я была у доктора!

— У доктора? — изумился он. — И что же?

— Что? А то, ты — папочка!

— Ты хочешь сказать, я...

— Да, ты — папочка, папочка, папочка!

— О-о, — вырвалось у него, — вот почему ты так осторожно поднималась по лестнице.

Он обнял ее. Не слишком крепко. Расцеловал в обе щеки. И завизжал от радости, зажмурив глаза. Потом поднял с постели соседей и им рассказал, потом, окончательно прогнав у них сон, рассказал все снова. Было

немного вина, вальс, бережные объятия. Он целовал ее брови, веки, нос, губы, виски, уши, волосы, подбородок. Было уже за полночь.

— Чудо! — вздохнул он.

Они опять остались одни в своей комнате, было душно, их веселые, шумные гости ушли. Они опять остались одни.

Антонио уже собирался выключить свет, как вдруг заметил чек на бюро. Озадаченный, он стал думать, как бы потоньше и поделикатнее сообщить ей эту новость.

Мария как завороженная сидела в темноте, на своей половине кровати. Она двигалась, словно была какой-то диковинной куклой, словно ее разобрали и снова собрали по частям. Ее движения были плавны, будто она жила на дне теплого сумрачного моря.

Наконец осторожно, чтобы не сломаться, она легла на подушку.

— Мария, мне надо тебе что-то сказать.

— Да? — отозвалась она чуть слышно.

— Теперь в твоем положении, — он нежно сжал ее руку, — тебе нужна удобная, мягкая кровать.

Она не вскрикнула от радости, не повернулась к нему, не бросилась обнимать.

— Это же орган, фисгармония какая-то, а не кровать.

— Это кровать, — сказала она.

— Да под ней же стадо верблюдов спит?

— Нет, — возразила она тихо, — эта кровать еще даст миру целые округа честных избирателей, командиров, которых хватит на три армии, двух балерин, одного высокого полицейского и семь басов, альтов и сопрано.

Антонио покосился на чек, белевший в темноте на комоде. Пощупал износившийся матрас. Пружины плавно сжались, узнавая хозяина, каждый его мускул, каждую утомленную косточку.

Он вздохнул:

— Мы не будем больше ссориться, моя маленькая.

— Мамочка, — поправила она.

— Мамочка, — повторил Антонио.

Потом он лег, закрыл глаза, натянул на себя одеяло. Рядом, в темноте, был великолепный фонтан. Он лежал под суровыми взглядами свирепых медных львов, на него смотрели янтарные сатиры, хохочущие химеры. Он лежал и прислушивался. И услышал.

Звуки доносились словно издалека, еле слышно, потом яснее, яснее...

Мария держала руку над головой и осторожно подбирала на блестящих медных трубках старинной кровати, на дрожащих струнах арфы какой-то мотив. Это была... Это была... Ну конечно, «Санта Лючия»!

Вытянув губы, он стал напевать: «Санта Лючия! Санта Лючия!»

О, это было восхитительно!

ГОРОД, В КОТОРОМ НИКТО НЕ ВЫХОДИТ

Пересекая Соединенные Штаты ночью или днем на поезде, вы проноситесь мимо череды печальных городишек, где никто и никогда не выходит. Точнее, не выходит никто посторонний. Человеку, не имеющему здесь корней и родных, похороненных на местном кладбище, никогда не придет в голову посмотреть вблизи на пустынную одинокую станцию или полюбоваться унылыми пейзажами.

Я заговорил об этом со своим попутчиком, таким же, как и я, коммивояжером, когда мы мчались по штату Айова на поезде Чикаго—Лос-Анджелес.

— Это точно, — согласился он. — Люди выходят в Чикаго, все до единого. Выходят в Нью-Йорке, Бостоне и Лос-Анджелесе. Те, кто там не живет, приезжают, чтобы увидеть город, а потом рассказать всем своим знакомым. Но чем, скажите на милость, станет любоваться турист в Фокс-Хилле, штат Небраска? Вы или я, например? Нет уж, увольте. Знакомых у меня там нет, дел быть не может, это никакой не курорт, так за каким чертом он мне сдался?

— А вам не кажется, что для разнообразия взять и провести отпуск совсем не так, как всегда, было бы просто восхитительно? Выбрать какую-нибудь деревеньку, затерявшуюся среди равнин, где вы не знаете ни единой души, и, плонув на все, махнуть туда?

— Вы там от тоски умрете.

— Эта идея почему-то совсем не навевает на меня тоску! — Я выглянул в окно. — Какая следующая остановка? Как называется город?

— Рэмпарт.

— Звучит недурно. — Я улыбнулся. — Может быть, я там сойду.

— Вы глупец и врун. Чего вы ищете? Приключений? Романтики? Через десять секунд после того, как поезд скроется из виду, вы начнете проклинать себя самыми разными словами, найдете такси и помчитесь вдогонку за поездом.

— Вполне возможно.

Я наблюдал за телефонными столбами, проносившимися мимо, мимо, мимо... Где-то далеко впереди появились едва различимые очертания города.

— Впрочем, вряд ли, — услышал я собственный голос.

Коммивояжер, сидевший напротив, несколько удивленно на меня взглянул.

Потому что медленно, очень медленно я начал подниматься на ноги. Потянулся за шляпой. Заметил, как моя рука взялась за чемодан.

Я и сам был немало удивлен.

— Подождите! — воскликнул коммивояжер. — Что вы делаете?

Поезд вошел в довольно крутой вираж, и я покачнулся. Теперь уже стали отчетливо видны шпиль церквушки, густой лес и пшеничное поле.

— Похоже, схожу с поезда, — сказал я.

— Сядьте! — возмутился мой попутчик.

— Нет, — ответил я. — В этом приближающемся городе что-то есть. Я должен посмотреть. У меня полно времени. На самом деле мне нужно быть в Лос-Анджелесе только в следующий понедельник. Если я сейчас не сойду с поезда, то до конца жизни буду думать о том, что потерял, упустил и не увидел что-то особенное, а ведь у меня была такая возможность.

— Мы же просто разговаривали! Тут нет ничего особенного.

— Вы ошибаетесь, — возразил я ему. — Тут что-то есть.

Я надел шляпу и взял в руку чемодан.

— Господи, — простонал коммивояжер, — кажется, вы и в самом деле собираетесь это сделать.

Сердце отчаянно колотилось у меня в груди, щеки пылали.

Локомотив подал сигнал. Поезд мчался по рельсам вперед. Город был уже совсем близко!

— Пожелайте мне удачи, — попросил я.

— Удачи! — сказал мой попутчик.

А я с громким криком бросился к проводнику.

К стене здания станции прямо на платформе был приставлен древний облезлый стул. А на нем совершенно расслабленно, так, что он совсем утонул в своей одежде, устроился старик лет семидесяти; казалось, его приколотили гвоздями, когда строили станцию, и он с тех пор тут и сидит. Солнце так долго жгло его лицо, что оно стало почти черным, а щеки превратились в тяжелые, совсем как у ящерицы, складки кожи, — создавалось впечатление, будто он постоянно щурится. Летний ветерок чуть шевелил волосы цвета дымного пепла. Голубая рубашка, расстегнутая у ворота, откуда выглядывали белые пружинистые завитки, невероятно похожие на внутренности часового механизма, по цвету ничем не отличалась от белесого, точно выгоревшего, неба над головой. Ботинки покрылись трещинами и волдырями, словно старик бесконечно и неизменно стоял возле пылающей печи, засунув их, не жалея, в ее огнедышащую пасть. Тень старика, прячущаяся где-то у его ног, была выкрашена в непроглядный мрак.

Когда я вышел на перрон, старик быстро оглядел весь состав, а потом удивленно уставился на меня.

Я решил, что вот сейчас он помашет мне рукой.

Однако в его полуприкрытых глазах что-то промелькнуло, они как будто чуть изменили свой цвет; произошел некий химический процесс — узнавание. Впр

чем, старики по-прежнему сидел неподвижно, ни один мускул лица — ни уголок рта, ни веко — не дрогнул.

Я проследил глазами за отъезжающим поездом. На платформе никого не было. Возле покрытой паутиной, заколоченной досками кассы не стояло никаких машин. Лишь я один, оставив за спиной железный перестук колес, устремился в неизведанное, ступив на расшатанные доски платформы.

Поезд утробно загудел, сообщая всей округе, что он начал взбираться на холм.

«Какой же я дурак! — подумал я. Мой попутчик был совершенно прав. Скука, царящая в этом городке, скука, которую я ощущал всем своим существом, уже навевала на меня ужас. — Ну хорошо, я дурак — согласен. Но бежать отсюда — нет!»

Не глядя на старика, мы с моим чемоданом прошли по платформе. Оказавшись рядом с сидящим, я услышал, как его хрупкое тело снова изменило положение, теперь для того, чтобы я обратил на него внимание. Ноги старика коснулись прогнивших досок платформы.

Я не остановился.

— Добрый день, — донесся до меня едва различимый голос.

Я знал, что он на меня не смотрит, что его глаза подняты к огромному, безоблачному, мерцающему небу.

— Добрый день, — ответил я.

И направился по грязной дороге в сторону города. Ярдов через сто я оглянулся.

Старик по-прежнему сидел на своем стуле, смотрел на солнце, будто задал ему какой-то вопрос и ждал ответа.

Я ускорил шаг.

И оказался в провинциальном солнном городке, днем, один, где никто меня не знал. Я был похож на форель, которая плывет вверх по течению, не касаясь берегов прозрачной реки жизни, несущей свои воды мимо.

Мои подозрения подтвердились: в этом городке никогда и ничего не происходило. Хронология событий здесь примерно такова.

Ровно в четыре часа хлопнула дверь скобяной лавки Хоннегера, из нее вышел пес и принялся валяться в пыли. В четыре тридцать соломинка с хлюпающим звуком коснулась дна опустевшего стакана с лимонадом, да так громко, словно в тишине закусочной разверзлись хляби небесные. Пять часов — мальчишки и мелкие камешки посыпались в городскую речку. Пять пятнадцать — в косых лучах вечернего солнца шеренга муравьев чинно прошагала под старыми вязами.

И все же — я медленно кружил по улицам — здесь обязательно должно быть нечто такое, что необходимо увидеть. Я это знал. Знал, что ни в коем случае не должен останавливаться, главное — старательно смотреть по сторонам. Знал, что обязательно найду, если буду хорошенъко искать.

Я не останавливался. И смотрел по сторонам.

За все время моей прогулки по городку я обратил внимание только на один постоянный, неменяющийся фактор: старик в выгоревших голубых брюках и рубахе всегда был рядом. Когда я зашел в закусочную, он устроился снаружи возле двери и сидел, сплевывая табак, который мгновенно превращался в пыльные шарики, разбегающиеся в разные стороны. А когда я стоял у реки, он присел чуть ниже по течению, изображая, будто моет руки.

Где-то в половине восьмого вечера я уже в восьмой или девятый раз делал обход тихого городка, когда услышал у себя за спиной шаги.

Я оглянулся. Старик меня догонял, он шагал, глядя прямо перед собой, в зубах у него была зажата сухая травинка.

— Давненько, — тихо сказал он.

Мы шли, не останавливаясь, в сгущающихся сумерках.

— Давненько, — продолжал старик, — я жду на платформе.

— Вы? — спросил я.

— Я. — Он кивнул, оставаясь в тени деревьев.

— Вы ждали кого-то на станции?

— Да, — ответил он. — Тебя.

— Меня? — В моем голосе, видимо, прозвучало удивление, которое я испытал. — Почему?.. Вы же меня ни разу в жизни не видели.

— А разве я сказал, что видел? Сказал только, что ждал.

Мы уже были на окраине городка. Стариk повернулся, и я — вслед за ним, на темнеющий берег реки, в сторону насыпи, по которой промчался ночной поезд, направляющийся куда-то на восток, на запад, почти не делающий остановок в пути.

— Хотите что-нибудь про меня узнать? — спросил я. — Вы шериф?

— Да нет, я не шериф. И не хочу про тебя ничего знать. — Стариk засунул руки в карманы. Солнце уже село, стало неожиданно холодно. — Меня просто удивило, что ты в конце концов приехал.

— Удивило?

— Удивило, — сказал он, — и... обрадовало.

Я резко остановился и посмотрел на старика:

— Сколько же вы так просидели на станции?

— Двадцать лет. Ну примерно — чуть больше или чуть меньше.

Я знал, что он говорит правду; его голос шелестел тихо и неспешно, словно вода в реке.

— Вы ждали меня? — переспросил я.

— Или кого-нибудь вроде тебя, — ответил стариk.

Мы шли вперед. Становилось все темнее.

— Как тебе понравился наш город?

— Приятный, тихий.

— Приятный, тихий. — Он кивнул. — А люди понравились?

— Похоже, люди здесь тоже приятные и тихие.

— Вот именно, — согласился стариk. — Приятные и тихие.

Я уже собирался повернуть, но мой попутчик не умолкал, и, чтобы не показаться ему невежливым и выслушать, мне пришлось продолжать идти рядом с ним. Нас окутал глубокий ночной мрак, поскольку мы уже оказались в полях за городом.

— Да, — заявил стариk, — в тот день, когда я вышел на пенсию, двадцать лет назад, я уселся на платформе на станции и с тех самых пор там и сидел — просто так, дожидаясь, когда что-нибудь случится. Я не знал, что это такое будет, не знал, не смог бы сказать, если бы кто меня и спросил. Только был уверен, что, когда оно все-таки произойдет, я сразу все пойму, узнаю. Посмотрю и скажу: «Да, сэр, вот чего я так долго ждал». Крушение поезда? Нет. Моя старая подружка вернулась в город через пятьдесят лет? Нет, нет и нет. Трудно сказать. Я ждал кого-то. Или чего-то. Мне кажется, ты имеешь к этому отношение. Жаль, я не могу...

— А почему бы не попытаться? — предложил я ему.

На небе появились звезды, мы по-прежнему, не останавливаясь, шли вперед.

— Ну, — медленно начал стариk, — тебе известно, что у тебя внутри?

— Вы имеете в виду мой желудок или психологию?

— Вот-вот. Я имею в виду твою голову, мозги. Ты про это много знаешь?

У меня под ногами шуршала трава.

— Кое-что.

— Вы теперь многих ненавидите?

— Не очень.

— Такое происходит со всеми. Ненависть — нормальное явление, правда? И не только ненависть... мы ведь никогда об этом не говорим, но разве нам не хочется причинить страдания тому, кто нас обидел, иногда даже убить его?

— Не проходит и недели, чтобы такое чувство не возникло, — ответил я. — Только мы противостоим ему.

— Всю свою жизнь мы гоним от себя эти мысли, — сказал стариk. — В городе начнутся разговоры, а что скажут мама и папа, что скажет закон? И поэтому ты откладываешь одно убийство, а потом другое, и третье... К тому времени когда достигнешь моего возраста, у тебя за душой накопится уже много всего такого. И если ты не пойдешь на какую-нибудь войну, тебе ни за что не избавиться от тяжести в душе.

— Кое-кто стреляет уток, а иные ставят капканы, — заявил я. — Другие занимаются боксом или борьбой.

— А есть и такие, кто ничего эдакого не делает. Я сейчас говорю про них. Вот я, например. Всю жизнь я засаливал тела, складывал их на лед, чтобы не протухли, — в своей голове, естественно. Иногда ты свирепеешь оттого, что город, в котором живешь, и люди, рядом с которыми живешь, заставляют тебя отказаться от подобных идей. И начинаешь завидовать древним пещерным дикарям — им только и нужно было, что издать воинственный клич, размахнуться дубиной, треснуть кого-нибудь по башке — и все в порядке.

— Что приводит нас к...

— Что приводит нас к следующему выводу: каждый человек в своей жизни хотел бы совершить хотя бы одно убийство, сбросить груз, лежащий у него на плечах, отыграться за все несбытия убийства, за то, что ему не хватило духа поднять руку на своих врагов. Иногда такая возможность представляется. Кто-то побегает дорогу прямо перед носом его машины, а он забывает нажать на тормоз и мчится вперед. Тут никто ничего не докажет. Этот человек даже себе не признается, почему он так поступил. Он просто не успел поставить ногу на педаль тормоза. Но ты и я, мы-то знаем, что произошло на самом деле, не правда ли?

— Да, — согласился я.

Теперь город остался далеко позади. Мы пересекли небольшую речушку по деревянному мосту, совсем рядом с железнодорожной насыпью.

— Так вот, — продолжал старик, глядя в воду, — совершать стоит только идеальное убийство, когда никто не сможет догадаться, кто виноват, почему он это сделал и кто стал жертвой, верно? Лет двадцать назад мне в голову пришла идея. Я думаю об этом не каждый день, даже не каждую неделю. Иногда забываю на целые месяцы. Послушай меня внимательно: здесь останавливается всего один поезд в день, а порой и вовсе ни одного. Если ты хочешь кого-нибудь убить, нужно подождать — может быть, на это уйдут многие годы — человека, который сойдет с поезда просто так, без

всякой на то причины, человека, которого никто в городе не знает и который сам очутился здесь впервые. Сидя на своем стуле на платформе, я понял, что только в этом случае ты можешь подойти к нему и, когда рядом никого не будет, убить, а тело сбросить в реку. Его обнаружат через многие мили вниз по течению. А может, и вовсе не найдут. Никому и в голову не придет искать бедолагу в Рэмпарте. Он ведь туда не собирался. Он ехал в какое-то совсем другое место. Вот какая идея пришла мне в голову лет двадцать назад. И я понял, что узнаю этого человека в ту самую минуту, когда он сойдет с поезда. Узнаю так же уверенно...

Я остановился. Уже совсем стемнело. Луна займет на небе свое место только через час.

— Узнаете? — спросил я.

— Да, — ответил старик. Я заметил, как он поднял голову к звездам. — Ну ладно, что-то я разболтался.

Старик подошел ко мне поближе и взял за локоть. Его рука показалась мне такой горячей, словно, прежде чем прикоснуться ко мне, он подержал ее над печкой. Другая рука, правая, напряженная, сжатая в кулак, оставалась в кармане.

— Пожалуй, пора кончать с разговорами.

Раздался пронзительный крик.

У нас над головами по невидимым рельсам мчался ночной экспресс — взлетел на холм, мимо леса, фермерских домиков, городских строений, полей, канав, лугов, вспаханных земель и водоемов, а потом с диким воем прогрохотал где-то в вышине и исчез. Еще несколько секунд после того, как он скрылся из виду, дрожали, звенели рельсы, потом все стихло.

Старик и я стояли в темноте, не спуская друг с друга глаз. Левой рукой он все еще держал меня за локоть, другая по-прежнему оставалась в кармане.

— А мне можно кое-что сказать? — спросил я наконец.

Он кивнул.

— Про себя. — Мне пришлось помолчать немного, потому что каждый вдох давался с трудом. Я заставил себя снова заговорить. — Забавно получается. Мне ча-

сто приходили в голову точно такие же мысли. Как раз сегодня, в поезде, по дороге в Лос-Анджелес я подумал: как великолепно, как замечательно, как прекрасно это было бы... Дела в последнее время идут неважно. Жена больна. На прошлой неделе умер лучший друг. В мире много войн. А я сам как натянутая струна. Было бы совсем неплохо, даже здорово было бы...

— Что? — спросил старик, так и не убрав руки с моего локтя.

— Сойти с поезда в каком-нибудь маленьком городишке, — ответил я, — где меня никто не знает, положить в карман пистолет, найти кого-нибудь, пристрелить, закопать, а потом вернуться на станцию, сесть в какой-нибудь поезд и вернуться домой. И никто ни за что на свете не догадается, кто это сделал. «Идеальное убийство», — подумал я. И сошел с поезда.

Мы стояли в темноте еще, наверное, минуту и смотрели друг на друга. Может быть, прислушивались к тому, как стучат наши сердца. Очень громко и отчаянно.

Мир подо мной дрогнул. Я сжал кулаки. Я хотел упасть. Хотел закричать совсем как поезд.

Потому что совершенно неожиданно понял, что все сказанное мной не было ложью, сочиненной ради спасения жизни. Все, что секунду назад я поведал этому человеку, — истинная правда.

Теперь я знал, почему вышел на этой станции и бродил по городу. Знал, что искал.

Я услышал тяжелое, быстрое дыхание старика. Он сжимал рукой мой локоть, словно боялся упасть. Он стиснул зубы и наклонился ко мне, а я наклонился к нему. Между нами повисло короткое напряженное молчание, точно перед взрывом.

Наконец он заставил себя заговорить. Я услышал голос человека, раздавленного страшным грузом.

— А откуда мне знать, что у тебя есть пистолет?

— Ниоткуда, — слова прозвучали как-то смазанно. — Вы ничего не можете знать наверняка.

Старик ждал. Мне показалось, что в следующее мгновение он потеряет сознание.

— Так вот, значит, как оно получается? — спросил он.

— Вот так-то оно получается, — ответил я.

Он зажмурился. Сжал губы.

Еще через пять секунд ему удалось — очень медленно, с трудом — оторвать пальцы от моей невыносимо тяжелой руки. Потом он взглянул на свою правую руку и вынул ее из кармана — она была пуста.

Осторожно, напряженно, неуверенно мы отвернулись друг от друга и, ничего не видя, совсем ничего, в темноте ночи зашагали в разные стороны.

Огоньки останавливающегося по требованию пассажиров полуночного экспресса плясали на рельсах. Только когда поезд отошел от станции, я выглянул в дверь пульмановского вагона и посмотрел назад.

Старик сидел на своем месте, на стуле, прислоненном к стене, в выгоревших голубых брюках и рубашке. Его пропечченное солнцем лицо не повернулось в мою сторону, когда поезд пронесся мимо. Его взгляд был устремлен на восток, на пустые рельсы, туда, откуда завтра, или послезавтра, или еще когда-нибудь появится поезд, какой-нибудь, неважно какой, приблизится к станции, замедлит ход, а потом и остановится. Лицо старика ничего не выражало, а бесцветные глаза, словно скованные лютым морозом, смотрели на восток. Казалось, что ему все сто лет.

Поезд взвыл.

Неожиданно почувствовав и себя древним стариком, я прищурился и высунулся из двери.

Теперь нас разделял тот самый мрак, который свел сначала. Старик, станция, городок, лес затерялись в ночи.

Целый час я стоял, слушая вой ветра и глядя назад, в темноту.

ЗАПАХ САРСАПАРЕЛИ

Три дня кряду Уильям Финч спозаранку забирался на чердак и до вечера тихо стоял в полутьме, обдуваемый сквозняком. Ноябрь был на исходе, и три дня мистер Финч простоял так в одиночестве, чувствуя, что само Время тихо, безмолвно осыпается белыми хлопьями с бескрайнего свинцового неба, укрывает холодным пухом крышу и припудривает карнизы. Он стоял неподвижно, смягив веки. Тянулись долгие, серые дни, солнце не показывалось, от ветра чердак ходил ходуном, словно утлая лодка на волнах, скрипел каждой своей косточкой, стряхивал слежавшуюся за десятилетия пыль с балок, с покоробившихся досок и дранки. Все вокруг охало и ахало, стонало и кряхтело, а Уильям Финч стоял и вдыхал сухие тонкие запахи, словно изысканные духи, и приобщался к издавна копившимся здесь сокровищам.

— А-а, — глубокий вдох.

Внизу жена его, Кора, то и дело прислушивалась, но ни разу не слыхала, чтобы он прошел по чердаку, или переступил с ноги на ногу, или шевельнулся. Ей чудилось только, что он шумно дышит там, на продуваемом всеми ветрами чердаке, — медленно, мерно, глубоко, будто работают старые кузнечные мехи.

— Смех да и только, — пробормотала она.

На третий день, когда он торопливо спустился к обеду, с лица его не сходила улыбка — он улыбался

унылым стенам, щербатым тарелкам, исцарапанным ложкам и вилкам и даже собственной жене!

— Чему радуешься? — спросила она.

— Просто настроение хорошее. Отменнейшее! — Он засмеялся.

Он был что-то не в меру весел. Буйная радость бродила и бурлила в нем — того и гляди выплеснется через край. Жена нахмурилась:

— Чем это от тебя пахнет?

— Пахнет? Пахнет? Как так — пахнет? — Финч вскинул седеющую голову.

Жена подозрительно принюхалась.

— Сарсапарелью, вот как.

— Быть этого не может!

Его нервическая веселость разом оборвалась, будто слова жены повернули какой-то выключатель. Он был ошеломлен, растерян и вдруг насторожился.

— Где ты был утром? — спросила Кора.

— Ты же знаешь, прибирал на чердаке.

— Размечтался над старым хламом. Я ни звука не слыхала. Думала, может, тебя там и нету, на чердаке. А это что такое? — Она показала пальцем.

— Вот те на, это еще откуда взялось?

Неизвестно, кому задал Уильям Финч этот вопрос. С величайшим недоумением он уставился на черные металлические велосипедные зажимы, которыми оказались прихвачены его брюки у костлявых щиколоток.

— Нашел на чердаке, — ответил он сам себе. — Помнишь, Кора, как мы катили на нашем тандеме по проселочной дороге? Это было сорок лет назад, рано поутру, и мы были молодые.

— Если ты нынче не управишься с чердаком, я заберусь туда сама и повыкидываю весь хлам.

— Нет-нет! — вскрикнул он. — Я там все разбираю, как мне удобно.

Жена холодно поглядела на него.

За обедом он немного успокоился и опять повеселел.

— А знаешь, Кора, что за штука чердак? — заговорил он с увлечением. — Всякий чердак — это Машина

времени, в ней тупоумные старики, вроде меня, могут отправиться на сорок лет назад, в блаженную пору, когда круглый год безоблачное лето и детишки объедаются мороженым. Помнишь, какое вкусное было мороженое? Ты еще завернула его в платок. Отдавало сразу и снегом, и полотном.

Кора беспокойно поежилась.

«А пожалуй, это возможно, — думал он, полузакрыв глаза, пытаясь вновь все это увидеть и припомнить. — Ведь что такое чердак? Тут дышит само Время. Тут всё связано с прошедшими годами, всё сплошь — куколки и коконы иного века. Каждый ящик и ящичек — словно крохотный саркофаг, где покоятся тысячи вчерашних дней. Да, чердак — это темный уютный уголок, полный Временем, и, если стать по самой середке и стоять прямо, во весь рост, скосив глаза, и думать, думать, и вдыхать запах Прошлого, и, вытянув руки, коснуться Минувшего, тогда — о, тогда...»

Он спохватился: оказывается, что-то, хоть и не все, он подумал вслух. Кора торопливо ела.

— А ведь правда интересно, если б можно было и впрямь путешествовать во Времени? — спросил Уильям, обращаясь к пробору в волосах жены. — И чердак, вроде нашего, самое подходящее для этого место, лучше не сыщешь, верно?

— В старину тоже не все дни были безоблачные, — сказала она. — Просто память у тебя шалая. Хорошее все помнишь, а худое забываешь. Тогда тоже не сплошь было лето.

— В некотором смысле так оно и было.

— Нет, не так.

— Я что́ хочу сказать, — жарко зашептал Уильям и подался вперед, чтобы лучше видеть картину, которая возникла на голой стене столовой. — Надо только ехать на своей одноколеске поаккуратней, удерживать равновесие, балансировать между годами, руки в стороны, осторожно-осторожно, от года к году: недельку провести в девятьсот девятым, денек в девяностом, месячишко или недели две — где-нибудь еще, скажем, в девятьсот

пятым, в восемьсот девяносто восьмом, — и тогда до конца жизни так и не выедешь из лета.

— Что еще за одноколеска?

— Ну знаешь, такой высокий велосипед об одном колесе, весь хромированный, на таких катаются актеры в цирке и жонглируют всякой всячиной. Тут главная хитрость — удерживать равновесие, чтоб не свалиться, и тогда все эти блестящие штуки так и летают в воздухе, высоко-высоко, блещут, сверкают, искрятся, мелькает что-то пестрое — красное, желтое, голубое, зеленое, белое, золотое... над головой у тебя летают в воздухе все эти июни, июли и августы, сколько их было на свете, а ты знай подкидывай их, как мячики, да улыбайся. Вся соль в равновесии, Кора, в рав-но-весии.

— Тра-та-та, — сказала она. — Затараторил, тараторка.

Он вскарабкался по длинной холодной лестнице на чердак, его прорицала дрожь.

Бывали такие зимние ночи, когда он просыпался, продрогнув до костей, ледяные колокола звенели в ушах, мороз щипал каждый нерв, будто вспыхивал внутри колючий фейерверк и рассыпались ослепительно белые искры, и жгучий снег падал на безмолвные потаенные долины подсознания. Было холодно-холодно, так холодно, что и долгое-долгое знойное лето со всеми своими зелеными факелами и жарким бронзовым солнцем не растопило бы сковавший все его существо ледяной панцирь, — понадобилось бы не одно лето, а добрых два десятка. По ночам в постели весь он точно огромная пресная сосулька, снежный истукан, и в нем поднимается выюга бессвязных сновидений, суматоха ледяных кристаллов. А за стенами опустилась вечная зима, над всем нависло низкое свинцово-серое небо и давит людей, точно тяжкий пресс — виноградные гроздья, перемалывает краски и разум и самую жизнь; только дети уцелели и носятся на лыжах, летят на санках с оледенелых гор, в чьих склонах, как в зеркале, отражается этот давящий железный щит и опускается все ниже, ниже — каждый день и каждую нескончаемую ночь.

Уильям Финч откинул крышку чердачного люка. Зато — вот оно! Вокруг него взвилась летняя пыль. Здесь, на чердаке, пыль кипела от жары, сохранившейся с давно прошедших знойных дней. Он тихо закрыл за собой люк.

На губах его заиграла улыбка.

Чердак безмолвствовал, словно черная туча перед грозой. Лишь изредка до Коры сверху доносилось невнятное мужнико бормотанье.

В пять часов пополудни мистер Финч встал на пороге кухни, напевая «О мечты мои златые», взмахнул новехонькой соломенной шляпой и крикнул, будто малого ребенка хотел напугать:

— У-у!

— Ты что, проспал, что ли, весь день? — огрызнулась жена. — Я тебе четыре раза кричала, хоть бы отозвался.

— Проспал? — переспросил он, подумал минуту и фыркнул, но тотчас зажал рот ладонью. — Да, пожалуй, что и так.

Тут только она его разглядела.

— Боже милостивый! Где ты раздобыл это тряпье?

На Уильяме был красный в полоску, точно леденец, сюртук, высокий тугой белый воротничок и кремовые панталоны. А соломенная шляпа благоухала так, словно в воздух подбросили пригоршню свежего сена.

— Нашел в старом сундуке.

Кора потянула носом:

— Нафталином не пахнет. И выглядит как новенький.

— Нет-нет, — поспешно возразил Уильям. Под критическим взором жены ему явно стало не по себе.

— Нашел время для маскарада, — сказала Кора.

— Уж и позабавиться нельзя?

— Только забавляться и умеешь. — Она сердито захлопнула духовку. — Бог свидетель, я сижу дома и вяжу тебе носки, а ты в это время в лавке подхватываешь дам под локоток; можно подумать, они без тебя не найдут, где вход, где выход!

Но Уильям уклонился от ссоры.

— Послушай, Кора... — Он потупился, разглядывая что-то на дне новехонькой, хрустящей соломенной шляпы. — Ведь правда, хорошо бы прогуляться, как мы, бывало, гуляли по воскресеньям? Ты — под шелковым зонтиком, и чтоб длинные юбки шуршали, а потом посидеть в аптеке на стульях с железными ножками, и чтоб пахло... помнишь, как пахло когда-то в аптеке? Почему теперь так не пахнет? И спросить два стакана сарсапарелевой, а потом прокатиться в нашем «форде» девяносто десятого года на Хэннегенскую набережную, и поужинать в отдельном кабинете, и послушать духовой оркестр. Хочешь?

— Ужин готов. И сними эти дурацкие тряпки, хватит шута разыгрывать.

Уильям не отступался:

— Ну а если б можно было так: захотела — и поехала? — сказал он, не сводя с нее глаз. — Поля, дорога обсажена дубами, тихая, совсем как в былые годы, когда еще не носились повсюду эти бешеные автомобили. Ты бы поехала?

— На тех дорогах была страшная пылища. Мы возвращались домой черные, как папуасы. Кстати, — Коря взяла со стола сахарницу и встрихнула ее, — нынче утром у меня тут лежало сорок долларов. А сейчас нету! Уж не заказал ли ты этот костюмчик в театральной мастерской? Он новый, с иголочки, ни в каком сундуке он не лежал!

— Я... — Уильям осекся.

Жена бушевала еще добрых полчаса, но он так и не стал защищаться. Весь дом сотрясался от порывов ноябрьского ветра, и под речи Коры свинцовое, стылое небо опять пошло сыпать снегом.

— Отвечай мне! — кричала она. — Ты что, совсем рехнулся? Ухлопать наши кровные денежки на тряпье, которое и носить-то нельзя!

— На чердаке... — начал Уильям.

Кора, не слушая, ушла в гостиную.

Снег повалил вовсю, стало холодно и темно — настоящий ноябрьский вечер. Кора слышала, как Уильям

снова медленно полез по приставной лестнице на чердак, в это пыльное хранилище Прошлого, в мрачную дыру, где только и есть что старая одежда, подгнившие балки да Время, в чужой, особый мир, совсем не такой, как здесь, внизу.

Он опустил крышку люка. Вспыхнул карманный фонарик — другого спутника ему не надо. Да, ~~но~~ все здесь — Время, собранное, сжатое, точно японский бумажный цветок. Одно прикосновение памяти — и все раскроется, обернется прозрачной росой мысли, внешним ветерком, чудесными цветами — огромными, каких не бывает в жизни. Выдвинь любой ящик комода — и под горностаевой мантией пыли найдешь двоюродных сестриц, тетушек, бабушек. Да, конечно, здесь укрылось Время. Ощущаешь его дыхание — оно разлито в воздухе, это не просто бездушные колесики и пружинки.

Теперь весь дом там, внизу, был так же далек, как любой давно минувший день. Полузакрыв глаза, Уильям опять и опять обводил взглядом затихший в ожидании чердак.

Здесь, в хрустальной люстре, дремали радуги, и ранние утра, и полдни — такие игристые, словно молодые реки, неустанно текущие вспять сквозь Время. Луч фонарика разбудил их, и они ожили и затрепетали, и радуги взметнулись среди теней и окрасили их в яркие цвета — в цвет сливы, и земляники, и винограда, и свежеразрезанного лимона, и в цвет послегрозового неба, когда ветер только-только разогнал тучи и проглянула омытая синева. А чердачная пыль горела и курилась, как ладан, это горело Время — и оставалось лишь взглянуться в огонь. Поистине этот чердак — великолепная Машина времени, да, конечно, так оно и есть! Только тронь вон те граненые подвески да эти дверные ручки, потяни кисти шнурков, зазвени стеклом, подними вихрь пыли, откинь крышку сундука и, точно мехами органа, поработай старыми каминными мехами, пока не запорошит тебе глаза пеплом и золой давно погашенного огня, — и вот, если сумеешь играть на этом старинном инструменте, если обласкаешь каждую частицу этого теплого и сложного механизма, его бесчисленные

рычажки, двигатели и переключатели, тогда, тогда — о, тогда!..

Он взмахнул руками — так будем же дирижировать, торжественно и властно вести этот оркестр! В голове звучала музыка, плотно сомкнув губы, он управлял огромной машиной, громовым безмолвным органом — басы, тенора, сопрано,тише, громче, и вот наконец, наконец, аккорд, потрясающий до самых глубин, — и он закрывает глаза.

Часов в девять вечера жена услышала его зов:
— Кора!

Она пошла наверх. Муж выглядел из чердачного люка и улыбался. Взмахнул шляпой.

— Прощай, Кора!

— Что ты такое мелешь?

— Я все обдумал, я думал целых три дня и хочу с тобой попрощаться.

— Слезай оттуда, дурень!

— Вчера я взял из банка пятьсот долларов. Я давно об этом думал. А когда это случилось, так уж тут... Кора!.. — Он порывисто протянул ей руку. — В последний раз спрашиваю: пойдешь со мной?

— На чердак-то? Спусти лесенку, Уильям Финч. Я влезу наверх и выволоку тебя из этой грязной дыры.

— Я отправляюсь на Хэннегенскую набережную есть рыбную солянку, — сказал Уильям. — И закажу оркестру, пускай сыграют «Над заливом сияет луна». Пойдем, Кора, пойдем...

Его протянутая рука звала.

Кора во все глаза глядела на его краткое, вопрошающее лицо.

— Прощай, — сказал Уильям.

Тихонько-тихонько он помахал рукой. И вот зияет пустой люк — ни лица, ни соломенной шляпы.

— Уильям! — пронзительно крикнула Кора.

На чердаке темно и тихо.

С криком она кинулась за стулом, кряхтя взобралась в эту затхлую темень. Поспешно посветила фонариком по углам.

— Уильям! Уильям!

Темно и пусто. Весь дом сотрясается под ударами зимнего ветра.

И тут она увидела: в дальнем конце чердака, выходящем на запад, приотворено окошко.

Спотыкаясь, она побрела туда. Помешкала, затаив дыхание. Потом медленно отворила окошко. Снаружи к нему приставлена была лесенка, другим концом она упиралась в крышу веранды.

Кора отпрянула.

За распахнутым окном сверкали зеленой листвой яблони, стояли теплые июльские сумерки. С негромким треском разрывались хлопушки фейерверка. Издали доносился смех, веселые голоса. В воздухе вспыхивали праздничные ракеты — алые, белые, голубые, — рассыпались, гасли...

Она захлопнула окно, голова кружилась, она чуть не упала.

— Уильям!

Позади, через отверстие люка в полу, сочился снизу холодный зимний свет. Кора нагнулась — снег, шурша, лизал стекла окон там, внизу, в холодном ноябрьском мире, где ей суждено провести еще тридцать лет.

Она больше не подошла к тому окошку. Она сидела одна в темноте и вдыхала единственный запах, который здесь, на чердаке, оставался свежим и сильным. Он не рассеивался, он медлил в воздухе, точно вздох покоя и довольства. Она вдохнула его всей грудью.

Давний, так хорошо знакомый, незабвенный запах сарсанарели.

ИКАР МОНГОЛЬФЬЕ РАЙТ

Он лежал в постели, а ветер задувал в окно, касался ушей и полуоткрытых губ и что-то нашептывал ему во сне. Казалось, это ветер времени повеял из Дельфийских пещер, чтобы сказать ему все, что должно быть сказано про вчера, сегодня и завтра. Где-то в глубине его существа порой звучали голоса — один, два или десять, а быть может, это говорил весь род людской, но слова, что срывались с его губ, были одни и те же:

— Смотрите, смотрите, мы победили!

Ибо во сне он, они, сразу многие вдруг устремлялись ввысь и летели. Теплое, ласковое воздушное море простипалось под ним, и он плыл, удивляясь и не веря.

— Смотрите, смотрите! Победа!

Но он вовсе не просил весь мир дивиться ему; он только жадно, всем существом смотрел, впивал, вдыхал, осязал этот воздух, и ветер, и восходящую луну. Совсем один он плыл в небесах. Земля уже не сковывала его своей тяжестью.

Но постойте, думал он, подождите!

Сегодня — что же это за ночь?

Разумеется, это канун. Завтра впервые полетит ракета на Луну. За стенами этой комнаты, среди прокаленной солнцем пустыни, в сотне шагов отсюда меня ждет ракета.

Полно, так ли? Есть ли там ракета?

Постой-ка, подумал он и передернулся и, плотно сомкнув веки, обливаясь потом, обернулся к стене и яростно зашептал. Надо наверняка! Прежде всего кто ты такой?

Кто я? — подумал он. Как меня зовут?

Джедедия Прентис, родился в 1938 году, окончил колледж в 1959-м, право управлять ракетой получил в 1965-м. Джедедия Прентис... Джедедия Прентис...

Ветер подхватил его имя и унес прочь! С воплем спящий пытался его удержать.

Потом он затих и стал ждать, пока ветер вернет ему имя. Ждал долго, но была тишина, тысячу раз гулко ударило сердце — и лишь тогда он ощутил в воздухе какое-то движение.

Небо раскрылось, точно нежный голубой цветок. Вдали Эгейское море покачивало белые опахала пены над пурпурными волнами прибоя.

В шорохе волн, набегающих на берег, он расслышал свое имя.

И к а р.

И снова шепотом, легким, как дыхание:

И к а р.

Кто-то потряс его за плечо — это отец звал его, хотел вырвать из ночи. А он, еще мальчишка, лежал, свернувшись, лицом к окну, за окном виднелся берег внизу и бездонное небо, и первый утренний ветерок пошевелил скрепленные янтарным воском золотые перья, что лежали возле его детской постели. Золотые крылья словно ожили в руках отца, и когда сын взглянул на эти крылья и потом за окно, на утес, он ощутил, что и у него самого на плечах, трепеща, прорастают первые перышки.

— Как ветер, отец?

— Мне хватит, но для тебя слишком слаб.

— Не тревожься, отец. Сейчас крылья кажутся неуклюжими, но от моих костей перья станут крепче, от моей крови оживет воск.

— И от моей крови тоже и от моих костей, не забудь: каждый человек отдает детям свою плоть, а они должны обращаться с нею бережно и разумно. Обещай

не подниматься слишком высоко, Икар. Жар солнца может растопить твои крылья, сын, но их может погубить и твое пылкое сердце. Будь осторожен!

И они вынесли великолепные золотые крылья на встречу утру, и крылья зашуршили, зашептали его имя, а быть может, иное, — чье-то имя взлетело, завертелось, поплыло в воздухе, словно перышко.

Монгольфье.

Его ладони касались жгучего каната, яркой простеганной ткани, каждая ниточка нагрелась и обжигала, как лето. Он подбрасывал охапки шерсти и соломы в жарко дышащее пламя.

Монгольфье.

Он поднял глаза — высоко над головой вздувалась, и покачивалась на ветру, и взмывала, точно подхваченная волнами океана, огромная серебристая груша, наполнялась мерцающим током разогретого воздуха, восходившего над костром. Безмолвно, подобная дремлющему божеству, склонилась над полями Франции эта легкая оболочка, и все расправляется, ширится, полнясь раскаленным воздухом, и уже скоро вырвется на волю. И с нею вознесется в голубые тихие просторы его мысль и мысль его брата и поплынет, безмолвная, безмятежная, среди облачных островов, где спят еще неприрученные молнии. Там, в пучинах, не отмеченных ни на одной карте, в бездне, куда не донесется ни птичья песня, ни человеческий крик, этот шар обретет покой. Быть может, в этом плавании он, Монгольфье, и с ним все люди услышат непостижимое дыхание Бога и торжественную поступь вечности.

Он вздохнул, пошевелился, и зашевелилась толпа, на которую пала тень нагретого аэростата.

— Все готово, все хорошо.

Хорошо. Его губы прогнули во сне. Хорошо. Шелест, шорох, трепет, взлет. Хорошо.

Из отцовских ладоней игрушка рванулась к потолку, закружилась, подхваченная вихрем, который сама же подняла, и повисла в воздухе, и они с братом не сводят с нее глаз, а она трепещет над головой, и шуршит, и шелестит, и шепчет их имена.

Р а й т.

И шепот: ветер, небеса, облака, просторы, крылья, полет.

Уилбур? Орвил? Постой, как же так?

Он вздыхает во сне.

Игрушечный геликоптер жужжит, ударяется в потолок — шумящий крылами орел, ворон, воробей, малиновка, ястреб. Шелестящий крылами орел, шелестящий крылами ворон, и, наконец, слетает к ним в руки ветер, дохнувший из лета, что еще не настало, — в последний раз трепещет и замирает шелестящий крылами ястреб.

Во сне он улыбался.

Он устремился в Эгейское небо, далеко внизу остались облака.

Он чувствовал, как, точно пьяный, покачивается огромный аэростат, готовый отиться во власть ветра.

Он ощущал шуршанье песков — они спасут его, упади он, неумелый птенец, на мягкие дюны Атлантического побережья. Планки и распорки легкого каркаса звенели, точно струны арфы, и его тоже захватила эта мелодия.

За стенами комнаты, чувствует он, по каленой глади пустыни скользит готовая к пуску ракета, огненные крылья еще сложены, она еще сдерживает свое огненное дыхание, но скоро ее голосом заговорят три миллиарда людей. Скоро он проснется и неторопливо направится к ракете.

И станет на краю утеса.

Станет в прохладной тени нагревшего аэростата.

Станет на берегу, под вихрем песка, что стучит по ястребиным крыльям «Китти Хоук».

И натянет на мальчишеские плечи и руки, до самых кончиков пальцев, золотые крылья, скрепленные золотым воском.

В последний раз коснется тонкой, прочно сшитой оболочки, — в ней заключено дыхание людей, жаркий вздох изумления и испуга, с нею вознесутся в небо их мечты.

Искрой он пробудит к жизни бензиновый мотор.

И, стоя над бездной, даст отцу руку на счастье — да
будут послушны ему в полете гибкие крылья!

А потом взмахнет руками и прыгнет.

Перережет веревки и даст свободу огромному аэро-
стату.

Запустит мотор, поднимет аэроплан в воздух.

И, нажав кнопку, воспламенит горючее ракеты.

И все вместе, прыжком, рывком, стремительно воз-
носясь, плавно скользя, разрывая, взрезая, пронизывая
воздух, обратив лицо к солнцу, к луне и звездам, они
понесутся над Атлантикой и Средиземным морем, над
полями, пустынями, селеньями и городами; в безмол-
вии газа, в шелесте перьев, в звоне и дрожи того обтяну-
того тканью легкого каркаса, в грохоте, напомина-
ющем извержение вулкана, в приглушенном торопливом
рокоте; порыв, миг потрясения, колебания, а потом —
все выше, упрямо, неодолимо, вольно, чудесно, и каж-
дый засмеется и во весь голос крикнет свое имя. Или
другие имена — тех, кто еще не родился, или тех, что
давно умерли, тех, кого подхватил и унес ветер, пьяня-
щий, как вино, или соленый морской ветер, или без-
молвный ветер, плененный в аэростате, или ветер, рож-
денный химическим пламенем. И каждый чувствует, как
прорастают из плоти крылья, и раскрываются за пле-
чами, и шумят, сверкая ярким опереньем. И каждый
оставляет за собою эхо полета, и звук, подхваченный
всеми ветрами, опять и опять обегает земной шар, и в
иные времена его услышат их сыновья и сыновья сы-
новей, во сне внемля тревожному полуночному небу.

Ввысь и еще ввысь, выше, выше! Весенний разлив,
летний поток, нескончаемая река крыльев!

Негромко прозвенел звонок.

Сейчас, прошептал он, сейчас я проснусь. Еще ми-
нуту...

Эгейское море за окном скользнуло прочь; пески
Атлантического побережья, равнины Франции оберну-
лись пустыней Нью-Мехико. В комнате, возле его дет-
ской постели, не всколыхнулись перья, скрепленные зо-
лотым воском. За окном не качается наполненная жар-
ким ветром серебристая груша, не позванивает на ветру

машина-бабочка с тугими перепончатыми крыльями. Там, за окном, только ракета — мечта, готовая восплюмениться, — ждет одного прикосновения его руки, чтобы взлететь.

В последний миг сна кто-то спросил его имя.

Он ответил спокойно то, что слышал все эти часы, начиная с полуночи:

— Икар Монгольфье Райт.

Он повторил это медленно, внятно — пусть тот, кто спросил, запомнит порядок и не перепутает, и запишет все до последней неправдоподобной буквы.

— Икар Монгольфье Райт.

Родился — за девятьсот лет до Рождества Христова. Начальную школу окончил в Париже в 1783-м. Средняя школа, колледж — «Китти Хоук», 1903. Окончил курс Земли, переведен на Луну с Божьей помощью сего дня 1 августа 1970-го. Умер и похоронен, если посчастливится, на Марсе, в лето 1999-е нашей эры.

Вот теперь можно и проснуться.

Немногие минуты спустя он шагал через пустынное летное поле и вдруг услышал — кто-то зовет, окликает опять и опять.

Он не мог понять, был ли кто-то позади или никого там не было. Один ли голос звал или многие голоса, молодые или старые, вблизи или издалека, нарастал ли зов или стихал, шептал или громко повторял все три его славных новых имени, — этого он тоже не знал. И не оглянулся.

Ибо поднимался ветер — и он дал ветру набрать силу, и подхватить его, и пронести дальше, через пустынью, до самой ракеты, что ждала его там, впереди.

ШЛЕМ

Посылку доставили с полуденной почтой. Мистер Эндрю Лемон потряс ее и сразу же, по звуку, догадался, что там, внутри. Мелькнула мысль об огромном волосатом тарантуле.

Прошло немало времени, прежде чем он собрался с духом, дрожащими пальцами разорвал шелестящие обертки и поднял крышку картонной коробки.

На снежно-белой парчовой подушечке, ощетинившись, лежало *нечто* безликое, этакий лохматый ком из конского волоса, каким набита старая софа.

Эндрю Лемон хихикнул:

— Индейцы приходили *за этим* и уходили, оставляя после себя кровавую память. *Итак, приступим.*

Приложив паричок с подкладкой из новой лакированной кожи к своему голому черепу, он приподнял его, как приподнимают шляпу, чтобы поздороваться с прохожим.

Паричок сидел как влитой, скрыв аккуратную, размером с монету, дырку, уродовавшую верхнюю часть лба. Эндрю Лемон, взглянув на странного человека, отразившегося в зеркале, издал восторженный вопль.

— Эй, ты кто такой? Лицо вроде знакомое, но, ей-же-ей, пройдешь мимо и не оглянешься! А почему? Потому что теперь *этого* больше нет! Проклятая дыра исчезла, никто и не подумает, что она когда-то укра-

шала мой лоб! С Новым годом вас, мужчина, да, вот именно — с Новым годом!

И он, улыбаясь, кругами заходил по комнатке, раздираемый желанием выйти на улицу, но страшась распахнуть дверь и удивить мир. Он походил перед зеркалом, искоса поглядывая на незнакомца, снувшего за поверхностью стола, и всякий раз, встречаясь с ним глазами, смеялся и тряс головой от радости. Затем сел в кресло-качалку и, ухмыляясь, покачался, перелистывая номера «Дикого Запада» и «Захватывающих фильмов». Но не смог удержаться, чтобы не провести правой дрожащей рукой по лицу, постепенно подбирайсь к краешку хрустящей осоки, нависшей над его ушами.

— Разреши угостить тебя, парень!

Он распахнул покрытую пятнышками дверцу аптечки и трижды глотнул из горлышка. На глаза набежали слезы, и он хотел уже было отрезать кусок жевательного табака, как вдруг остановился, прислушиваясь.

За дверью, в темном коридоре, раздался едва различимый шорох, словно мышь пробежала по истертой ковровой дорожке.

— Мисс Фремвелл, — пояснил он своему отражению в зеркале.

В одно мгновение паричок был содран с головы и брошен обратно в коробку. Лемон, покрывшись холодным потом, захлопнул крышку, не в силах вынести даже звука шагов этой женщины, двигавшейся мимо, словно летний ветер.

На цыпочках мужчина прокрался к запертой двери, ведущей в смежную комнату, и склонил голую, яростно полыхающую от возбуждения голову. Он услышал, как мисс Фремвелл вошла к себе в комнату и принялась готовить себе ужин, позвякивая фаянсовой посудой, ножами и вилками. Затем отошел от запертой на задвижку, засов и замок, да еще и забитой намертво четырехдюймовыми гвоздями двери. Мужчина вспомнил о ножах, когда просыпался в своей одинокой постели, представляя, как она вытаскивает гвозди, откидывает засов, отодвигает задвижку... И как после подобных

мыслей ему требовалось минут сорок, чтобы снова погрузиться в сон.

Теперь еще около часа она будет шелестеть в своей комнате. Наступит темнота. На небо высыплют звезды, когда он постучит к ней и спросит, не хочет ли она посидеть на крыльце или прогуляться в парке. И тогда, если она захочет узнать о его третьем, слепом глазе, то ей придется вот так, плавно и мягко, провести ручкой по его голове. Но ее маленькие беленькие пальчики никогда не подберутся к шраму души его ближе чем на тысячу миль, и он так и останется для нее, словно, ну словно... вон те осины на лице луны. Пальцем ноги он взлохматил номер «Удивительной Научной Фантастики» и фыркнул. Быть может, если она начнет фантазировать по этому поводу — ведь каждый хотя бы раз в жизни написал песенку или стишок? — то ей представится, как давным-давно на него налетел метеор, стукнул по лбу и исчез в таких далях, где нет ни кустов, ни деревьев, только пустота. Он снова фыркнул и покачал головой. Возможно, возможно. Но что она подумает, станет ясно только на закате.

Эндрю Лемон подождал еще час, изредка поплевывая из окошка в теплую летнюю ночь.

— Восемь тридцать. Пора идти.

Он распахнул дверь в холл и на мгновение задержался, оглянувшись на скрывающийся в коробке паричок — новый, отличный паричок. Нет, пока он еще не мог выйти в нем на люди.

Он прошел по коридору к дверям мисс Наоми Фремвелл, таким тонюсеньким, что, казалось, сквозь эту перегородку можно услышать биение ее сердца.

— Мисс Фремвелл, — прошептал он.

Он захотел взять ее, словно птичку, в свои большие ковшобразные руки и тихонько поговорить. А она будет молчать. Но, вытирая пот, внезапно набежавший на лоб, он вновь наткнулся на впадину и только в самый последний момент удержался, а то бы рухнул на дверь, задыхаясь от крика, ввалился в чужую комнату! Он приложил руку ко лбу, пытаясь скрыть зияющую пустоту. И ему стало страшно, он ни за что не хотел

опускать ладонь. Все изменилось. Только что он боялся ввалиться в комнату, а теперь испугался, что нечто ужасное, тайное, личное может вырваться из-за этой двери и захлестнуть его.

Свободной рукой он еще раз царапнул по панели, словно стирая въевшуюся пыль.

— Мисс Фремвелл?

Он немного отступил, пытаясь определить, сколько ламп зажжено у нее в комнате. Ведь свет от них может ударить ему в лицо в тот момент, когда она распахнет дверь, отбросить его руку и обнажить зияющую рану. И тогда она будет внимательно, как в замочную скважину, смотреть в нее, разглядывая его жизнь.

Сквозь щель под дверью пробивался тусклый свет одной лампы.

Он сжал пальцы в кулак и трижды опустил его на дверь мисс Фремвелл.

Створка распахнулась и медленно отошла вбок.

Позже, сидя на веранде, в лихорадочном бесчувствии переставляя ноги, потея, он попытался набраться храбрости и завести разговор о женитьбе. Когда луна поднялась в полный рост, дыра на его голове стала выглядеть как тень от листа. Если он постарается держаться к ней в профиль, то кратер и вовсе не будет заметен: он растворится в черноте обратной стороны его лица. Но, повернувшись боком, Эндрю Лемон понял, что половина его словарного запаса бесследно испарились, а сам он превратился в какой-то пень.

— Мисс Фремвелл, — выдавил из себя Эндрю Лемон.

— Да? — Она смотрела сквозь него.

— Мисс Наоми, я думаю, что до последнего времени вы меня совсем не замечали.

Она ждала. Он продолжил:

— Но я-то вас видел. Дело в том, что, ну-у, сейчас я должен наконец сказать вам все до конца. Мы с вами сидим здесь, на этом крыльце, в течение последних нескольких месяцев. Я хочу сказать, что теперь мы знаем друг друга довольно неплохо. Конечно, вы на

целых пятнадцать лет моложе, но я хотел бы спросить: что вы скажете, если мы объявили о нашей помолвке?

— Спасибо вам большое, мистер Лемон, — сказала она быстро и вежливо. — Но я...

— О, понимаю! Я понимаю! Это все из-за моей головы, все из-за этой проклятой штуки!

Она посмотрела на его профиль в неверном свете луны.

— Нет, мистер Лемон, я бы так не сказала, то есть я бы сказала, что *это* здесь вовсе ни при чем. Я, разумеется, не слепая, но вряд ли *это* может стать действительной помехой. Моя подруга, очень близкая, кстати, вышла замуж за человека с деревянной ногой. Так после она рассказывала мне, что некоторое время вообще об этом не подозревала.

— Все из-за этой проклятущей дыры! — горько воскликнул мистер Лемон. Он вытащил плитку прессованного табака, прикинул, удобно ли будет куснуть разочек, передумал и убрал ее в карман. Руки его сжались в кулаки, и он уныло уставился на них, словно на две каменных глыбы. — Ну что же, я расскажу вам об этом все, мисс Наоми. Я расскажу, как все произошло.

— Если не хочется — тогда лучше не надо.

— Когда-то я был женат, мисс Наоми. Я был женат, черт побери! И вот в один прекрасный день моя женушка взяла молоток и просто-напросто ударила меня прямо по лбу!

Мисс Фремвелл задохнулась. Словно тот давний удар настиг ее сейчас.

Мистер Лемон рубанул кулаком теплый вечерний воздух.

— Да, мэм, она стукнула меня прямо в лоб, вот так. И мир взорвался, уверяю вас! Все обрушилось; так здание обращается в руины. Один-единственный ударчик похоронил меня! Что боль? Это не поддается описанию!

Мисс Фремвелл углубилась в себя. Она закрыла глаза и принялась размышлять, покусывая губы. Затем сказала:

— Бедный, бедный мистер Лемон.

— Она сделала это так спокойно, — в смятении произнес мистер Лемон. — Она просто встала надо мной, когда я лежал на кушетке, было два часа пополудни, вторник, и сказала: «Эндрю, проснись!» Я открыл глаза, посмотрел на нее, и все, и она ударила меня молотком. О Боже!

— Но почему? — спросила мисс Фремвелл.

— Да просто так, действительно: *просто так*. Ох, до чего же невыносимая была женщина!

— Но почему ей взбрело в голову сделать это?

— Я же говорю вам: *просто так*.

— Она что, была сумасшедшей?

— Вполне возможно. О да, даже наверняка.

— И вы подали на нее в суд?

— Да нет, не стал. В конце концов, она же не сообщала, что делает.

— Вы потеряли сознание?

Мистер Лемон задумался, в его мозгу вырисовывалась картинка — настолько четкая и навязчивая, что ему не оставалось ничего другого, как облечь ее в слова.

— Нет, я помню, как встал. Я встал и сказал ей: «Что же ты делаешь?» — и потом заковылял в ее сторону. Там было зеркало. Я увидел дыру в голове, глубокую-глубокую, и кровь, вытекающую из нее ручьем. Я стал похож на жертву индейца. А она, моя жена, просто стояла. Потом закричала от ужаса, уронила молоток и выбежала.

— И после этого вы упали в обморок?

— Нет, не упал. Каким-то образом я вышел на улицу и промычал, что мне нужен врач. Потом сел в автобус, представляете себе, в автобус! Да еще заплатил за проезд! И попросил высадить меня возле какой-нибудь больницы. Тут все как закричат, представляете? Потом я отключился, а очнувшись, понял, что над раной колдует врач, прочищает ее, копается там.

Он поднял руку, и его пальцы запорхали над раной, ощупывая ее со всех сторон, — так язык дотрагивается до пустого места, на котором совсем недавно рос отличный, здоровый зуб.

— Аккуратная работа. Доктор смотрел на меня так, словно я — без минуты покойник.

— И сколько же дней вы провели в больнице?

— Два. Потом встал и принялся бродить, чувствуя себя непонятно как. А в это время жена упаковала свои вещички и улепетнула.

— Боже мой, Боже мой, — вновь обретя дыхание, произнесла мисс Фремвелл. — Мое сердце стучит как сумасшедшее. Я словно бы все это вижу, слышу, чувствую. Почему, почему, ну *почему же* она так поступила?

— Я говорил вам: не вижу никакой причины. Просто спятила, так я думаю.

— Но, может, была какая-нибудь ссора?!

Кровь прихлынула к щекам мистера Лемона. Он почувствовал, что дыра на лбу заполыхала, словно жерло вулкана.

— Да не было никакой ссоры, просто сидел совершенно спокойно, вот как сейчас. Днем я люблю сидеть, сняв башмаки, расстегнув рубашку...

— Может... может, у вас была другая женщина?

— Нет, никогда, ни одной!

— А вы не... выпивали?

— Нет, так, иногда, капельку; знаете, как это приятно...

— В карты играли?

— Нет, нет, нет!

— Но дыра у вас в голове, мистер Лемон?! Ее что же — просто так проделали, из-за ничего?!

— Вы, женщины, похожи друг на друга. Обязательно подавай вам какую-нибудь гадость! Говорю вам — не было никакой причины. Она просто обожала молотки.

— А что она сказала перед тем, как вас стукнуть?

— Только «Эндрю, проснись» — и все.

— А перед этим?

— Да ничего. Ну, то есть она говорила что-то насчет магазинов, что ей нужно сделать кое-какие покупки, но я сказал, что слишком жарко. Что я лучше полежу, потому как не очень хорошо себя чувствую для

подобного похода. Но ее не заботило мое самочувствие. Она просто психанула, а затем, с часок об этом поразмышляв, схватила молоток и сделала из моей головы яичницу. Я думаю, это погода так на нее повлияла.

Мисс Фремвелл задумчиво сидела в тени, расчерченной квадратами решетки, потихоньку поводя бровями.

— И как долго вы были женаты?

— Год. Помню, что поженились мы в июле и тогда же я захандрил.

— Захандрили?

— Я никогда не был особенно здоровым человеком. Работал в гараже. Вот там-то и подхватил поясничные боли и не мог больше работать, а лежал целыми днями на кушетке. А Элли, она служила в Первом Национальном банке.

— Все ясно, — сказала мисс Фремвелл.

— Что?

— Ничего.

— Со мной вообще-то легко ужиться. Я попросту не болтаю. Характер мягкий, спокойный. Деньги зря не трачу — экономлю. Даже Элли признавала это. А еще не люблю ссор. Иногда Элли выпячивала челость и начинала меня заводить, словно кидая мячик, но я не возвращал подобные подачи. Сидел и молчал. Я отнoшусь к этому просто. Что за польза, если все время шебуршиться и чесать языком, не так ли?

Мисс Фремвелл посмотрела на лоб мистера Лемона при лунном свете. Губы ее задвигались, но он не расстал ее слов.

Внезапно она вскочила на ноги, глубоко вздохнула и, оглядевшись вокруг, заморгала, словно удивляясь тому, что за стеклами веранды существует мир.

Некоторое время дорожные звуки были почти не слышны, и тут их словно кто-то включил. Мисс Фремвелл со стоном вздохнула.

— Как вы сами только что сказали, мистер Лемон, чесание языков вас никуда не приведет.

— Правильно! — воскликнул он. — Я человек спокойный, неразговорчивый...

Но мисс Фремвелл не смотрела на него, рот ее кривился. Увидев это, он замолчал.

Вечерний ветерок раздул ее платье и рукава его рубашки.

— Уже поздно, — сказала мисс Фремвелл.

— Но сейчас всего девять часов!

— Завтра мне рано вставать.

— Но вы так и не ответили на мой вопрос, мисс Фремвелл.

— На вопрос? — Она моргнула. — Ах да, на вопрос. — Она поднялась с плетеного стульчика и попыталась на ощупь отыскать ручку-кнопку от входной двери. — Мне необходимо хорошенько обдумать все сказанное вами, мистер Лемон.

— Но я же прав! Вся эта болтовня ни к чему хорошему не ведет!

Дверь закрылась. Он слышал, как девушка проходит по темному теплому холлу, и часто-часто дышал, чувствуя на лбу свой третий глаз — глаз, которому никогда не прозреть.

Он ощутил, как в грудной клетке зашевелилось нечто смутное, словно там поселилась болезнь от затянувшейся беседы. А затем, вспомнив о новой белой подарочной коробке, ожидающей его прихода на столе, заспешил к себе. Открыл дверь и направился к своей комнате. Войдя, он чуть было не растянулся, поскольку нувшись на номере «Романтических сказок». Лемон торопливо включил свет, несколько неуклюже открыл коробку, заулыбался и поднял паричок с подушек. Он стоял перед зеркалом и, следя инструкциям, поправлял и подтыкал свой шлем. Причесался, затем вышел из комнаты и постучал в дверь мисс Фремвелл.

— Мисс Наоми? — позвал он, улыбаясь.

При звуке его голоса лампа за дверью погасла.

Еще не веря, он приник к темной замочной скважине.

— Мисс Наоми? — повторил он торопливо.

Но в комнате ничего не изменилось. По-прежнему было темно. Чуть погодя он подергал дверную ручку.

Она не поддалась. Он услышал вздох мисс Фремвэлл и несколько слов, но ничего не разобрал. Ее маленькие ступни прошлепали к двери.

Включился свет.

— Да? — сказала она.

— Посмотрите на меня, мисс Наоми, пожалуйста, — умолял он. — Откройте дверь и посмотрите.

Звякнула задвижка, и дверь приоткрылась на дюйм. Его внимательно осмотрели.

— Посмотрите, — произнес мистер Лемон гордо, натянув паричок на вмятину. Он представил, что видит себя отраженным в ее зеркале, и приосанился. — Вы только посмотрите сюда, мисс Фремвэлл.

Щель немного увеличилась, но дверь тотчас же хлопнула; щелкнула задвижка, и девушка за тонкой преградой бесстрастно приговорила его:

— А голова-то у вас, я гляжу, все-таки дырявая.

БЫЛИ ОНИ СМУГЛЫЕ И ЗОЛОТОГЛАЗЫЕ

Pакета остывала, обдуваемая ветром с лугов. Щелкнула и распахнулась дверца. Из люка выступили мужчина, женщина и трое детей. Другие пассажиры уже уходили, перешептываясь, по марсианскому лугу, и этот человек остался один со своей семьей.

Волосы его трепетали на ветру, каждая клеточка в теле напряглась, чувство было такое, словно он очутился под колпаком, откуда выкачивают воздух. Жена стояла на шаг впереди, и ему казалось — сейчас она улетит, рассеется как дым. И детей — пушинки одуванчика — вот-вот разнесет ветрами во все концы Марса.

Дети подняли головы и посмотрели на него — так смотрят люди на солнце, чтоб определить, что за пора настала в их жизни. Лицо его застыло.

— Что-нибудь не так? — спросила жена.

— Идем назад в ракету.

— Ты хочешь вернуться на Землю?

— Да. Слушай!

Дул ветер, будто хотел развеять их в пыль. Кажется, еще миг — и воздух Марса высосет его душу, как всасывают мозг из кости. Он словно погрузился в какой-то химический состав, в котором растворяется разум и сгорает прошлое.

Они смотрели на невысокие марсианские горы, привавленные тяжестью тысячелетий. Смотрели на древ-

ние города, затерянные в лугах, будто хрупкие детские косточки, раскиданные в зыбких озерах трав.

— Выше голову, Гарри, — сказала жена. — Отступать поздно. Мы пролетели шестьдесят с лишком миллионов миль.

Светловолосые дети громко закричали, словно бросая вызов высокому марсианскому небу. Но отклика не было, только быстрый ветер свистел в жесткой траве.

Похолодевшими руками человек подхватил чено-даны.

— Пошли.

Он сказал это так, будто стоял на берегу и надо было войти в море и утонуть.

Они вступили в город.

Его звали Гарри Битеринг, жену — Кора, детей — Дэн, Лора и Дэвид. Они построили себе маленький белый домик, где приятно было утром вкусно позавтракать, но страх не уходил. Непрошеный собеседник, он был третьим, когда муж и жена шептались за полночь в постели и просыпались на рассвете.

— У меня знаешь какое чувство? — говорил Гарри. — Будто я крупинка соли и меня бросили в горную речку. Мы здесь чужие. Мы — с Земли. А это Марс. Он создан для марсиан. Ради всего святого, Кора, давай купим билеты и вернемся домой!

Но жена только головой качала:

— Рано или поздно Земле не миновать атомной бомбы. А здесь мы уцелеем.

— Уцелеем, но сойдем с ума!

«Тик-так, семь утра, вставать пора!» — пел будильник.

И они вставали.

Какое-то смутное чувство заставляло Битеринга каждое утро осматривать и проверять все вокруг, даже теплую почву и ярко-красные герани в горшках, он словно ждал — вдруг случится неладное?! В шесть утра ракета с Земли доставляла свеженькую, с пылу с жару газету. За завтраком Гарри просматривал ее. Он старался быть общительным.

— Сейчас все — как было в пору заселения новых земель, — бодро рассуждал он. — Вот увидите, через десять лет на Марсе будет миллион землян. И большие города будут, и все на свете! А говорили — ничего у нас не выйдет. Говорили, марсиане не простят нам вторжения. Да где ж тут марсиане? Мы не встретили ни души. Пустые города нашли, это да, но там никто не живет. Верно я говорю?

Дом захлестнуло бурным порывом ветра. Когда перестали дребезжать оконные стекла, Битеринг трудно глотнул и обвел взглядом детей.

— Не знаю, — сказал Дэвид, — может, кругом и есть марсиане, да мы их не видим. Ночью я их вроде слышу иногда. Ветер слышу. Песок стучит в окно. Я иногда пугаюсь. И потом в горах еще целы города, там когда-то жили марсиане. И, знаешь, папа, в этих городах вроде что-то прячется, кто-то ходит. Может, марсианам не нравится, что мы сюда заявились? Может, они хотят нам отомстить?

— Чепуха! — Битеринг поглядел в окно. — Мы народ порядочный, не свиньи какие-нибудь. — Он посмотрел на детей. — В каждом вымершем городе водятся привидения. То бишь воспоминания. — Теперь он неотрывно смотрел вдаль, на горы. — Глядишь на лестницу и думаешь: а как по ней ходили марсиане, какие они были с виду? Глядишь на марсианские картины и думаешь: а на что был похож художник? И воображаешь себе этакий маленький призрак, воспоминание. Вполне естественно. Это все фантазия. — Он помолчал. — Надеюсь, ты не забирался в эти развалины и не рыскал там?

Дэвид, младший из детей, потупился:

— Нет, папа.

— Смотри, держись от них подальше. Передай-ка мне варенье.

— А все-таки что-нибудь да случится, — сказал Дэвид. — Вот увидишь!

Это случилось в тот же день.

Лора шла по улице неверными шагами, вся в слезах. Как слепая, шатаясь, взбежала на крыльцо.

— Мама, папа... на Земле война! — Она громко всхлипнула. — Только что был радиосигнал. На Нью-Йорк упали атомные бомбы! Все межпланетные ракеты взорвались. На Марс никогда больше не прилетят ракеты, никогда!

— Ох, Гарри! — миссис Битеринг пошатнулась и ухватилась за мужа и дочь.

— Это верно, Лора? — тихо спросил Битеринг.

Девушка заплакала в голос:

— Мы пропадем на Марсе, никогда нам отсюда не выбраться!

И долго никто не говорил ни слова, только шумел предвечерний ветер.

Одни, думал Битеринг. Нас тут всего-то жалкая тысяча. И нет возврата. Нет возврата. Нет. Его бросило в жар от страха, он обливался потом, лоб, ладони, все тело стало влажным. Ему хотелось ударить Лору, закричать: «Неправда, ты лжешь! Ракеты вернутся!» Но он обнял дочь, погладил по голове и сказал:

— Когда-нибудь ракеты все-таки прорвутся к нам.

— Что ж теперь будет, отец?

— Будем делать свое дело. Возделывать поля, растить детей. Ждать. Жизнь должна идти своим чередом, а там война кончится, и опять прилетят ракеты.

На крыльце поднялись Дэн и Дэвид.

— Мальчики, — начал отец, глядя поверх их голов, — мне надо вам кое-что сказать.

— Мы уже знаем, — сказали сыновья.

Несколько дней после этого Битеринг часами бродил по саду, в одиночку борясь со страхом. Пока ракеты плели свою серебряную паутину меж планетами, он еще мог мириться с Марсом. Он твердил себе: если захочу, завтра же куплю билет и вернусь на Землю.

А теперь серебряные нити порваны, ракеты валяются бесформенной грудой оплавленных металлических каркасов и перепутанной проволоки. Люди Земли

покинуты на чужой планете, среди смуглых песков, на пьянящем ветру; их жарко позолотит марсианское лето и уберут в житницы марсианские зимы. Что станется с ним и с его близкими? Марс только и ждал этого часа. Теперь он их пожрет.

Сжимая трясущимися руками заступ, Битеринг опустился на колени возле клумбы. Работать, думал он, работать и забыть обо всем на свете.

Он поднял глаза и посмотрел на горы. Некогда у этих вершин были гордые марсианские имена. Земляне, упавшие с неба, смотрели на марсианские холмы, реки, моря — у всего этого были имена, но для пришельцев все оставалось безымянным. Некогда марсиане возвели города и дали названия городам; восходили на горные вершины и дали названия вершинам; плавали по морям и дали названия морям. Горы рассыпались, моря пересохли, города обратились в развалины. И все же земляне втайне чувствовали себя виноватыми, когда давали новые названия этим древним холмам и долинам.

Но человек не может жить без символов и ярлычков. И на Марсе все называли по-новому.

Битерингу стало очень, очень одиноко — до чего же не ко времени и не к месту он здесь, в саду, до чего нелепо в чужую почву, под марсианским солнцем сажать земные цветы!

Думай о другом. Думай непрестанно. О чем угодно. Лишь бы не помнить о Земле, об атомных войнах, о погибших ракетах.

Он был весь в испарине. Огляделся. Никто не смотрит... Снял галстук. Ну и нахальство, подумал он. Сперва пиджак скинул, теперь галстук. Он аккуратно повесил галстук на ветку персикового дерева — этот саженец он привез из штата Массачусетс.

И опять он задумался об именах и горах. Земляне переменили все имена и названия. Теперь на Марсе есть Хормелские долины, моря Рузвельта, горы Форда, плоскогорья Вандербилта, реки Рокфеллера. Неправильно это. Первопоселенцы в Америке поступали мудрее, они оставили американским равнинам имена, кото-

рые дали им в старину индейцы: Висконсин, Миннесота, Айдахо, Огайо, Юта, Милуоки, Уокеган, Оссео. Древние имена, исполненные древнего значения.

Расширенными глазами он смотрел на горы. Может быть, вы скрываетесь там, марсиане? Может быть, вы — мертвецы? Что ж, мы тут одни, от всего отрезаны. Сойдите с гор, гоните нас прочь! Мы — бессильны!

Порыв ветра осыпал его дождем персиковых лепестков.

Он протянул загорелую руку и вскрикнул. Коснулся цветов, собрал в горсть. Разглядывал, вертел и так и эдак.

Потом закричал:

— Кора!

Она выглянула в окно. Муж бросился к ней:

— Кора, смотри!

Жена повертела цветы в руках.

— Ты видишь? Они какие-то не такие. Они изменились. Персик цветет не так!

— А по-моему, самые обыкновенные цветы, — сказала Кора.

— Нет, не обыкновенные. Они неправильные! Не пойму, в чем дело. Лепестком больше, чем надо, или, может, лист лишний, цвет не тот, пахнут не так, не знаю!

Выбежали из дома дети и в изумлении остановились: отец метался от грядки к грядке, выдергивал редис, лук, морковь.

— Кора, иди посмотри!

Лук, редис, морковь переходили из рук в руки.

— И это, по-твоему, морковь?

— Да... нет. Не знаю, — растерянно отвечала жена.

— Все овощи стали какие-то другие.

— Да, пожалуй.

— Ты и сама видишь, они изменились! Лук — не лук, морковка — не морковка. Попробуй: вкус тот же и не тот. Понюхай — и пахнет не так, как прежде. — Битеринга обуял страх, сердце колотилось. Он впился пальцами в рыхлую почву. — Кора, что же это? Что же это делается? Нельзя нам тут оставаться. — Он бегал

по саду, ощупывал каждое дерево. — Смотри, розы! Розы... они стали зеленые!

И все стояли и смотрели на зеленые розы.

А через два дня Дэн прибежал с криком:

— Идите поглядите на корову! Я доил ее и увидал.

Идите скорей!

И вот они стоят в хлеву и смотрят на свою единственную корову.

У нее растет третий рог.

А лужайка перед домом понемногу, незаметно окрашивалась в цвет весенних фиалок. Семена привезены были с Земли, но трава росла нежно-лиловая.

— Нельзя нам тут оставаться, — сказал Битеринг. — Мы начнем есть эту дрянь с огорода и сами превратимся невесть во что. Я этого не допущу. Только одно и остается — сжечь эти овощи!

— Они же не ядовитые.

— Нет, ядовитые. Очень тонкая отрава. Капелька яду, самая капелька. Нельзя это есть.

Он в отчаянии оглядел свое жилище.

— Дом — и тот отравлен. Ветер что-то такое с ним сделал. Воздух сжигает его. Туман по ночам разъедает. Доски все перекосились. Человеческие дома такие не бывают.

— Тебе просто мерещится!

Он надел пиджак, повязал галстук.

— Пойду в город. Надо скорей что-то предпринять. Сейчас вернусь.

— Гарри, постой! — крикнула вдогонку жена.

Но его уже и след простыл.

В городе на крыльце бакалейной лавки уютно сидели в тени мужчины, сложив руки на коленях; неторопливо текла беседа.

Будь у Битеринга револьвер, он бы выстрелил в воздух.

«Что вы делаете, дурачье! — думал он. — Рассиживаетесь тут как ни в чем не бывало. Вы же слышали — мы застряли на Марсе, нам отсюда не выбраться. Очнитесь, делайте что-нибудь! Неужели вам не страшно? Неужели не страшно? Как вы станете жить дальше?»

- Здорово, Гарри! — сказали ему.
- Послушайте, — начал Битеринг, — вы слышали вчера новость? Или, может, не слыхали?
- Люди закивали, засмеялись:
- Конечно, Гарри! Как не слыхать!
- И что вы собираетесь делать?
- Делать, Гарри? А что ж тут поделаешь?
- Надо строить ракету, вот что!
- Ракету? Вернуться на Землю и опять вариться в этом кotle? Брось, Гарри!
- Да неужели же вы не хотите на Землю? Видали, как зацвел персик? А лук, а трава?
- Вроде видали, Гарри. Ну и что? — сказал кто-то.
- И не напугались?
- Да не сказать чтоб очень напугались.
- Дурачье!
- Ну, чего ты, Гарри!
- Битеринг чуть не заплакал.
- Вы должны мне помочь. Если мы тут останемся, неизвестно, во что мы превратимся. Это все воздух. Вы разве не чувствуете? Что-то такое в воздухе. Может, какой-то марсианский вирус, или семена какие-то, или пыльца. Послушайте меня!
- Все не сводили с него глаз.
- Сэм, — сказал он.
- Да, Гарри? — отозвался один из сидевших на крыльце.
- Поможешь мне строить ракету?
- Вот что, Гарри. У меня есть куча всякого металла и кое-какие чертежи. Если хочешь строить ракету в моей мастерской, милости просим. За металл я с тебя возьму пятьсот долларов. Если будешь работать один, пожалуй, лет за тридцать построишь отличную ракету.
- Все засмеялись.
- Не смейтесь!
- Сэм добродушно смотрел на Битеринга.
- Сэм, — вдруг сказал тот, — у тебя глаза...
- Чем плохие глаза?
- Ведь они у тебя были серые?
- Право, не помню, Гарри.

— У тебя глаза были серые, ведь верно?
— А почему ты спрашиваешь?
— Потому что они у тебя стали какие-то желтые.
— Вот как? — равнодушно сказал Сэм.
— А сам ты стал какой-то высокий и тонкий.
— Может, оно и так.
— Сэм, это нехорошо, что у тебя глаза стали желтые.

— А у тебя, по-твоему, какие?
— У меня? Голубые, конечно.
— Держи, Гарри. — Сэм протянул ему карманное зеркальце. — Погляди-ка на себя.

Битеринг нерешительно взял зеркальце и посмотрелся.

В глубине его голубых глаз притаились чуть заметные золотые искорки.

Минуту было тихо.

— Эх, ты, — сказал Сэм. — Разбил мое зеркальце.

Гарри Битеринг расположился в мастерской Сэма и начал строить ракету. Люди стояли в дверях мастерской, негромко переговаривались, посмеивались. Изредка помогали Битерингу поднять что-нибудь тяжелое. А больше стояли просто так и смотрели на него, и в глазах у них разгорались желтые искорки.

— Пора ужинать, Гарри, — напомнили они.

Пришла жена и принесла в корзинке ужин.

— Не стану я это есть, — сказал он. — Теперь я буду есть только то, что хранится у нас в холодильнике. Что мы привезли с Земли. А что тут в саду и в огороде выросло, это не для меня.

Жена стояла и смотрела на него.

— Не сможешь ты построить ракету.

— Когда мне было двадцать, я работал на заводе. С металлом я обращаться умею. Дай только начать, тогда и другие мне помогут, — говорил он, разворачивая чертежи и кальки, на жену он не смотрел.

— Гарри, Гарри, — беспомощно повторяла она.

— Мы должны вырваться, Кора. Нельзя нам тут оставаться!

По ночам под луной, в пустынном море трав, где уже двенадцать тысяч лет, точно забытые шахматы, белели марсианские города, дул и дул неотступный ветер. И дом Битеринга в поселке землян сотрясала дрожь неуловимых перемен.

Лежа в постели, Битеринг чувствовал, как внутри шевелится каждая косточка, и плавится, точно золото в тигле, и меняет форму. Рядом лежала жена, смуглая от долгих солнечных дней. Вот она спит, смуглая и золотоглазая, солнце опалило ее чуть не дочерна, и дети спят в своих постелях, точно отлитые из металла, и тосклиwyй ветер, ветер перемен, воет в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев и в лиловой траве, и стряхивает лепестки зеленых роз.

Страх ничем не умешь. Он берет за горло, сжимает сердце. Холодный пот проступает на лбу, на дрожащих ладонях.

На востоке взошла зеленая звезда.

Незнакомое слово слетело с губ Битеринга.

— Йоррт, — повторил он. — Йоррт.

Марсиансское слово. Но он ведь не знает языка марсиан!

Среди ночи он поднялся и пошел звонить Симпсону, археологу.

— Послушай, Симпсон, что значит «Йоррт»?

— Да это старинное марсиансское название нашей Земли. А что?

— Так, ничего.

Телефонная трубка выскользнула у него из рук.

— Алло, алло, алло! — повторяла трубка. — Алло, Битеринг! Гарри! Ты слушаешь?

А он сидел и неотрывно смотрел на зеленую звезду.

Дни наполнены были звоном и лязгом металла. Битеринг собирал каркас ракеты, ему нехотя, равнодушно помогали три человека. За какой-нибудь час он очень устал, пришлось сесть передохнуть.

— Тут слишком высоко, — засмеялся один из помощников.

- А ты что-нибудь ешь, Гарри? — спросил другой.
- Конечно, ем, — сердито буркнул Битеринг.
- Все из холодильника?
- Да!
- А ведь ты худеешь, Гарри.
- Неправда!
- И росту в тебе прибавляется.
- Врешь!

Несколько дней спустя жена отвела его в сторону.

— Наши старые запасы все вышли. В холодильнике ничего не осталось. Придется мне кормить тебя тем, что у нас выросло на Марсе.

Битеринг тяжело опустился на стул.

— Надо же тебе что-то есть, — сказала жена. — Ты совсем ослаб.

— Да, — сказал он.

Взял сандвич, оглядел со всех сторон и опасливо откусил кусочек.

— Не работай больше сегодня, отдохни, — сказала Кора. — Такая жара. Дети затевают прогулку, хотят искупаться в канале. Пойдем, прошу тебя.

— Я не могу терять время. Все поставлено на карту!

— Хоть часок, — уговаривала Кора. — Поплаваешь, освежишься, это полезно.

Он встал, весь в поту.

— Ладно уж. Хватит тебе. Иду.

— Вот и хорошо!

День был тихий, палило солнце. Точно исполинский жгучий глаз уставился на равнину. Они шли вдоль канала, дети в купальных костюмах убежали вперед. Потом сделали привал, закусили сандвичами с мясом. Гарри смотрел на жену, на детей — какие они стали смуглые, совсем коричневые. А глаза — желтые, никогда они не были желтыми! Его вдруг затрясло, но скоро дрожь прошла, будто ее смыли жаркие волны, приятно было лежать так на солнце. Он уже не чувствовал страха — он слишком устал.

— Кора, с каких пор у тебя желтые глаза?

Она посмотрела с недоумением:

— Наверно, всегда были такие.

— А может, они были кaries и пожелтели за последние три месяца?

Кора прикусила губу:

— Нет. Почему ты спрашиваешь?

— Так просто.

Посидели, помолчали.

— И у детей тоже глаза желтые, — сказал Битеринг.

— Это бывает: дети растут, и глаза меняют цвет.

— Может быть, и мы тоже — дети. По крайней мере на Марсе. Вот это мысль! — Он засмеялся. — Поплакать, что ли?

Они прыгнули в воду. Гарри, не шевелясь, погружался все глубже, и вот он лежит на дне канала, точно золотая статуя, омытая зеленою тишиной. Вокруг — безмятежная глубь, мир и покой. И тебя тихонько несет неторопливым, ровным течением.

«Полежать так подольше, — думал он, — и вода обработает меня по-своему, пожрет мясо, обнажит кости, точно кораллы. Только скелет и останется. А потом на костях вода построит свое, появятся нарости, водоросли, ракушки, разные подводные твари — зеленые, красные, желтые. Все меняется. Меняется. Медленные, подспудные, безмолвные перемены. А разве не то же делается и там, наверху?»

Сквозь воду он увидел над головой солнце — тоже незнакомое, марсианское, измененное иным воздухом, и временем, и пространством.

«Там, наверху, — безбрежная река, — думал он, — марсианская река, и все мы в наших домах из речной гальки и затонувших валунов лежим на дне, точно раки-отшельники, и вода смывает нашу прежнюю плоть, и удлиняет кости, и...»

Он дал мягко светящейся воде вынести его на поверхность.

Дэн сидел на кромке канала и серьезно смотрел на отца.

— Ута, — сказал он.

— Что такое? — переспросил Битеринг.

Мальчик улыбнулся:

— Ты же знаешь. Ута по-марсиански — отец.

— Где это ты выучился?

— Не знаю. Везде. Ута!

— Чего тебе?

Мальчик помялся:

— Я... я хочу зваться по-другому.

— По-другому?

— Да.

Подплыла мать.

— А чем плохое имя Дэн?

Дэн скорчил гримасу, пожал плечами:

— Вчера ты все кричала — Дэн, Дэн, Дэн, а я и не слыхал. Думал, это не меня. У меня другое имя, я хочу, чтоб меня звали по-новому.

Битеринг ухватился за боковую стенку канала, он весь похолодел, медленно, гулко билось сердце.

— Как же это по-новому?

— Линл. Правда, хорошее имя? Можно, я буду Линл? Можно? Ну, пожалуйста!

Битеринг провел рукой по лбу, мысли путались. Дурацкая ракета, работаешь один, и даже в семье ты один, уж до того один...

— А почему бы и нет? — услышал он голос жены.

Потом услышал свой голос:

— Можно.

— Ага-а! — закричал мальчик. — Я — Линл, Линл! И, вопя и приплясывая, побежал через луга.

Битеринг посмотрел на жену:

— Зачем мы ему позволили?

— Сама не знаю, — сказала Кора. — Что ж, по-моему, это совсем не плохо.

Они шли дальше среди холмов. Ступали по старым, выложенным мозаикой дорожкам, мимо фонтанов, из которых и теперь еще разлетались водяные брызги. Дорожки все лето напролет покрывал тонкий слой прохладной воды. Весь день можно шлепать по ним босиком, точно вброд по ручью, и ногам не жарко.

Подошли к маленькой давным-давно заброшенной марсианской вилле. Она стояла на холме, и отсюда открывался вид на долину. Коридоры, выложенные

голубым мрамором, фрески во всю стену, бассейн для плавания. В летнюю жару тут свежесть и прохлада. Марсиане не признавали больших городов.

— Может, переедем сюда на лето? — сказала миссис Битеринг. — Вот было бы славно!

— Идем, — сказал муж. — Пора возвращаться в город. Надо кончать ракету, работы по горло.

Но в этот вечер за работой ему вспомнилась вилла из прохладного голубого мрамора. Проходили часы, и все настойчивей думалось, что, пожалуй, не так уж и нужна эта ракета.

Текли дни, недели, и ракета все меньше занимала его мысли. Прежнего пыла не было и в помине. Его и самого пугало, что он стал так равнодушен к своему детищу. Но как-то все так складывалось — жара, работать тяжело...

За раскрытой настежь дверью мастерской — негромкие голоса:

— Слыхали? Все уезжают.

— Верно. Уезжают.

Битеринг вышел на крыльце:

— Куда это?

По пыльной дороге движутся несколько машин, нагруженных мебелью и детьми.

— Переселяются в виллы, — говорит человек на крыльце.

— Да, Гарри. И я тоже перееду, — подхватывает другой. — И Сэм тоже. Верно, Сэм?

— Верно. А ты, Гарри?

— У меня тут работа.

— Работа! Можешь достроить свою ракету осенью, когда станет попрохладнее.

Битеринг перевел дух.

— У меня уже каркас готов.

— Осеню дело пойдет лучше.

Ленивые голоса словно таяли в раскаленном воздухе.

— Мне надо работать, — повторил Битеринг.

— Отложи до осени, — возразили ему, и это звучало так здраво, так разумно.

Осенью дело пойдет лучше, подумал он. Времени будет вдоволь.

«Нет! — кричало что-то в самой глубине его существа, запрятанное далеко-далеко, запертое наглухо, задыхающееся. — Нет, нет!»

— Осенью, — сказал он вслух.

— Едем, Гарри, — сказали ему.

— Ладно, — согласился он, чувствуя, как тает, плавится в знойном воздухе все тело. — Ладно, до осени. Тогда я опять возьмусь за работу.

— Я присмотрел себе виллу у Тирра-канала, — сказал кто-то.

— У канала Рузвельта, что ли?

— Тирра. Это старое марсиансское название.

— Но ведь на карте...

— Забудь про карту. Теперь он называется Тирра.

И я отыскал одно mestечко в Пилланских горах...

— Это горы Рокфеллера? — переспросил Битеринг.

— Это Пилланские горы, — сказал Сэм.

— Ладно, — сказал Битеринг, окутанный душным, непроницаемым саваном зноя. — Пускай Пилланские.

Назавтра в тихий, безветренный день все усердно грузили вещи в машину.

Лора, Дэн и Дэвид таскали узлы и свертки. Нет, узлы и свертки таскали Ттил, Линл и Верр, — на другие имена они теперь не отзывались.

Из мебели, что стояла в их белом домике, не взяли с собой ничего.

— В Бостоне наши столы и стулья выглядели очень мило, — сказала мать. — И в этом домике тоже. Но для той виллы они не годятся. Вот вернемся осенью, тогда они опять пойдут в ход.

Битеринг не спорил.

— Я знаю, какая там нужна мебель, — сказал он немного погодя. — Большая, удобная, чтоб можно развалиться.

— А как с твоей энциклопедией? Ты, конечно, беришь ее с собой?

Битеринг отвел глаза:

— Я заберу ее на той неделе.

— А свои нью-йоркские наряды ты взяла? — спросили они дочь.

Девушка посмотрела с недоумением:

— Зачем? Они мне теперь ни к чему.

Выключили газ и воду, заперли двери и пошли прочь.

Отец заглянул в кузов машины.

— Немного же мы берем с собой, — заметил он. —

Против того, что мы привезли на Марс, это жалкая горсточка!

И сел за руль.

Долгую минуту он смотрел на белый домик — хотелось кинуться к нему, погладить стену, сказать: прощай! Чувство было такое, словно уезжает он в дальнее странствие и никогда по-настоящему не вернется к тому, что оставляет здесь, никогда уже все это не будет ему так близко и понятно.

Тут с ним поравнялся на грузовике Сэм со своей семьей.

— Эй, Битеринг! Поехали!

И машина покатила по древней дороге вон из города. В том же направлении двигались еще шестьдесят грузовиков. Тяжелое, безмолвное облако пыли, поднятой ими, окутало покинутый городок. Голубела под солнцем вода в каналах, тихий ветер чуть шевелил листву деревьев.

— Прощай, город! — сказал Битеринг.

— Прощай, прощай! — замахали руками жена и дети. И уж больше ни разу не оглянулись.

За лето до дна высохли каналы. Лето прошло по лугам, точно степной пожар. В опустевшем поселке землян лупилась и осипалась краска со стен домов. Висящие на задворках автомобильные шины, что еще недавно служили детворе качелями, недвижно застыли в зноном воздухе, словно маятники остановившихся часов.

В мастерской каркас ракеты понемногу покрывался ржавчиной.

В тихий осенний день мистер Битеринг — он теперь был очень смуглый и золотоглазый — стоял на склоне холма над своей виллой и смотрел вниз, в долину.

— Пора возвращаться, — сказала Кора.

— Да, но мы не поедем, — спокойно сказал он. — Чего ради?

— Там остались твои книги, — напомнила она. — Твой парадный костюм.

— Твои лле, — сказала она. — Твой йор юеле рре.

— Город совсем пустой, — возразил муж. — Никто туда не возвращается. Да и незачем. Совершенно незачем.

Дочь ткала, сыновья наигрывали песенки — один на флейте, другой на свирели, все смеялись, и веселое эхо наполняло мраморную виллу.

Гарри Битеринг смотрел вниз, в долину, на далекое селение землян.

— Какие странные, смешные дома строят жители Земли.

— Иначе они не умеют, — в раздумье отозвалась жена. — До чего уродливый народ. Я рада, что их больше нет.

Они посмотрели друг на друга, испуганные словами, которые только что сказались. Потом стали смеяться.

— Куда же они подевались? — раздумчиво произнес Битеринг.

Он взглянул на жену. Кожа ее золотилась, и она была такая же стройная и гибкая, как их дочь. А Кора смотрела на мужа — он казался почти таким же юным, как их старший сын.

— Не знаю, — сказала она.

— В город мы вернемся, пожалуй, на будущий год, — сказал он невозмутимо. — Или, может, еще через годик-другой. А пока что... мне жарко. Пойдем купаться?

Они больше не смотрели на долину. Рука об руку они пошли к бассейну, тихо ступая по дорожке, которую омывала прозрачная ключевая вода.

Прошло пять лет, и с неба упала ракета. Еще дышась, лежала она в долине. Из нее высыпали люди.

— Война на Земле кончена! — кричали они. — Мы прилетели вам на выручку!

Но городок, построенный американцами, молчал, безмолвны были коттеджи, персиковые деревья, амфитеатры. В пустой мастерской ржавел жалкий остов недоделанной ракеты.

Пришельцы обшарили окрестные холмы. Капитан объявил своим штабом давно заброшенный кабачок. Лейтенант явился к нему с докладом.

— Город пуст, сэр, но среди холмов мы обнаружили местных жителей. Марсиан. Кожа у них темная. Глаза желтые. Встретили нас очень приветливо. Мы с ними немного потолковали. Они быстро усваивают английский. Я уверен, сэр, с ними можно установить вполне дружеские отношения.

— Темнокожие, вот как? — задумчиво сказал капитан. — И много их?

— Примерно шестьсот или восемьсот, сэр; они живут на холмах, в мраморных развалинах. Рослые, здоровые. Женщины у них красивые.

— А они сказали вам, лейтенант, что произошло с людьми, которые прилетели с Земли и выстроили этот поселок?

— Они понятия не имеют, что случилось с этим городом и с его населением.

— Странно. Вы не думаете, что марсиане тут всех перебили?

— Похоже, что это необыкновенно миролюбивый народ, сэр. Скорее всего город опустошила какая-нибудь эпидемия.

— Возможно. Надо думать, это одна из тех загадок, которые нам не разрешить. О таком иной раз пишут в книгах.

Капитан обвел взглядом комнату, запыленные окна и за ними — встающие вдалеке синие горы, струящиеся в ярком свете воды каналов и услышал шелест ветра. И вздрогнул. Потом опомнился и постучал пальцами по карте, которую он давно уже приколол кнопками на пустом столе.

— У нас куча дел, лейтенант! — сказал он и стал перечислять. Солнце опускалось за синие холмы, а капитан бубнил и бубнил: — Надо строить новые поселки. Искать полезные ископаемые, заложить шахты. Взять образцы для бактериологических исследований. Работы по горло. А все старые отчеты утеряны. Надо заново составить карты, дать названия горам, рекам и прочему. Потребуется некоторая доля воображения.

Вон те горы назовем горами Линкольна, что вы на это скажете? Тот канал будет канал Вашингтона, а эти холмы... холмы можно назвать в вашу честь, лейтенант. Дипломатический ход. А вы из любезности можете назвать какой-нибудь город в мою честь. Изящный поворот. И почему бы не дать этой долине имя Эйнштейна, а вон тот... да вы меня слушаете, лейтенант?

Лейтенант с усилием оторвал взгляд от подернутых ласковой дымкой холмов, что синели вдали, за покинутым городом.

— Что? Да-да, конечно, сэр!

УЛЫБКА

На главной площади очередь установилась еще в пять часов, когда за выбеленными и неем полями пели далекие петухи и нигде не было огней. Тогда вокруг, среди разбитых зданий, клочьями висел туман, но теперь, в семь утра, рассвело, и он начал таять. Вдоль дороги по двое, по троє подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день.

Мальчишка стоял сразу за двумя мужчинами, которые громко разговаривали между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче. Мальчишка притопытал на месте и дул на свои красные, в цыпках руки, поглядывая то на грязную, из грубой мешковины, одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди.

— Слышишь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань? — сказал человек за его спиной.

— Это мое место, я тут очередь занял, — ответил мальчик.

— Бежал бы ты, мальчик, отсюда, уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк!

— Оставь в покое парня, — вмешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди.

— Я же пошутил. — Задний положил руку на голову мальчишки. Мальчик угрюмо стряхнул ее. — Просто

подумал, чудно это — ребенок, такая рань, а он не спит.

— Этот парень знает толк в искусстве, ясно? — сказал заступник, его фамилия была Григсби. — Тебя как звать-то, малец?

— Том.

— Наш Том, уж он плюнет что надо, в самую точку — верно, Том?

— Точно!

Смех покатился по шеренге людей.

Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда, Том увидел маленький жаркий костер и бурлящее варево в ржавой кастрюле. Это был не настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка, согреть желудок, но мало кто покупал, мало кому это было по карману.

Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной.

— Говорят, она улыбается, — сказал мальчик.

— Ага, улыбается, — ответил Григсби.

— Говорят, она сделана из краски и холста.

— Точно. Потому-то и сдается мне, что она не по-длинная. Та, настоящая, — я слышал — была на доске нарисована, в незапамятные времена.

— Говорят, ей четыреста лет.

— Если не больше. Коли уж на то пошло, никому не известно, какой сейчас год.

— Две тысячи шестьдесят первый!

— Верно, так говорят, парень, говорят. Брешут. А может, трехтысячный! Или пятитысячный! Почем мы можем знать? Сколько времени одна сплошная катафасия была... И достались нам только рожки да ножки.

Они шаркали ногами, медленно продвигаясь вперед по холодным камням мостовой.

— Скоро мы ее увидим? — уныло протянул Том.

— Еще несколько минут, не больше. Они огородили ее, повесили на четыре латунных столбика бархатную веревку, все честь по чести, чтобы люди не подходили

слишком близко. И учи, Том, никаких камней, они запретили бросать в нее камни.

— Ладно, сэр.

Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы.

— А зачем мы все тут собирались? — спросил, подумав, Том. — Почему мы должны плевать?

Григсби и не взглянул на него, он смотрел на солнце, соображая, который час.

— Э, Том, причин уйма. — Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было, за несуществующей сигаретой. Том видел это движение миллион раз. — Тут все дело в ненависти, ненависти ко всему, что связано с Прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния? Города — груды развалин, дороги от бомбек — словно пила, вверх-вниз, поля по ночам светятся, радиоактивные... Вот и скажи, Том, что это, если не последняя подлость?

— Да, сэр, конечно.

— То-то и оно... Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломало. Так уж он устроен. Неразумно, может быть, но такова человеческая природа.

— А есть хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели? — сказал Том.

— Во-во! А все эта орава идиотов, которая заправляла миром в Прошлом! Вот и стоим здесь с самого утра, кишкы подвело, стучим от холода зубами — новые троглодиты, ни покурить, ни выпить, никакой тебе утеша, кроме этих наших праздников, Том. Наших праздников...

Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все смеялись, точно пьяные. А праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город последний автомобиль, потом бросили жребий, и счастливчики могли по одному разу долбануть машину кувалдой!..

— Помню ли я, Том? Помню ли? Да ведь я же разбил переднее стекло — стекло, слышишь? Господи, звуком какой был, прелест! Тррах!

Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками.

— А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать. Эх, и лихо же он это сработал, прямо мастерски. Бамм! Но лучше всего, — продолжал вспоминать Григсби, — было в тот раз, когда громили завод, который еще пытался выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку! А потом нашли типографию и склад боеприпасов — и взорвали их вместе! Представляешь себе, Том?

Том подумал.

— Ага.

Полдень. Запахи разрушенного города отправляли жаркий воздух, что-то копошилось среди обломков зданий.

— Сэр, это больше никогда не вернется?

— Что — цивилизация? А кому она нужна? Во всяком случае не мне!

— А я так готов ее терпеть, — сказал один из очереди. — Не все, конечно, но были и в ней хорошие стороны...

— Чего зря болтать-то! — крикнул Григсби. — Все равно впустую.

— Э, — упорствовал один из очереди, — не торопитесь. Вот увидите: еще появится башковитый человек, который ее подлатает. Попомните мои слова. Человек с душой.

— Не будет этого, — сказал Григсби.

— А я говорю, появится. Человек, у которого душа лежит к красивому. Он вернет нам — нет, не старую, а, так сказать, ограниченную цивилизацию, такую, чтобы мы могли жить мирно.

— Не успеешь и глазом моргнуть, как опять война!

— Почему же? Может, на этот раз все будет иначе.

Наконец и они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой, держа в руке листок бумаги. Огороженное пространство было в самом центре площади. Том, Григсби и все остальные,

копя слону, подвигались вперед — шли, изготавливаясь, предвкушая, с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось часто-часто, и земля жгла его босые пятки.

— Ну, Том, сейчас наша очередь, не зевай!

По углам огороженной площадки стояло четверо полицейских — четверо мужчин с желтым шнурком на запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней.

— Это для того, — уже напоследок объяснил Григсби, — чтобы каждому досталось плонуть по разку, понял, Том? Ну, давай!

Том замер перед картиной, глядя на нее.

— Ну, плуй же!

У мальчишки пересохло во рту.

— Том, давай! Живее!

— Но, — медленно произнес Том, — она же красавая!

— Ладно, я плону за тебя!

Плевок Григсби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась таинственно-печально, и Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце, а в ушах будто звучала музыка.

— Она красивая, — повторил он.

— Иди уж, пока полиция...

— Внимание!

Очередь притихла. Только что они брали Тома — стал как пень! — а теперь все повернулись к верховому.

— Как ее звать, сэр? — тихо спросил Том.

— Картину-то? Кажется, «Монна Лиза»... Точно: «Монна Лиза».

— Слушайте объявление, — сказал верховой. — Власти постановили, что сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении...

Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста... Полицейские бросились наутек. Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь

разбитую раму. Слепо подражая остальным, он вытянул руку, схватил клюшку лоснящегося холста, дернул и упал, а толчки и пинки вышибли его из толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи жевали куски холста, как мужчины разламывали раму, поддавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие-мелкие клочья.

Один Том стоял притихший в стороне от этой свистопляски. Он глянул на свою руку. Она судорожно притиснула к груди кусок холста, пряча его.

— Эй, Том, ты что же! — крикнул Григсби.

Не говоря ни слова, всхлипывая, Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу, через поле, через мелкую речушку, он бежал и бежал, не оглядываясь, и сжатая в кулак рука была спрятана под куртку.

На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал через нее. В девять часов он был у разбитого здания фермы. За ней, в том, что осталось от силосной башни, под навесом, его встретили звуки, которые сказали ему, что семья спит — спит мать, отец, брат. Тихонько, молча, он скользнул в узкую дверь и лег, часто дыша.

— Том? — раздался во мраке голос матери.

— Да.

— Где ты болтался? — рявкнул отец. — Погоди, вот я тебе утром всыплю...

Кто-то пнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на их огороде.

— Ложись! — негромко прикрикнула на него мать.

Еще пинок.

Том дышал уже ровнее. Кругом царила тишина. Рука его была плотно-плотно прижата к груди. Полчаса лежал он так, зажмурив глаза.

Потом ощутил что-то: холодный белый свет. Высоко в небе плыла луна, и маленький квадратик света полз по телу Тома. Только теперь его рука ослабила хватку. Тихо, осторожно, прислушиваясь к движениям спящих, Том поднял ее. Он помедлил, глубоко-глубоко

вздохнул, потом, весь ожидание, разжал пальцы и разгладил клочок закрашенного холста.

Мир спал, освещенный луной.

А на его ладони лежала Улыбка.

Он смотрел на нее в белом свете, который падал с полуночного неба. И тихо повторял про себя, снова и снова: «Улыбка, чудесная улыбка...»

Час спустя он все еще видел ее, даже после того, как осторожно сложил ее и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним — Улыбка. Ласковая, добрая, она была там и тогда, когда он уснул, а мир был объят безмолвием и луна плыла в холодном небе сперва вверх, потом вниз, навстречу утру.

ВРЕМЯ УХОДИТЬ

Мысль взрастала три дня и три ночи. Днем голова вынашивала ее, словно зреющую грушу. А ночью он позволял мысли обретать плоть и кровь и висеть в тишине комнаты, освещаемой лишь деревенской луной да деревенскими же звездами. В молчании перед рассветом он рассматривал эту мысль со всех сторон. На четвертое утро протянул руку, уже невидимую, взял мысль в ладонь, поднес ко рту и сжевал всю, без остатка.

Он вскочил так быстро, как только мог, затем скреп старые письма, упаковал несколько самых необходимых вещей в крохотный чемоданчик и надел вечерний костюм, повязав к нему галстук цвета воронова крыла, словно шел на поминки. Спиной он чувствовал, что в дверях стоит его жена и, словно критик, который в любую минуту может ворваться на сцену и остановить представление, оценивает его маленькую пьеску.

Протискиваясь мимо, он пробормотал:

— Извини.

— Извинить?! — закричала она. — И это все, что ты можешь сказать, ползая тут и что-то замышляя?!

— Я ничего не замышлял, просто так получилось: три дня назад мне был Голос о смерти.

— Прекрати болтать, — сказала она. — Это меня беспит.

Линия горизонта мягко раздвоилась в его глазах.

— Я почувствовал, как медленно кровь струится в моих венах. Слушая, как скрипят мои кости, можно подумать, что это ходят ходуном стропила на чердаке и осыпается пыль...

— Тебе всего лишь семьдесят пять, — упрямо буркнула жена. — Ты стоишь на своих двоих, все видишь, слышишь, нормально ешь, спиши, разве нет? Так к чему эта трепотня?

— Это природа говорит со мной, — сказал старик. — Цивилизация отдалила нас от нашего истинного «я». Возьми, например, островитян-язычников...

— Не хочу...

— Всем известно, что островитяне-язычники точно знают время, когда умрут. Тогда они начинают ходить по деревне, пожимать руки, обниматься с друзьями, раздавая накопленное...

— А их жены имеют право слова?

— Они и женам отдают кое-что.

— Хотелось бы надеяться!

— А кое-что друзьям...

— Ну, с этим можно и поспорить!

— А кое-что друзьям. Затем они садятся в каноэ и медленно плывут к закату. И больше никогда не возвращаются...

Жена посмотрела на него снизу вверх так, словно он был деревом, а она лесорубом.

— Дезертирство, — сказала она.

— Нет, нет, Милдред — просто смерть. Они называют это — «Время уходить».

— А кто-нибудь когда-нибудь нанимал каноэ и ездил за ними, чтобы проверить, как это дурачье устраивается дальше?

— Конечно же, нет, — слегка раздраженно проговорил старик. — Это бы только все испортило.

— Ты хочешь сказать, что они заводят себе жен и друзей на другом острове?

— Да нет же, нет! Просто, когда соки жизни начинают остывать, человек нуждается в одиночестве и покое.

— Если ты сможешь доказать, что это дурачье в самом деле откидывается — я заткнусь. — Жена сощурила один глаз. — А кто-нибудь находил их кости на этих дальних островах?

— Все дело в том, что они просто упливали навстречу закату, словно животные, — животные ведь понимают, когда настает их Великое Время. И я не хочу ничего больше знать!

— Что же, зато знаю я, — сказала женщина. — Последняя цитата из этой проклятой статейки в «Нейшил Джиогрэфик», о свалке слоновых костей.

— О кладбище, а не о свалке! — закричал он.

— Кладбище, свалка — без разницы. Я надеялась, что спалила все эти журнальчики. Ты что, спрятал где-нибудь несколько штук?

— Послушай меня, Милдред, — сказал он сурово, вновь берясь за свой чемоданчик. — Мои мысли устремлены на север, и что бы ты ни говорила, они не изменятся. Я настроен в унисон с бесконечными тайными струнами простой жизни.

— Ты настроен в унисон с тем, что последним вычитал в этой паршивой газетенке! — Она наставила на него палец. — Ты считаешь, что у меня склероз?

Его плечи поникли.

— Только давай не будем начинать все сначала. Я прошу тебя.

— Помнишь случай с мамонтами? — спросила она. — Когда тридцать лет назад в русской тундре нашли этих замерзших волосатых слонов? Тогда ты и этот старый осел, Сэм Херц, придумали замечательную штуку: завалить мировой рынок консервированным мамонтовым мясом! Думаешь, можно забыть, как ты говорил тогда: «Представь себе, как члены правления Национального Географического Общества будут платить за то, чтобы в их домах появилось нежное мясо сибирского мамонта, умершего десять тысяч лет назад!» Ты думаешь, время способно излечить подобные раны?

— Я все это прекрасно помню, — вздохнул он.

— Ты думаешь, я позабыла, как ты сбежал, чтобы найти в Висконсине «затерянное племя оссюс»? Как ты на собаках добрался до городка Субботний Вечер, нализался, загремел в этот чертов карьер, сломал ногу и провалялся там целых три дня?

— На память тебе грех жаловаться.

— Так скажи мне, что это еще за новости о дикарях и о Времени Уходить? А хочешь, я скажу тебе, что это за время? Это — Время Быть Дома! Это время, когда фрукты уже не падают с деревьев прямо тебе в руку — за ними нужно идти в магазин. И, кстати, почему мы *ходим* в магазин, а? Потому что кое-кто в этом доме — не будем указывать пальцами, кто именно — несколько лет назад разобрал нашу машину на винтики и оставил ржаветь во дворе. В этот четверг можно будет справить десятилетие «починки». Еще одно десятилетие — и от нее останется несколько кучек ржавчины! Выгляни в окно! Это — Время-сгребать-и-сжигать-листья. Это — Время-чистить-печь-и-навешивать-ставни! Это — Время-чинить-крышу — вот что это за время! И если ты думаешь, что сможешь улизнуть от всего этого — не обольщайся!

Он приложил руку к груди.

— Мне больно, что ты не можешь поверить в мои ощущения надвигающейся Судьбы!

— Это мне больно оттого, что «Нейшил Джиогрэфик» попадает в руки старых, выживших из ума людей! Я же прекрасно вижу, как ты читаешь эти газетки, а затем впадаешь в маразм и видишь прекрасные сны, которые мне потом приходится выметать вместе с мусором. Нужно было бы издателям «Джиогрэфик» и «Попьюлар Мекэнекс» показать недоделанные шлюпки, вертолеты и одноместные планеры, что валяются у нас на чердаке, в гараже и в подвале. И чтобы они не только посмотрели на *это*, но и развезли всю эту рухлясть по своим домам!

— Можешь болтать, — сказал он. — Я стою рядом с тобой, как белый камень, тонущий в водах Забвения.

Ради всего святого, женщина, может быть, ты разрешишь мне уйти, чтобы спокойно умереть?!

— У меня будет достаточно времени для Забвения, когда я обнаружу тебя замерзшим насмерть на поленнице.

— Господи ты Боже мой! — вскричал он. — Нежели мысль о собственной бренности кажется тебе обыденной и тщеславной?

— Ты жуешь эту мысль, словно табак.

— Хватит! Все накопленное мною добро выставлено на заднем крыльце. Отдай людям из Армии Спасения.

— И «Нейшил Джиогрэфик»?

— Да! Черт бы их побрал, и «Джиогрэфик». А теперь — отойди!

— Если ты собираешься умереть, тогда тебе не понадобится битком набитый чемодан!

— Руки прочь, женщина! Смерть все-таки займет какое-то время. Неужто мне отказываться от последних удобств? Это должна была быть нежная сцена прощания. Вместо нее я получил взаимные упреки, sarcasm, сомнения, и тра-ля-ля-ля-ля.

— Ну ладно, — сказала она. — Иди проведи ночку в лесу.

— Почему же обязательно в лесу?

— А куда еще человек из Иллинойса может пойти помирать?

— Н-ну, — на мгновение он задумался. — Есть еще шоссе.

— Ты предпочитаешь, чтобы тебя задавили?

— Нет, нет! — Он крепко зажмурил глаза, затем снова открыл их. — Пустые проселочные дороги, ведущие в никуда, через ночные леса, пустыню, к далеким озерам...

— А что, разве тебе не хочется нанять где-нибудь каноэ и грести, грести?.. А помнишь, как ты однажды свалился в воду и чуть было не утонул у пожарного причала?

— А кто хоть слово сказал о каноэ?

— Да ты же, ты! Твои дикари — или забыл? — упłyвают таким образом в великую неизвестность.

— Так то в южных морях! Здесь же человеку необходимо самому передвигать ноги, чтобы вернуться к истокам и встретить свой естественный конец. Я могу пройти северным берегом озера Мичиган, среди дюн, волн, ветра.

— Уилли, Уилли, — прошептала она мягко, покачивая головой. — Ох ты, Уилли, Уилли мой, что же мне делать с тобой?

Он понизил голос:

— Дать мне самому распорядиться своей головой.

— Да, — сказала она тихо. — Да.

На глазах ее выступили слезы.

— Ну, будет, будет, — прошептал он.

— Ох, Уилли... — Она долго-долго смотрела на мужа. — Можешь ли ты, положа руку на сердце, сказать, что это твоя смерть пришла?

Он увидел свое маленькое четкое отражение в ее зрачке и смущенно отвернулся.

— Всю ночь я думал о вселенском потоке, его отливах и приливах, которые приносят человека в этот мир и уносят его обратно. А теперь утро — и прощай.

— Прощай? — Она смотрела на него так, словно слышала это слово впервые.

Его голос был нетверд.

— Конечно, если ты так настаиваешь, Милдред...

— Нет! — Она взяла себя в руки, вытерла слезы и высыпалась. — Ты чувствуешь то, что чувствуешь. С этим я бороться не могу!

— Ты уверена?

— Это ведь ты *уверен*, Уилли, — сказала она. — Ну а теперь — иди. Возьми теплую куртку — ночи сейчас действительно холодные...

— Но... — сказал он.

Она принесла его куртку, поцеловала в щеку и отошла раньше, чем он успел заключить ее в медвежьи

объятия. Так он и стоял: глядя на кресло у камина и двигая челюстями. Она распахнула дверь.

— Ты взял с собой поесть?

— Мне не нужно... — начал было он. — Я взял бутерброд с ветчиной и несколько пикулей. Один, точнее. Вот и все, я подумал, что хватит...

Он спустился с крыльца и направился по тропе к лесу. Потом обернулся, словно собираясь что-то сказать, но передумал, махнул рукой и зашагал дальше.

— Уилл! — крикнула женщина ему вслед. — Смотри, не переусердствуй! Чтобы твой уход не слишком затянулся. Как устанешь — присядь! Как проголодашься — поешь! И...

Но в этом месте ей пришлось прерваться, она отвернулась и вытащила платок.

Через мгновение вновь взглянула на тропу — та выглядела так, словно последние десять тысяч лет по ней никто не ходил. Тропа была пустынна, женщина вошла в дом и захлопнула за собой дверь.

Вечер, девять часов, девять пятнадцать, высыпали звезды, луна кругла, земляничным светом горят сквозь занавески огни в доме, дымоход вытягивает из горящих поленьев длинные фонтаны искр, тепло. Вверх по трубе поднимаются звуки гремящих кастрюль, сковородок, ножей-вилок, огня, мурлыкающего в очаге, словно огромный оранжевый котище. В кухне, на безбрежной металлической плите, через конфорки которой прорываются язычки пламени, кипят кастрюли, сковороды жарят, наполняя воздух ароматами и паром. Время от времени старая женщина отворачивается от плиты, и тогда по глазам ее и широко раскрытым рту видно, что она прислушивается к тому, что происходит за пределами этого дома, вдалеке от огня.

Девять тридцать. Где-то далеко, но достаточно громко, неуклюже затопали.

Старая женщина выпрямилась и положила ложку на стол.

А снаружи, где одна лишь луна, пропали — топ-топ — тяжело и тупо. Так продолжалось три-четыре минуты, и за это время она не шелохнулась, только скжала кулаки и крепче стиснула зубы. А потом бросилась к столу, к плите, засуетилась и принялась наливать, поднимать, тащить, ставить...

Она закончила кухонную возню как раз когда звуки снова пришли из темной дали, раскинувшейся за окнами. По тропе прогрохотали медленные шаги, и тяжелые ботинки замесили снег на парадном крыльце.

Она подошла к двери и стала ждать стука.

Но не услышала.

Она ждала.

Там шевелилось что-то большое. Кто-то переминался с ноги на ногу и неловко сопел.

В конце концов она вздохнула и резко, обращаясь к дверям, спросила:

— Уилл, это ты, что ли?

Ответа нет. Молчание.

И тогда она широко распахнула дверь.

На пороге стоял старик, держа в руках охапку дров. Из-за поленьев выплыл его голос:

— Увидел, что из трубы дым идет, подумал, дрова, наверное, понадобятся...

Она посторонилась. Он вошел и, не глядя в ее сторону, аккуратно положил полешки у очага.

Она глянула за порог, взяла чемоданчик и внесла в дом. Потом закрыла дверь.

Он сидел за обеденным столом.

Она помешала стоящий на плите суп.

— Ростбиф в духовке? — спросил он тихо.

Она открыла дверцу. Запах выплыл и окутал его. Он сидел, закрыв глаза, и принюхивался.

— А это еще что такое? Жжешь что-нибудь? — спросил он через минуту.

Она выждала какое-то время и произнесла, не поворачиваясь:

— «Нейшнл Джиографик».

Он медленно кивнул, не произнеся ни слова.

Потом еда оказалась на столе — ароматная, пышущая жаром, и внезапно, после того как старуха опустилась на стул, наступило мгновение полной тишины. Она покачала головой. Посмотрела на него. И еще раз покачала головой.

— Ты не хочешь попросить благословения? — спросила она.

— Лучше *ты* начни.

Они сидели в теплой комнате у яркого огня, склонив головы и закрыв глаза. Она улыбнулась:

— Взблагодарим Господа...

ВСЕ ЛЕТО В ОДИН ДЕНЬ

— Готовы?
— Да!

— Уже?

— Скоро!

— А ученые верно знают? Это правда будет сегодня?

— Смотри, смотри, сам увидишь!

Теснясь, точно цветы и сорные травы в саду, все вперемешку, дети старались выглянуть наружу — где там запрятано солнце?

Лил дождь.

Он лил не переставая семь лет подряд: тысячи и тысячи дней, с утра до ночи, без передышки дождь лил, шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами, низвергался сплошными потоками, так что кругом ходили волны, заливая островки суши. Ливнями повалило тысячи лесов, и тысячи раз они вырастали вновь и снова падали под тяжестью вод. Так навеки повелось здесь, на Венере, а в классе полно было детей, чьи отцы и матери прилетели застраивать и обживать этудискую дождливую планету.

— Перестает! Перестает!

— Да, да!

Марго стояла в стороне от них, от всех этих ребят, которые только и знали, что вечный дождь, дождь, дождь. Им всем было по девять лет, и если и выдался семь лет назад такой день, когда солнце все-таки выглянуло,

показалось на час изумленному миру, они этого не помнили. Иногда по ночам Марго слышала, как они ворочаются, вспоминая, и знала: во сне они видят и вспоминают золото, яркий желтый карандаш, монету — такую большую, что можно купить целый мир. Она знала, им чудится, будто они помнят тепло, когда вспыхивает лицо и все тело — руки, ноги, дрожащие пальцы. А потом они просыпаются — и опять барабанит дождь, без конца сыплются звонкие прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны разлетаются как дым.

Накануне они весь день читали в классе про солнце. Какое оно желтое, совсем как лимон, и какое жаркое. И писали про него маленькие рассказы и стихи.

Мне кажется, солнце — это цветок,
Цветет оно только один часок.

Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притихшим классом. А за окном лил дождь.

— Ну ты это не сама сочинила! — крикнул один мальчик.

— Нет, сама, — сказала Марго. — Сама.

— Уильям! — остановила мальчика учительница.

Но то было вчера. А сейчас дождь утихал, и дети теснились к большим окнам с толстыми стеклами.

— Где же учительница?

— Сейчас придет.

— Скорей бы, а то мы все пропустим!

Они вертелись на одном месте, точно пестрая беспокойная карусель.

Марго одна стояла поодаль. Она была слабенькая, и казалось, когда-то давно она заблудилась и долго-долго бродила под дождем, и дождь смыв с нее все краски: голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы — все вылиняло. Она была точно старая поблекшая фотография, которую вынули из забытого альбома, и все молчала, а если и случалось ей заговорить, голос ее шелестел еле слышно. Сейчас она одиноко стояла в сторонке и смотрела на дождь, на шумный мокрый мир за толстым стеклом.

— Ты-то чего смотришь? — сказал Уильям.

Марго молчала.

— Отвечай, когда тебя спрашивают!

Уильям толкнул ее. Но она не пошевелилась; покачнулась — и только.

Все ее сторонятся, даже и не смотрят на нее. Вот и сейчас бросили ее одну. Потому что она не хочет играть с ними в гулких туннелях этого города-подвала. Если кто-нибудь осалит ее и кинется бежать, она только с недоумением поглядит вслед, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песни о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры, она еле шевелит губами. Только когда поют про солнце, про лето, она тоже тихонько подпевает, глядя в заплаканные окна.

Ну а самое большое ее преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с Земли всего лишь пять лет назад, и она помнит солнце, помнит, какое оно, солнце, и какое небо она видела в Огайо, когда ей было четыре года. А они — они всю жизнь живут на Венере: когда здесь в последний раз светило солнце, им было только по два года, и они давно уже забыли, какое оно. и какого цвета, и как жарко греет. А Марго помнит.

— Оно большое, как медяк, — сказала она однажды и зажмурилась.

— Неправда! — закричали ребята.

— Оно — как огонь в очаге, — сказала Марго.

— Врешь, врешь, ты не помнишь! — кричали ей.

Но она помнила и, тихо отойдя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. А один раз, месяц назад, когда всех повели в душевую, она ни за что не хотела стать под душ и, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала — пускай вода не льется ей на голову! И после этого у нее появилось странное, смутное чувство: она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились ее.

Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут ее назад на Землю — это обойдется им во много тысяч долларов, но иначе она, видно, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе ее невзлюб-

били. Противная эта Марго, противно, что она такая бледная немочь, и такая худущая, и вечно молчит и ждет чего-то, и, наверно, улетит на Землю...

— Убирайся! — Уильям опять ее толкнул. — Чего ты еще ждешь?

Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждет. Мальчишка взбеленился.

— Нечего тебе здесь торчать! — закричал он. — Не дождешься, ничего не будет!

Марго беззвучно пошевелила губами.

— Ничего не будет! — кричал Уильям. — Это просто для смеха, мы тебя разыграли. — Он обернулся к остальным. — Ведь сегодня ничего не будет, верно?

Все поглядели на него с недоумением, а потом поняли, и засмеялись, и покачали головами: верно, ничего не будет!

— Но ведь... — Марго смотрела беспомощно. — Ведь сегодня тот самый день, — прошептала она. — Ученые предсказывали, они говорят, они ведь знают... Солнце...

— Разыграли, разыграли! — сказал Уильям и вдруг схватил ее. — Эй, ребята, давайте запрем ее в чулан, пока учительницы нет!

— Не надо, — сказала Марго и попятилась.

Все кинулись к ней, схватили и поволокли, она отбивалась, потом просила, потом заплакала, но ее притащили по туннелю в дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов. Дверь тряслась: Марго колотила в нее кулаками и кидалась на нее всем телом. Приглушенно доносились крики. Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь — и как раз вовремя: в конце туннеля показалась учительница.

— Готовы, дети? — она поглядела на часы.

— Да! — отозвались ребята.

— Все здесь?

— Да!

Дождь стихал.

Они столпились у огромной массивной двери.

Дождь перестал.

Как будто посреди кинофильма про лавины, ураганы, смерчи, извержения вулканов что-то случилось со звуком, аппарат испортился, — шум стал глуше, а потом и вовсе оборвался, смолкли удары, грохот, раскаты грома... А потом кто-то выдернул пленку и на место ее вставил спокойный диапозитив — мирную тропическую картинку. Все замерло — не вздохнет, не шелохнется. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина, будто вам заткнули уши или вы совсем оглохли. Дети недоверчиво подносили руки к ушам. Толпа распалась, каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнуло свежестью мира, замершего в ожидании.

И солнце явилось.

Оно пламенело, яркое, как бронза, и оно было очень большое. А небо вокруг сверкало, точно ярко-голубая черепица. И джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали в весну.

— Только не убегайте далеко! — крикнула вдогонку учительница. — Помните, у вас всего два часа. Не то вы не успеете укрыться!

Но они уже не слышали, они бегали и запрокидывали голову, и солнце гладило их по щекам, точно теплым утюгом; они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки.

— Это получше наших искусственных солнц, верно?

— Ясно, лучше!

Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали Венеру и росли, росли бурно, не престанно, прямо на глазах. Джунгли были точно стая осьминогов, к небу пучками тянулись гигантские щупальца мясистых ветвей, раскачивались, мгновенно покрывались цветами — ведь весна здесь такая короткая. Они были серые, как пепел, как резина, эти заросли, оттого что долгие годы они не видели солнца. Они были цвета камней, и цвета сыра, и цвета чернил, и были здесь растения цвета луны.

Ребята со смехом кидались на сплошную поросль, точно на живой упругий матрац, который вздыхал под ними, и скрипел, и пружинил. Они носились меж

деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и в салки, но, главное — опять и опять, жмурились, глядели на солнце, пока не потекут слезы, и тянули руки к золотому сиянию и к невиданной синеве, и вдыхали эту удивительную свежесть, и слушали, слушали тишину, что обнимала их словно море, блаженно спокойное, беззвучное и недвижное. Они на все смотрели и всем наслаждались. А потом, будто зверьки, вырвавшиеся из глубоких нор, снова неистово бегали кругом, бегали и кричали. Целый час бегали и никак не могли угомониться.

И вдруг...

Посреди веселой беготни одна девочка громко, жалобно закричала.

Все остановились.

Девочка протянула руку ладонью кверху.

— Смотрите, — сказала она и вздрогнула. — Ой, смотрите!

Все медленно подошли поближе.

На раскрытой ладони, по самой середке, лежала большая, круглая дождевая капля.

Девочка посмотрела на нее и заплакала.

Дети молча поглядели на небо.

— О-о...

Резкие холодные капли упали на нос, на щеки, на губы. Солнце затянула туманная дымка. Подул холодный ветер. Ребята повернулись и пошли к своему дому подвалу, руки у них вяло повисли, они больше не улыбались.

Загремел гром, и дети в испуге, толкая друг друга, бросились бежать, словно листья, гонимые ураганом. Блеснула молния — за десять миль от них, потом за пять, в миле, в полумиле. И небо покернело, будто разом настала непроглядная ночь.

Минутку они стояли на пороге глубинного убежища, а потом дождь полил вовсю. Тогда дверь закрыли, и все стояли и слушали, как с оглушительным шумом рушатся с неба тонны, потом потоки воды — без просвета, без конца.

— И так опять будет целых семь лет?

— Да. Семь лет.

И вдруг кто-то вскрикнул:

— А Марго?

— Что?

— Мы ведь ее заперли, она так и сидит в чулане.

— Марго...

Они застыли, будто ноги у них примерзли к полу. Переглянулись и отвели взгляды. Посмотрели за окно — там лил дождь, лил упрямо, неустанно. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьезные, бледные. Все потупились, кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол.

— Марго...

Наконец одна девочка сказала:

— Ну что же мы?..

Никто не шелохнулся.

— Пойдем... — прошептала девочка.

Под холодный шум дождя они медленно прошли по коридору. Под рев бури и раскаты грома перешагнули порог и вошли в ту дальнюю комнату, яростные синие молнии озаряли их лица. Медленно подошли они к чулану и стали у двери.

За дверью было тихо.

Медленно, медленно они отодвинули засов и выпустили Марго.

ПОДАРОК

Завтра Рождество. Когда они втроем ехали в космопорт, мать и отец волновались. Это было первое путешествие их сына в космос, его первый полет в ракете, и они хотели, чтобы все прошло безукоризненно. Поэтому, когда на таможне родителям сказали, что придется оставить подарок мальчика, который превышал по весу норму — правда, всего на несколько унций — и маленькую елочку с очаровательными белыми свечками, они почувствовали, что их самих лишили праздника и возможности продемонстрировать свою любовь.

Сын ждал их в посадочном зале. Направляясь к нему после безуспешного столкновения с представителями Межпланетной администрации, отец и мать тихонько переговаривались:

- Что станем делать?
 - Ничего, ничего. А что мы можем сделать?
 - Идиотские правила!
 - А он так хотел, чтобы у нас была елка!
- Пронзительно взвыла сирена, и люди поспешили на посадку к ракете, отправляющейся на Марс. Мать и отец шли самыми последними, бледный сын молча шагал между ними.
- Я что-нибудь придумаю, — сказал отец.
 - Что?.. — спросил мальчик.

The Gift
Copyright © 1952 by Ray Bradbury
Подарок

© В. Гольдич, И. Оганесова, перевод, 1997

И вот ракета стартовала, и они устремились в не-проглядный мрак космоса.

Ракета неслась вперед, оставляя за собой хвост пла-мени и Землю, на которой было 24 декабря 2052 года. Она устремилась туда, где нет времени — ни месяца, ни года, ни часа.

Остаток первого дня они проспали. Около полуночи, по земным нью-йоркским часам, мальчик про-снулся и сказал:

— Я хочу посмотреть в иллюминатор.

В ракете имелся только один иллюминатор, огромное «окно» из невероятно толстого стекла — на другой палубе.

— Подожди немножко, — проговорил отец. — Я отведу тебя туда чуть позже.

— Мне хочется увидеть, где мы находимся и куда направляемся.

— Я прошу тебя подождать не просто так, у меня есть на это причина, — попытался успокоить его отец.

Он лежал без сна, ворочаясь в постели, и не переставая думал об оставленном на Земле подарке, о Рождестве и елочке с белыми свечками. В конце концов он вскочил с кровати, потому что у него возник план. Нужно было только его осуществить, и тогда первый полет их сына на ракете станет радостным и запоминающимся.

— Сынок, ровно через полчаса будет Рождество.

— Ой, — простонала мать, которая страшно возмутилась, что он упомянул об этом. Она надеялась, что их сын забудет про праздник.

Лицо мальчика раскраснелось, губы задрожали.

— Я знаю, знаю. А я получу подарок, получу? У меня будет елка? Вы обещали...

— Да, да, ты все это получишь, и даже больше, — успокоил его отец.

— Но... — начала мать.

— Я совершенно серьезно, — сказал отец. — Абсолютно серьезно. Все это и намного больше. А теперь прошу меня простить. Я скоро вернусь.

Его не было примерно двадцать минут. Когда он вернулся, его лицо озаряла радостная улыбка.

— Уже совсем скоро.

— А можно мне подержать твои часы? — спросил мальчик и получил отцовские часы, которые зажал в руке, не сводя глаз со стрелок и слушая их тиканье, в то время как год уходил в пламени, безмолвии и движении вперед, которого никто не ощущал.

— Уже Рождество! Рождество! Где мой подарок?

— Пойдем, — сказал отец, взял мальчика за руку и вывел из каюты.

Они направились по коридору, поднялись вверх по лестнице. Жена следовала за ним.

— Я не понимаю, — повторяла она.

— Скоро все поймешь. Вот мы и пришли, — заявил отец.

Мать, отец и сын остановились возле закрытой двери, ведущей в большое помещение. Отец постучал три раза, а потом еще два — получилось что-то вроде кода. Дверь распахнулась, в каюте погасли все огни, и донеслись приглушенные голоса.

— Входи, сынок, — сказал отец.

— Тут темно.

— Я буду держать тебя за руку. Ну же, мама, не отставай.

Они вошли, дверь сзади захлопнулась, в каюте было совсем темно. И вдруг перед ними возник огромный глаз, иллюминатор, окно высотой в четыре и шириной в шесть футов, а за ним — бескрайний космос.

Мальчик вскрикнул.

Его родители, стоявшие у него за спиной, тоже вскрикнули от неожиданности. Потом в каюте кто-то запел.

— С Рождеством тебя, сынок, — проговорил отец.

Люди пели старинные, знакомые с детства рождественские гимны. Мальчик медленно двинулся вперед и прижался лицом к холодному стеклу иллюминатора. Он стоял долго-долго, просто смотрел и смотрел на космос и глубокую ночь, в которой сияли миллиарды и миллиарды блистающих белых свечей.

МАЛЕНЬКИЕ МЫШКИ

— **С**транные они какие-то, — сказал я. — Ну, эта мексиканская парочка.

— В каком смысле? — спросила жена.

— У них всегда так тихо, — ответил я ей. — Прослушайся.

Наш дом стоял в самой глубине жилого квартала; в свое время к нему сделали небольшую пристройку, и, купив дом, мы с женой сразу решили, что будем ее сдавать. Располагалась она прямо за одной из стен нашей гостиной. Теперь же, замерев возле этой стены, мы различали лишь стук собственных сердец.

— Они точно дома, — прошептал я. — Но за те три года, что они здесь прожили, я ни разу не слышал, чтобы у них что-нибудь упало или они болтали друг с другом. По-моему, они и свет не включают. Боже праведный, что же они там делают?

— Никогда не задумывалась, — ответила моя жена. — Это и вправду очень необычно.

— У них горит только одна лампочка — тусклая, синяя, двадцать пять ватт, та, что в гостиной. Если, проходя мимо, заглянуть в их переднюю дверь — он всегда молча сидит в своем кресле, положив руки на колени. А она, устроившись в другом, смотрит на него и никогда ничего не говорит. Они даже не шевелятся.

— Мне часто кажется, что их нет дома, — сказала жена. — В гостиной у них так темно, что, только если

смотреть долго и глаза привыкают, можно различить их силуэты.

— Когда-нибудь, — проговорил я, — я ворвусь к ним, включу весь свет и начну дико улюлюкать! Господи, уж если меня достает эта тишина, как они-то сами ее выносят? Они ведь умеют разговаривать... Умеют, как ты думаешь?

— Когда он приносит квартплату раз в месяц, он говорит мне «Здравствуйте».

— А еще что?

— «До свидания».

— Если мы встречаемся в аллее, — покачав головой, сказал я, — он улыбается и старается поскорее ретироваться.

Мы с женой устроились вечером в гостиной, чтобы немного почитать, послушать радио и поболтать.

— А радио у них есть?

— Нет ни радио, ни телевизора, ни телефона. Ни книг или журналов, нет даже маленьского клочка бумаги.

— Ерунда какая-то!

— Да перестань ты так волноваться!

— Я все прекрасно понимаю, но невозможно же сидеть в темной комнате в течение двух или трех лет и не перемолвиться друг с другом ни единственным словечком, не слушать радио, не читать. По-моему, они даже не едят. Я ни разу не уловил запаха жарящегося мяса или яичницы. Проклятье, я ни разу не слышал, как они ложатся спать!

— Они просто хотят нас заинтриговать, дорогой.

— У них это отлично получается!

Однажды я отправился прогуляться по нашему кварталу. Был чудесный летний вечер. Возвращаясь, я бросил мимолетный взгляд на переднюю дверь наших соседей. Внутри царила сумрачная тишина, горела маленькая синяя лампочка, и мне удалось разглядеть расплывчатые очертания двух людей, сидящих в креслах. Я стоял и довольно долго смотрел, пока не докурил свою сигарету. Только повернув в сторону собственного дома, я заметил в дверях маленького мексиканца. Он высунулся наружу, но при этом его пухлое

лицо совсем ничего не выражало. Он не шевелился. Просто торчал в дверях и смотрел на меня.

— Добрый вечер, — поздоровался я.

Молчание. Через некоторое время мексиканец скрылся в темной комнате.

Утром маленький мексиканец уходил из дома в семь часов, один, быстро пробегал по аллее, храня точно такое же молчание, как и у себя дома. Она следовала за ним в восемь, шла всегда очень осторожно и казалась какой-то бесформенной в своем мешковатом темном пальто; на завитых в парикмахерской волосах сидит черная шляпка. На протяжении всех этих лет они каждое утро вот так уходили на работу, молча и отчужденно.

— Где они работают? — спросил я за завтраком.

— Он — в мартеновском цехе на сталелитейном заводе. А она — швея в каком-то ателье.

— Тяжелая работенка.

Я напечатал несколько страничек своего романа, посидел немного, потом напечатал еще. В пять часов вечера я увидел, как маленькая мексиканка вернулась домой, открыла замок, быстро проскользнула внутрь, опустила решетку и захлопнула за собой дверь.

Мужчина примчался ровно в шесть. Оказавшись на своем заднем крыльце, быстро успокоился. Тихонько, едва касаясь, провел рукой по решетке — в этот момент он был страшно похож на скребущуюся толстую мышь — и стал терпеливо ждать. Наконец она его впустила. Я не заметил, чтобы губы у них шевелились.

Во время ужина ни единого звука. Ничего не жарилось. Не стучали тарелки.

Включилась маленькая синяя лампочка.

— Он точно так же ведет себя, когда приносит квартплату, — сказала моя жена. — Так тихо стучит в дверь — словно грызет ее, что ли? — я его никогда не слышу. А потом бросаю взгляд в окно и вижу его. Одному Богу известно, сколько времени оностоял, дожидаясь, пока я открою.

Два дня спустя, прекрасным июльским вечером маленький мексиканец вышел на свое заднее крыльцо и, посмотрев на меня — я в это время копался в саду, — сказал:

— Вы сумасшедший! — А потом повернулся к моей жене: — Вы тоже сумасшедшая! — Тихонько помахал своей пухлой рукой. — Вы мне совсем не нравитесь. Слишком много шума. Вы мне не нравитесь. Вы сумасшедшие.

И вернулся в свой маленький домик.

Август, сентябрь, октябрь, ноябрь. «Мыши», как мы теперь их называли, сидели в своей норке тихо-тихо. Как-то раз моя жена дала ему какие-то старые журналы вместе с квитанцией о внесении арендной платы. Маленький мексиканец вежливо улыбнулся, поклонился, взял их, но ничего не сказал. А час спустя жена заметила, как он отнес их во двор на помойку и там скжег.

На следующий день он заплатил за три месяца вперед, рассудив, по всей вероятности, что таким образом ему придется сталкиваться с нами лицом к лицу всего лишь один раз в двенадцать недель. Когда мы встречались на улице, он быстро переходил на другую сторону, делая вид, что ему нужно поздороваться с каким-то воображаемым приятелем. Его женщина точно так же пробегала мимо меня, робко улыбалась, кивала, отчаянно смущалась. Мне ни разу не удалось подойти к ней ближе чем на двадцать ярдов. Когда им нужно было починить водопровод, они ничего нам не сказали: самостоятельно нашли мастера, который, похоже, работал в их доме с фонариком.

— Проклятье, — пожаловался он мне, когда мы встретились в аллее. — Такого дурацкого места я в жизни не видел. В патронах нет ни одной лампочки. Когда я спросил, куда они все подевались, проклятье, эти люди просто улыбнулись мне в ответ!

Я лежал ночью без сна и думал о маленьких мышках. Откуда они? Из Мексики, это мне известно. Из какого района Мексики? С крошечной фермы или из

небольшой деревеньки, стоящей на берегу реки? Конечно же, ни о каком большом городе, как, впрочем, и о маленьком, речи быть не может. Но все равно они, наверное, приехали из такого места, где есть звезды и нормальный свет, где встает и садится солнце, где на небе регулярно появляется луна — они провели там большую часть жизни. И вот оказались здесь, далеко-далеко от дома, в чудовищном городе. Он целый день потеет возле доменной печи, а она, не разгибаясь, орудует иглой в ателье. Они возвращаются сюда, в свой новый дом, по орущему городу, стараясь держаться подальше от грохота машин и визгливых, словно красивые попугай, пивных; они оставляют у себя за спиной миллионы пронзительных воплей, стремятся поскорее оказаться в своей гостиной, где горит синяя лампочка, стоят удобные кресла и царит благословенная тишина.

Я часто думал об этом. Глухой ночью мне казалось, что стоит протянуть руку в этом бесконечном безмолвном мраке, и я почувствую мой дом, услышу сверчка и реку, чьи воды серебрятся под луной, а вдалеке кто-то тихонько поет под аккомпанемент гитары.

Однажды в декабре, поздно вечером загорелся соседний жилой дом. В небо взвились рычащие языки пламени, лавиной посыпались кирпичи, а искры заплясали на крыше пристройки, где жили тихие мышки.

Я принялся колотить в их дверь.

— Пожар! — орал я. — Пожар!

Они неподвижно сидели в своей, освещенной синей лампочкой комнате.

Я стучал в дверь изо всех сил.

— Вы что, не слышите? Пожар!

Прибыли пожарные машины. Стали заливать водой горящий дом. Начали падать новые кирпичи. Четыре из них пробили дыры в крыше маленького домика.

Я забрался наверх и погасил пламя; впрочем, горело там совсем не сильно, тем не менее, когда я спустился, руки у меня были в ссадинах, а лицо перепачкано сажей. Дверь маленького домика открылась. На пороге

стояли тихий маленький мексиканец и его жена — стояли молча, не шевелись.

— Впустите меня! — крикнул я. — В вашей крыше дыра; искры могли попасть в спальню!

Я распахнул дверь пошире и оттолкнул их в сторону.

— Нет! — застонал маленький человечек.

— Ах! — Маленькая женщина бегала кругами, словно сломанная заводная игрушка.

Но я уже был внутри с фонариком в руках. Маленький человечек схватил меня за руку.

Я почувствовал его дыхание.

И тут мой фонарик осветил их комнаты, и многоцветные лучи заиграли на сотнях винных бутылок, стоящих в холле, на кухонных полках, дюжинах, расставленных в гостиной, на тумбочках, шкафах и другой мебели в спальне. Не могу сказать, что произвело на меня более сильное впечатление — дыра в потолке спальни или сияние бесконечных рядов бутылок. Я не смог их сосчитать, попытался, но быстро сбежался. Это было похоже на вторжение блестящих жуков, которых неожиданно сразила какая-то древняя болезнь, и они попадали замертво, а потом так и остались лежать там, где их настигла судьба.

Я вошел в спальню и почувствовал, что мужчина и женщина стоят у меня за спиной в дверях. Я слышал их громкое дыхание, ощущал на себе их глаза. Я отвел фонарик от сверкающих бутылок и старательно направил луч света на отверстие в потолке. Больше я не отвлекался от того, зачем сюда пришел.

Маленькая женщина заплакала. Она плакала очень тихо. Ни тот ни другая не шевелились.

На следующее утро они съехали.

Прежде чем мы это сообразили — ведь было шесть часов утра, — маленькие мышки уже пробежали половину аллеи со своими чемоданами в руках, которые казались такими легкими, что вполне могли быть пустыми. Я попытался их остановить. Попытался уговорить остаться. Я сказал им, что они наши друзья, старые друзья. Я сказал, что ничего не изменилось. Они не имеют никакого отношения к пожару, сказал я, и к

крыше тоже. Они всего лишь случайные свидетели, убеждал я их. Я сказал, что сам починю крышу, бесплатно, не возьму с них за ремонт ничего!

Но они на меня даже не взглянули. Пока я говорил, они смотрели на дом и ту часть аллеи, что лежала перед ними. А потом, когда я замолчал, стали кивать — не мне, а аллее, — словно соглашаясь, что пора идти, медленно двинулись вперед, а потом побежали. Мне показалось, что они спасались бегством от меня, мчались все дальше и дальше, в сторону улицы, где так много машин и автобусов, где оглушительные, громогласные проспекты переплетаются в сложном рисунке загадочного лабиринта. Они спешили, но держались гордо, высоко подняв головы и не оглядываясь назад.

Я встретил их еще раз по чистой случайности. В один из предпраздничных дней, под Рождество, заметил маленького мексиканца: он торопливо шагал по освещенной вечерними огнями улице впереди меня. Не знаю почему, но я пошел вслед за ним. Когда он поворачивал, я тоже поворачивал. Наконец, за пять кварталов до нашего района, он тихонько поскребся в дверь маленького белого домика. Та открылась, а потом быстро захлопнулась, когда он вошел внутрь. На город опустилась ночь, и в крошечной гостиной загорелся тусклый синий свет. Мне показалось, будто я увидел два силуэта: он — в своей части комнаты, в кресле, а она — в другой; показалось, что они сидят в темноте, сидят неподвижно, а за креслами на полу начинают скапливаться бутылки... И ни единого звука, ни единого слова друг другу. Только тишина. Впрочем, вполне возможно, что я все это просто вообразил.

Я не постучал в дверь. Прошел мимо, по длинному проспекту, прислушиваясь к визгливому, птичьему гомону баров и забегаловок. Купил газету, журнал и какую-то книгу. А потом отправился домой, где горит яркий свет, а на столе ждет горячая еда.

БЕРЕГ НА ЗАКАТЕ

По колено в воде, с выброшенным волной обломком доски в руках, Том прислушался.

Вечерело, из дома, что стоял на берегу, у проезжей дороги, не доносилось ни звука. Там уже не стучат ящики и дверцы шкафов, не щелкают замки чемоданов, не разбиваются в спешке вазы: напоследок захлопнулась дверь — и все стихло.

Чико тряс проволочным ситом, просеивая белый песок, на сетке оставался урожай потерянных монет. Он помолчал еще минуту, потом, не глядя на Тома, сказал:

— Туда ей и дорога.

Вот так каждый год. Неделю или, может быть, месяц из окон их дома льется музыка, на перилах веранды расцветает в горшках герань. Двери и крыльца блестят свежей краской. На бельевой веревке полощутся на ветру то нелепые пестрые штаны, то модное узкое платье, то мексиканское платье ручной работы, словно белопенные волны плещут за домом. В доме на стенах картинки «под Матисса» сменяются подделками под итальянский Ренессанс. Иногда, поднимая глаза, видишь — женщина сушит волосы, будто ветер развеивает ярко-желтый флаг. А иногда флаг черный или медно-красный. Женщина четко вырисовывается на фоне неба, иногда она высокая, иногда маленькая. Но никогда не бывает двух женщин сразу, всегда только одна. А потом настает такой день, как сегодня...

Том опустил обломок на все растущую груду плавника неподалеку от того места, где Чико просеивал миллионы следов, оставленных ногами людей, которые здесь отдыхали и развлекались и давно уже убрались восвояси.

— Чико... Что мы тут делаем?

— Живем как миллионеры, парень.

— Что-то я не чувствую себя миллионером, Чико.

— А ты старайся, парень.

И Тому представилось, как будет выглядеть их дом через месяц: из цветочных горшков летит пыль, на стенах пятна от снятых картинок, на полу ковром песок. От ветра комнаты смутно гудят, точно раковины. И ночь за ночью, всю ночь напролет, каждый у себя в комнате, они с Чико будут слушать, как набегает на бесконечный берег косая волна и уходит все дальше, дальше, не оставляя следа.

Том чуть заметно кивнул. Раз в год он и сам при водил сюда славную девушку, он знал: наконец-то он нашел ее, настоящую, и совсем скоро они поженятся. Но его девушки всегда ускользали неслышно еще до зари — каждая чувствовала, что ее приняли не за ту и ей не под силу играть эту роль. А приятельницы Чико уходили с шумом и громом, поднимая вихрь и смерч, перетряхивали на пути все до последней пылинки, точно пылесос, выдирали жемчужину из последней ракушки, утаскивали все, что только могли, совсем как зубастые собачонки, которых иногда для забавы ласкал и дразнил Чико.

— Уже четыре женщины за этот год.

— Ладно, судья. — Чико ухмыльнулся. — Матч окончен, проводи меня в душ.

— Чико... — Том прикусил нижнюю губу, договорил не сразу: — Я вот все думаю. Может, нам разделиться?

Чико молча смотрел на него.

— Понимаешь, — заторопился Том, — может, нам врозь больше повезет.

— Ах, черт меня побери, — медленно произнес Чико и крепко стиснул руцищами сито. — Послушай, парень,

ты что, забыл, как обстоит дело? Мы тут доживем до двухтысячного года. Мы с тобой два старых безмозглых болвана, которым только и осталось греться на солнышке. Надеяться нам не на что, ждать нечего — поздно, Том. Вбей себе это в башку и не болтай зря.

Том проглотил комок, застрявший в горле, и в упор посмотрел на Чико:

— Я, пожалуй, на той неделе уйду...

— Заткнись! Заткнись и знай работай.

Чико яростно тряхнул ситом, в котором набралось сорок три цента мелочью — полпенни, пенни и даже десятицентовики. Невидящими глазами он уставился на свою добычу, монеты поблескивали на проволочной сетке, точно шарики китайского бильярда.

Том замер недвижно, затаил дыхание.

Казалось, оба чего-то ждали.

И вот оно случилось.

— А-а-а...

Издали донесся крик.

Оба медленно обернулись.

Отчаянно крича и размахивая руками, к ним бежал по берегу мальчик. И в голосе его было что-то такое, от чего Тома пробрала дрожь. Он обхватил себя руками за плечи и ждал.

— Там... там...

Мальчик подбежал, задыхаясь, ткнул рукой назад вдоль берега.

— ...женщина... у Северной скалы... чудная какая-то!

— Женщина? — воскликнул Чико и захохотал. —

Нет уж, хватит!

— А чем она чудная? — спросил Том.

— Не знаю! — Глаза у мальчишки были совсем круглые от страха. — Вы подите поглядите. Страсть какая чудная!

— Утопленница, что ли?

— Может, и так. Выплыла и лежит на берегу, вы сами поглядите... чудно... — Мальчишка умолк. Опять обернулся в ту сторону, откуда прибежал. — У нее рыбий хвост.

Чико засмеялся:

— Мы пока еще трезвые.

— Я не вру! Честное слово! — Мальчик нетерпеливо переступал с ноги на ногу. — Ох, пожалуйста, скажи!

Он бросился было бежать, но почувствовал, что они за ним не идут, и в отчаянии обернулся.

Неожиданно для себя Том выговорил непослушными губами:

— Навряд ли мальчишка бежал в такую даль, только чтобы нас разыграть.

— Бывает, и не из-за таких пустяков бегают, — возразил Чико.

— Ладно, сынок, иду, — сказал Том.

— Спасибо. Ой, спасибо, мистер!

И мальчик побежал дальше. Пройдя шагов тридцать, Том оглянулся. Чико, щурясь, смотрел ему вслед, потом пожал плечами, устало отряхнул руки от песка и поплелся за ним.

Они шли на север по песчаному берегу, в предвечернем свете видны были морщинки, прорезавшиеся на загорелых лицах вокруг блеклых, выцветших на солнце глаз; оба казались моложе своих лет, в коротко остриженных волосах седина незаметна. Дул свежий ветер, волны океана с протяжным гулом бились о берег.

— А вдруг это правда? — сказал Том. — Вдруг мы приедем к Северной скале, а там волной и впрямь что-то такое вынесло?

Но Чико еще не успел ответить, а Том был уже далеко, мысли его унеслись к иным берегам, где полным-полно гигантских крабов, где на каждом шагу — луна-рыба и морские звезды, бурые водоросли и редкостные камни. Не раз ему случалось толковать про то, сколько диковинных тварей живет в море, и теперь в мерном дыхании прибоя ему слышались их имена. «Аргонавты, — нашептывали волны, — треска, сайда, сарган, устрица, линь, морской слон, — нашептывали они, — лосось и камбала, белуга, белый кит и касатка, морская собака...» Удивительные у них имена, и стараешься

представить себе, какие же они все с виду. Быть может, никогда в жизни не удастся подсмотреть, как пасутся они на соленых лугах, куда не смеешь ступить с опасной твердой земли, а все равно они там, и эти имена, и еще тысячи других вызывают перед глазами удивительные образы. Смотришь — и хочется стать птицей-фрегатом с могучими крыльями, что улетает за тридевять земель и возвращается через годы, повидав все моря и океаны.

— Ой, скорее! — Мальчишка опять подбежал к Тому, заглянул в лицо. — Вдруг она уплывет!

— Не трепыхайся, малец, поспокойнее, — посоветовал Чико.

Они обогнули Северную скалу. За нею стоял еще один мальчик и неотрывно глядел на песок.

Быть может, краешком глаза Том увидел на песке такое, на что не решился посмотреть прямо, и он уставился на этого второго мальчишку. Мальчик был бледен и, казалось, не дышал. Изредка он словно спохватывался, переводил дух, и взгляд его на миг становился осмысленным, но потом опять упирался в то, что лежало на песке, и чем дольше он смотрел, тем растерянней, ошеломленней становилось его лицо, и опять стекленили глаза. Волна плеснула ему на ноги, намочила теннисные туфли, а он не шевельнулся, даже и не заметил.

Том перевел взгляд с лица мальчика на песок.

И тотчас у него самого лицо стало такое же. Руки, повисшие вдоль тела, напряглись, сжались кулаки, губы дрогнули и приоткрылись, и светлые глаза словно еще больше выцвели от того, что увидели и пытались в обрать.

Солнце стояло низко, еще десять минут — и оно скроется за гладью океана.

— Накатила большая волна и ушла, а она тут осталась, — сказал первый мальчик.

На песке лежала женщина.

Ее волосы, длинные-длинные, протянулись по песку, точно струны огромной арфы. Вода перебирала их пря-

ди, поднимала и опускала, и каждый раз они ложились по-иному, чертили иной узор на песке. Длиною они были футов пять, даже шесть, они разметались на твердом сыром песке, и были они зеленые-зеленые.

Лицо ее...

Том и Чико наклонились и смотрели во все глаза.

Лицо будто изваяно из белого песка, брызги волн мерцают на нем каплями летнего дождя на лепестках чайной розы. Лицо — как луна средь бела дня, бледная, неправдоподобная в синеве небес. Мраморно-белое, с чуть заметными синеватыми прожилками на висках. Сомкнутые веки чуть голубеют, как будто сквозь этот тончайший покров недвижно глядят зрачки и видят людей, что склонились над нею и смотрят, смотрят... Нежные пухлые губы, бледно-алые, как морская роза, плотно сомкнуты. Белую стройную шею, белую маленькую грудь, набегая, скрывает и вновь обнажает волна — набежит и отхлынет, набежит и отхлынет... Розовеют кончики грудей, белеет тело — белое-белое, ослепительное, точно легла на песок зеленовато-белая молния. Волна покачивает женщину, и кожа ее отсвечивает, словно жемчужина.

А ниже эта поразительная белизна переходит в бледную, нежную голубизну, а потом бледно-голубое переходит в бледно-зеленое, а потом в изумрудно-зеленое, в густую зелень мхов и лип, а еще ниже сверкает, искрится темно-зеленый стеклярус и темно-зеленые цехины, и все это струится, переливается зыбкой игрой света и тени и заканчивается разметавшимся на песке кружевным веером из пены и алмазов. Меж двумя половинами этого создания нет границы, женщина-жемчужина, светящаяся белизной, вся из чистейшей воды и ясного неба, неуловимо переходит в существо, рожденное скользить в пучинах и мчаться в буйных стремительных водах, что снова и снова набегают на берег и каждый раз пытаются, отпрянув, увлечь ее за собой в родную глубь. Эта женщина принадлежит морю, она сама — море. Они — одно, их не разделяет и не соединяет никакой рубец или

морщинка, ни единой стежок или шов; и кажется — а быть может, не только кажется, — что кровь, которая струится в жилах этого создания, опять и опять переливается в холодные воды океана и смешивается с ними.

— Я хотел звать на помощь, — первый мальчик говорит чуть слышно. — А Прыгун сказал, она мертвая, ей все равно не поможешь. Неужто померла?

— А она и не была живая, — вдруг сказал Чико, и все посмотрели на него. — Ну да, — продолжал он. — Просто ее сделали для кино. Натянули резину на проволочный каркас, да и все. Это кукла, марионетка.

— Ой, нет! Она настоящая!

— Наверно, и фабричная марка где-нибудь есть, — сказал Чико. — Сейчас поглядим.

— Не надо! — охнул первый мальчик.

— Фу, черт...

Чико хотел перевернуть тело, но, едва коснувшись его, замер. Опустился на колени, и лицо у него стало какое-то странное.

— Ты что? — спросил Том.

Чико поднес свою руку к глазам, недоуменно уставился на нее.

— Стало быть, я ошибся... — Ему словно не хватало голоса.

Том взял руку женщины повыше кисти.

— Пульс бьется.

— Это ты свое сердце слышишь.

— Ну, не знаю... а может... может быть...

На песке лежала женщина, и выше пояса вся она была как пронизанный луною жемчуг и пена прилива, а ниже пояса блестели и вздрагивали под дыханием ветра и волн и напльвали друг на друга черные с прозеленью старинные монеты.

— Это какой-то фокус! — неожиданно выкрикнул Чико.

— Нет, нет! — Так же неожиданно Том засмеялся. — Никакой не фокус! Вот здорово-то! С малых лет мне не было так хорошо!

Они медленно обошли вокруг женщины. Волна коснулась белой руки, и пальцы едва заметно дрогнули, будто поманили. Будто она звала и просила: пусть придет еще волна, и еще, и еще... пусть поднимет пальцы, ладонь, руку до локтя, до плеча, а там и голову, и все тело, пусть унесет ее всю назад в морскую глубь.

— Том... — начал Чико и запнулся, потом договорил: — Ты бы сходил поймал грузовик.

Том не двинулся с места.

— Слыхал, что я говорю?

— Да, но...

— Чего там «но»? Мы эту штуку продадим куданибудь, уж не знаю... в университет, или в аквариум на Тюленьем берегу, или... черт возьми, да почему бы нам самим ее не показывать? Слушай... — Он потряс Тома за плечо: — Езжай на пристань. Купи триста фунтов битого льда. Ведь если что выловишь из воды, всегда надо хранить во льду, верно?

— Не знаю, не думал про это.

— Так вот подумай. Да пошевеливайся!

— Не знаю, Чико.

— Чего тут не знать? Она настоящая, верно? — Чико обернулся к мальчикам: — Вы же сами говорите, что она настоящая. Так какого беса мы все ждем?

— Чико, — сказал Том, — ты уж лучше ступай за льдом сам.

— Надо ж кому-то остаться и приглядеть, чтоб ее отсюда не смыло!

— Чико, — сказал Том, — уж не знаю, как тебе объяснить. Неохота мне добывать этот твой лед.

— Ладно, сам поеду. А вы, ребята, подгребите побольше песка, чтоб волны до нее не доставали. Я вам за это дам по пять монет на брата. Ну, поживей!

Смуглые лица мальчиков стали красновато-бронзовыми от лучей солнца, которое краешком уже коснулось горизонта. И глаза их, устремленные на Чико, тоже были цвета бронзы.

— Чтоб мне провалиться! — сказал Чико. — Эта находка получше серой амбры. — Он взбежал на

ближнюю дюну, крикнул оттуда: — А ну, давайте работайте! — И исчез из виду.

А Том и оба мальчика остались у Северной скалы рядом с женщиной, одиноко лежащей на берегу, и солнце на западе уже на четверть скрылось за горизонтом. Песок и женщина стали как розовое золото.

— Махонькая черточка — и все, — прошептал второй мальчик.

Ногтем он тихонько провел у себя по шее. И кивнул на женщину. Том опять наклонился и увидел под твердым маленьkim подбородком справа и слева чуть заметные тонкие линии — здесь были раньше, может быть, давно, жабры; сейчас они плотно закрылись, их едва можно было различить.

Он всмотрелся в ее лицо, длинные пряди волос лежали на песке, словно лира.

— Красивая, — сказал он.

Мальчики, сами того не замечая, согласно кивнули.

Позади них с дюны шумно взлетела чайка. Мальчики ахнули, порывисто обернулись.

Тома пробила дрожь. Он видел, что и мальчиков трясет. Где-то рявкнул автомобильный гудок. Все испуганно мигнули. Поглядели вверх, в сторону дороги.

Волна плеснула на тело, окружила его прозрачной водяной рамкой.

Том кивнул мальчикам, чтоб отошли в сторону.

Волна приподняла тело, сдвинула его на дюйм вверх, потом, уходя, на два дюйма вниз, к воде.

Набежала новая волна, сдвинула тело на два дюйма вверх, потом, уходя, на шесть дюймов вниз, к воде.

— Но ведь... — сказал первый мальчик.

Том покачал головой.

Третья волна снесла тело на два фута ближе к краю воды. Следующая сдвинула его еще на фут ниже, на мокрую гальку, а три нахлынувшие следом — еще на шесть футов.

Первый мальчик вскрикнул и кинулся к женщине.

Том перехватил его на бегу, придержал за плечо. Лицо у мальчишки стало растерянным, испуганным и несчастным.

На минуту море притихло, успокоилось. Том смотрел на женщину и думал — да, настоящая, та самая, моя... но... она мертва. А может, и не мертва, но, если останется здесь, умрет.

— Нельзя ее упустить! — сказал первый мальчик. — Никак, ну никак нельзя!

Второй мальчик шагнул и стал между женщиной и морем.

— А если оставим ее у себя, что будем с ней делать? — спросил он, требовательно глядя на Тома.

Первый напряженно думал.

— Мы... мы... — запнулся, покачал головой. — Ах ты, черт!

Второй шагнул в сторону, освобождая путь к морю.

Нахлынула огромная волна. А потом она склынула, и остался один только песок, и на нем — ничего. Белизна, черные алмазы, струны большой арфы — все исчезло.

Они стояли у самой воды — взрослый и двое мальчишек — и смотрели вдали... а потом позади, на дюнах, взревел грузовик.

Солнце зашло.

Послышались тяжелые торопливые шаги по песку и громкий сердитый крик.

В грузовичке на широких колесах они долго ехали по темнеющему берегу и молчали. Мальчики сидели в кузове на мешках с битым льдом. Потом Чико стал ругаться, он ругался вполголоса, без устали, поминутно сплевывая за окошко.

— Триста фунтов льда. Триста фунтов!! Куда я теперь его дену? И промок насеквоздь, хоть выжми. Я-то сразу нырнул, плавал, искал ее, а ты и с места не двинулся. Болван, разиня! Вечно все испортит! Вечно одно и то же! Пальцем не пошевельнет, стоит столбом, хоть бы сделал что-нибудь, так нет же, только глазами хлопает!

— Ну а ты что делал, скажи на милость? — устало сказал Том, не поворачивая головы. — Ты тоже верен себе, вечно та же история. На себя поглядел бы.

Они высадили мальчиков возле их лачуги на берегу. Младший сказал так тихо, что еле можно было расслышать сквозь шум ветра:

— Надо же, никто и не поверит...

Они поехали берегом дальше, остановили машину.

Чико минуты три сидел не шевелясь, потом кулаки его, стиснутые на коленях, разжались, и он фыркнул:

— Черт подери. Пожалуй, так оно к лучшему. — Он глубоко вздохнул. — Я сейчас подумал. Забавная штука. Годиков эдак через тридцать среди ночи вдруг зазвонит у нас телефон. Вот эти самые парнишки, только они уже выросли, выпивают где-нибудь там, в баре, и вот один звонит нам по междугородному. Среди ночи звонит, понадобилось им задать один вопрос. Это, мол, все правда, верно ведь? Это, мол, на самом деле было, верно? Случилось с нами со всеми такое когда-то там, в девятьсот пятьдесят восьмом? А мы с тобой сидим на краю постели — ночь ведь — и отвечаем: верно, ребятки, все чистая правда, было с нами такое дело в пятьдесят восьмом году. И они скажут: вот спасибо! А мы им: не стоит благодарности, всегда к вашим услугам. И мы все прощаемся. А еще годика через три, глядишь, парнишки опять позвонят.

Вдвоем они долго сидели в темноте на ступеньках крыльца.

— Том.

— Что?

Чико договорил не сразу:

— Том... на той неделе ты не уедешь.

Том задумался, сжимая в пальцах давно погасшую сигарету. И понял: никуда он теперь отсюда не уедет. Нет, и завтра, и послезавтра, и каждый день, каждый день он будет спускаться к воде и кидаться в темные провалы под высокие, изогнутые гребни волн и плавать среди зеленых кружев и слепящих белых огней. Завтра, послезавтра, всегда.

— Верно, Чико. Я остаюсь.

И вот на берег, что протянулся на тысячу миль к северу и на тысячу миль к югу, надвигается нескончаемая извилистая вереница серебряных зеркал. Ни единого дома не отражают они, ни единого дерева, ни дороги, ни машины, ни хотя бы человека. В них отражается лишь безмолвная, невозмутимая луна, и тотчас они разбиваются, разлетаются мириадами осколков и покрывают весь берег зыбкой тускнеющей пеленой. Ненадолго океан темнеет, готовясь выдвинуть новую вереницу зеркал на диво этим двоим, а они все сидят на песке и смотрят, смотрят, не мигая, и ждут.

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ОКОШКО

Eму снилось, что он закрывает парадную дверь с цветными стеклами — тут и земляничные стекла, и лимонные, и совсем белые, как облака, и прозрачные, как родник. Две дюжины разноцветных квадратиков обрамляют большое стекло посередине; одни цветом как вино, как настойка или фруктовое желе, другие — прохладные, как льдинки. Помнится, когда он был совсем еще малыш, отец подхватывал его на руки и говорил:

— Гляди!

И за зеленым стеклом весь мир становился изумрудным, точно мох, точно летняя мята.

— Гляди!

Сиреневое стекло обращало прохожих в гроздья блеклого винограда. И наконец земляничное окошко в любую пору омывало город теплой розовой волной, окружало алой рассветной дымкой, а свежескошенная лужайка становилась точь-в-точь ковер с какого-нибудь персидского базара. Земляничное окошко, самое лучшее из всех, покрывало румянцем бледные щеки, и холодный осенний дождь теплел, и февральская метель вспыхивала вихрями веселых огоньков.

— А-ах...

Он проснулся.

Мальчики разбудили его своим негромким разговором, но он еще не совсем очнулся от сна и лежал в

темноте, слушал, как печально звучат их голоса... Так бормочет ветер, вздымая белый песок со дна пересохших морей, среди синих холмов... И тогда он вспомнил.

Мы на Марсе.

— Что? — вскрикнула спросонок жена.

А он и не заметил, что сказал это вслух; он старался лежать совсем тихо, боялся шелохнуться. Но уже возвращалось чувство реальности и с ним странное оцепенение; вот жена встала, бродит по комнате, точно призрак: то к одному окну подойдет, то к другому — а окна в их сборном металлическом домике маленькие, прорезаны высоко, — и подолгу смотрит на ясные, но чужие звезды.

— Кэрри, — прошептал он.

Она не слышала.

— Кэрри, — шепотом повторил он, — мне надо сказать тебе... целый месяц собирался. Завтра... завтра утром у нас будет...

Но жена сидела в голубоватом отсвете звезд, точно каменная, и даже не смотрела в его сторону.

Он зажмурился.

Вот если бы солнце никогда не заходило, думал он, если бы ночей вовсе не было... ведь днем он сколачивает сборные дома будущего поселка, мальчики в школе, а Кэрри хлопочет по хозяйству — уборка, стряпня, огород... Но после захода солнца уже не надо рыхлить клумбы, заколачивать гвозди или решать задачки, и тогда в темноте, какочные птицы, ко всем слетаются воспоминания.

Жена пошевелилась, чуть повернула голову.

— Боб, — сказала она наконец, — я хочу домой.

— Кэрри!

— Здесь мы не дома, — сказала она.

В полутьме ее глаза блестели, полные слез.

— Потерпи еще немножко, Кэрри.

— Нет у меня больше никакого терпенья!

Двигаясь как во сне, она открывала ящики комода, вынимала стопки носовых платков, белье, рубашки и укладывала на комод сверху — машинально, не глядя.

Сколько раз уже так бывало, привычка. Скажет так, достанет вещи из комода и долго стоит молча, а потом уберет все на место и с застывшим лицом, с сухими глазами снова ляжет, будет думать, вспоминать. Ну а вдруг настанет такая ночь, когда она опустошит все ящики и возьмется за старые чемоданы, что составлены горкой у стены?

— Боб... — В ее голосе не слышно горечи, он тихий, ровный, тусклый, как лунный свет, при котором видно каждое ее движение. — За эти полгода я уж сколько раз по ночам так говорила, просто стыд и срам. У тебя работа тяжелая, ты строишь город. Когда человек так тяжело работает, жена не должна ему плакаться и жилья из него тянуть. Но надо же душу отвести, не могу я молчать. Больше всего я истосковалась по мелочам. По ерунде какой-то, сама не знаю. Помнишь качели у нас на веранде? И плетеную качалку? Дома, в Огайо, летним вечером сидишь и смотришь, кто мимо пройдет или проедет. И наше пианино расстроенное. И какой-никакой хрусталь. И мебель в гостиной... Ну да, конечно, она вся старая, громоздкая, неуклюжая, я и сама знаю... И китайская люстра с подвесками, как подует ветер, они и звенят. А в летний вечер сидишь на веранде и можно перемолвиться словечком с соседями. Все это вздор, глупости... все это неважно. Но почему-то, как проснешься в три часа ночи, отбоя нет от этих мыслей. Ты меня прости.

— Да разве ты виновата, — сказал он. — Марс — место чужое. Тут все не как дома — и пахнет чудно, и на глаз непривычно, и на ощупь. Я и сам ночами про это думаю. А на Земле какой славный наш городок!

— Весной и летом весь в зелени, — подхватила жена. — А осенью все желтое да красное. И дом у нас был славный. И какой старый, Господи, лет восемьдесят, а то и все девяносто! По ночам, бывало, я все слушала, он вроде разговаривает, шепчет. Дерево-то сухое — и перила, и веранда, и пороги. Только тронь — и отзовется. Каждая комната на свой лад. А если у тебя весь дом разговаривает, это как семья: собрались ночью вокруг родные и баюкают — спи, мол, усни. Таких

домов нынче не строят. Надо, чтобы в доме жило много народа — отцы, деды, внуки, тогда он с годами и обживается, и согреется. А эта наша коробка... да она и не знает, что я тут, ей все одно, жива я или померла. И голос у нее жестяной, а жесть — она холодная. У нее и пор таких нет, чтоб годы впитались. Погреба нет, некуда откладывать припасы на будущий год и еще на потом. И чердака нету, некуда прибрать всякое старье, что осталось с прошлого года и что было еще до твоего рождения. Знаешь, Боб, вот было бы у нас тут хоть немножко старого, привычного, тогда и со всем новым можно бы сжиться. А когда все-все новое, чужое, каждая малость, так вовек не свыкнешься.

В темноте он кивнул:

— Я и сам так думал.

Она смотрела туда, где на чемоданах, прислоненных к стене, поблескивали лунные блики. И протянула руку.

— Кэрри!

— Что?

Он порывисто сел, спустил ноги на пол.

— Кэрри, я учинил одну несусветную глупость. Все эти месяцы я ночами слушаю, как ты тоскуешь по дому, и мальчики тоже просыпаются и шепчутся, и ветер свистит, и за стеной Марс, моря эти высохшие... и... — Он запнулся, трудно глотнул. — Ты должна понять, что я такое сделал и почему. Месяц назад у нас были в банке деньги, сбережения за десять лет, так вот, я их истратил все как есть, без остатка.

— Боб!!!

— Я их выбросил, Кэрри, честное слово, пустил на ветер. Думал всех порадовать. А вот сейчас ты так говоришь, и эти распроклятые чемоданы тут стоят, и...

— Как же так, Боб? — Она повернулась к нему. — Стало быть, мы торчали здесь, на Марсе, и терпели здешнюю жизнь, и откладывали каждый грош, а ты взял да все сразу и просадил?

— Сам не знаю, может, я просто рехнулся, — сказал он. — Слушай, до утра уже недалеко. Встанем пораньше. Пойдешь со мной и сама увидишь, что я сделал. Ничего не хочу говорить, сама увидишь. А если это все

зря — ну что ж, чемоданы — вот они, а ракета на Землю идет четыре раза в неделю.

Кэрри не шевельнулась.

— Боб, Боб... — шептала она.

— Не говори сейчас, не надо, — попросил муж.

— Боб, Боб...

Она медленно покачала головой, ей все не верилось.

Он отвернулся, вытянулся на кровати с одного боку, а она села с другого боку и долго не ложилась, все смотрела на комод, где так и остались сверху наготове ровные стопки носовых платков, белье, ее кольца и безделушки. А за стенами ветер, пронизанный лунным светом, вздувал уснувшую пыль и развеивал ее в воздухе.

Наконец Кэрри легла, но не сказала больше ни слова, лежала, как неживая, и остановившимися глазами смотрела в ночь, в длинный-длинный туннель — когда же там, в конце, забрезжит рассвет?

Она поднялась чуть свет, но тесный домишко не ожил — стояла гнетущая тишина. Отец, мать и сыновья молча умылись и оделись, молча принялись за поджаренный хлеб, фруктовый сок и кофе, и под конец от этого молчания уже хотелось завопить; никто не смотрел прямо в лицо другому, все следили друг за другом исподтишка, по отражениям в фарфоровых и никелированных боках тостера, чайника, сахарницы — искривленные, искаженные черты казались в этот ранний час до ужаса чужими. Потом наконец отворили дверь (в дом ворвался ветер, что дует над холодными марсианскими морями, где ходят, опадают и снова встают призрачным прибоем одни лишь голубые пески) и вышли под голое, пристальное, холодное небо и побрали к городу, который казался только декорацией там, в дальнем конце огромных пустых подмостков.

— Куда мы идем? — спросила Кэрри.

— На космодром, — ответил муж. — Но по дороге я должен вам много чего сказать.

Мальчики замедлили шаг и теперь шли позади родителей и прислушивались. А отец заговорил, глядя прямо перед собой; он говорил долго и ни разу не

оглянулся на жену и сыновей, не посмотрел, как принимают они его слова.

— Я верю в Марс, — начал он негромко. — Верю, придет время — и он станет по-настоящему нашим. Мы его одолеем. Мы здесь обживемся. Мы не пойдем на попятный. С год назад, когда мы только-только прилетели, я вдруг будто споткнулся. Почему, думаю, нас сюда занесло? А вот потому. Это как с лососем, каждый год та же история. Лосось, он и сам не знает, почему плывет в дальние края, а все равно плывет. Вверх по течению, по каким-то рекам, которых он не знает и не помнит, по быстрине, через водопады перескаивает — и под конец добирается до того места, где мечет икру, а потом умирает, и все начинается сизнова. Родовая память, инстинкт — назови как угодно, но так оно и идет. Вот и мы забрались сюда.

Они шли в утренней тишине, бескрайнее небо не отступно следило за ними, странные голубые и белые, точно клубы пара, пески струились под ногами по недавно проложенному шоссе.

— Вот и мы забрались сюда. А после Марса куда двинемся? На Юпитер, Нептун, Плутон и еще дальше? Верно. Еще дальше. А почему? Когда-нибудь настанет день — и наше солнце взорвется, как дырявый котел. Бац — и от Земли следа не останется. А Марс, может быть, и не пострадает, а если и пострадает, так, может, Плутон уцелеет, а если нет, что тогда будет с нами, то бишь с нашими правнуками?

Он упорно смотрел вверх, в ясное чистое небо цвета спелой сливы.

— Что ж, а мы тогда будем, может быть, где-нибудь в неизвестном мире, у которого и названия пока нет, только номер... скажем, шестая планета девяносто седьмой звездной системы или планета номер два системы девяносто девять! И такая это чертова даль, что сейчас ни в страшном сне, ни в бреду не представишь! Мы улетим отсюда, понимаете, уберемся подальше — и уцелеем! И тут я сказал себе: ага! Вот почему мы прилетели на Марс, вот почему люди запускают в небо ракеты!

— Боб...

— Погоди, дай досказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтобы поглазеть на разные разности. Так многие говорят, но это все вранье, выдумки. Говорят — летим, чтоб разбогатеть, чтобы прославиться. Говорят — для развлечения, скучно, мол, сидеть на одном месте. А на самом деле внутри знай что-то тикает, все равно как у лосося или у кита и у самого ничтожного невидимого микробы. Такие крохотные часики, они тикают в каждой живой твари, и знаешь, что они говорят? Иди дальше, говорят, не засиживайся на месте, не останавливайся, плыви и плыви. Лети к новым мирам, строй новые города, еще и еще, чтоб ничто на свете не могло убить Человека. Понимаешь, Кэрри? Ведь это не просто мы с тобой прилетели на Марс. От того, что мы успеем на своем веку, зависит судьба всех людей, черт подери, судьба всего рода людского. Даже смешно, вон куда махнул, а ведь это так огромно, что страх берет.

Сыновья, не отставая, шли за ним, и Кэрри шла рядом, хотелось поглядеть на нее, прочесть по ее лицу, как она принимает его слова, но он не повернул головы.

— Помню, когда я был мальчишкой, у нас сломалась сеялка, а на починку не было денег, и мы с отцом вышли в поле и кидали семена просто горстью — так вот, сейчас то же самое. Сеять-то надо, иначе потом жать не придется. О Господи, Кэрри, ты только вспомни, как писали в газетах, в воскресных приложениях: **ЧЕРЕЗ МИЛЛИОН ЛЕТ ЗЕМЛЯ ОБРАТИТСЯ В ЛЕД!** Когда-то, мальчишкой, я ревмя ревел над такими статьями. Мать спрашивает — чего ты? А я отвечаю — мне их всех жалко, бедняг, которые тогда будут жить на свете. А мать говорит — ты о них не беспокойся. Так вот, Кэрри, я про что говорю: на самом-то деле мы о них беспокоимся. А то бы мы сюда не забрались. Это очень важно, чтобы Человек с большой буквы жил и жил. Для меня Человек с большой буквы — это главное. Понятно, я пристрастен, потому как я и сам того же рода-племени. Но только люди всегда рассуждают насчет бессмертия, так вот, есть один-единственный способ этого самого бессмертия добиться: надо идти дальше, засеять Вселенную. Тогда, если где-то в одном

месте и случится засуха или еще что, все равно будем с урожаем. Даже если на Землю нападет ржа и недород. Зато новые всходы поднимутся на Венере или где там еще люди поселятся через тысячу лет. Я на этом помешался, Кэрри, право слово, помешался. Как дошел до этой мысли, прямо загорелся, хотел схватить тебя, ребят, каждого встречного и поперечного и всем про это рассказать. А потом подумал: вовсе ни к чему рассказывать. Придет такой день или, может, ночь, и вы сами услышите, как в вас тоже тикают эти часики, и сами все поймете, и не придется ничего объяснять. Я знаю, Кэрри, это громкие слова и, может, я слишком важно рассуждаю, я ведь не велика птица, даже ростом не вышел, но только ты мне поверь — это все чистая правда.

Они уже шли по городу и слушали, как гулко отдаются их шаги на пустынных улицах.

— А что же сегодняшнее утро? — спросила Кэрри.

— Сейчас и про это скажу. Понимаешь, какая-то часть меня тоже рвется домой. А другой голос во мне говорит: если мы отступим, все пропало. Вот я и подумал: чего нам больше всего недостает? Каких-то старых вещей, к которым мы привыкли — и мальчики, и ты, и я. Ну, думаю, если без какого-то старья нельзя пустить в ход новое, так, ей-Богу, я этим старым воспользуюсь. Помню, в учебниках истории говорится: тысячу лет назад люди, когда кочевали с места на место, выдалбливали коровий рог, клали внутрь горящие уголья и весь день их раздували и вечером на новом месте разжигали огонь от той искорки, что сберегли с утра. Огонь каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого. Вот я стал взвешивать и обдумывать. Стойте Старое того, чтоб вложить в него все наши деньги, думаю. Нет, не стоит. Только то имеет цену, чего мы достигли с помощью этого Старого. Ну ладно, а Новое стоит того, чтоб вложить в него все наши деньги без остатка? Согласен ты сделать ставку на то, что когда-то еще будет? Да, согласен! Если таким манером можно одолеть эту самую тоску, которая, того гляди, затолкает нас обратно на Землю, так я своими

руками полью все наши деньги керосином и чиркну спичкой!

Кэрри и мальчики остановились. Они стояли посреди улицы и смотрели на него так, будто он был не он, а внезапно налетевший смерч, который едва не сбил их с ног и вот теперь утихает.

— Сегодня утром прибыла грузовая ракета, — сказал он негромко. — Она привезла кое-что и для нас. Пойдем получим.

Они медленно поднялись по трем ступеням, прошли через гулкий зал в камеру хранения — двери ее только что открылись.

— Расскажи еще про лосося, — сказал один из мальчиков.

Солнце поднялось уже высоко и пригревало, когда они выехали из города во взятой напрокат грузовой машине; кузов был битком набит корзинами, ящиками, пакетами и тюками — длинными, высокими, низенькими, плоскими; все это было пронумеровано, и на каждом ящике и тюке красовалась аккуратная надпись: «Марс, Нью-Толедо, Роберту Прентису».

Машина остановилась перед сборным домиком, мальчики спрыгнули наземь и помогли матери выйти. Боб еще с минуту посидел за рулем, потом медленно вылез, обошел машину кругом и заглянул внутрь.

К полудню все ящики, кроме одного, были распакованы, вещи лежали рядами на дне высохшего моря, и вся семья стояла и оглядывала их.

— Поди сюда, Кэрри...

Он подвел жену к крайнему ряду, тут стояло старое крыльцо.

— Послушай-ка.

Деревянные ступеньки заскрипели, заговорили под ногами.

— Ну-ка, что они говорят, а?

Она стояла на ветхом крылечке, сосредоточенная, задумчивая, и не могла вымолвить ни слова в ответ.

Он повел рукой:

— Тут крыльцо, там гостиная, столовая, кухня, три спальни. Часть построим заново, часть привезем. Покуда, конечно, у нас только и есть парадное крыльцо, кой-какая мебель для гостиной да старая кровать.

— Все наши деньги, Боб!

Он с улыбкой обернулся к ней:

— Ты же не сердишься? Ну-ка, погляди на меня! Ясно, не сердишься. Через год ли, через пять мы все перевезем. И хрустальные вазы, и армянский ковер, который нам твоя матушка подарила в девятьсот шестьдесят первом. И пожалуйста, пускай солнце взрывается!

Они обошли другие ящики, читая номера и надписи: качели с веранды, качалка, китайские подвески...

— Я сам буду на них дуть, чтоб звенели!

На крыльце поставили парадную дверь с разноцветными стеклами, и Кэрри поглядела в земляничное окошко.

— Что ты там видишь?

Но он и сам знал, что она видит, он тоже смотрел в это окошко. Вот он, Марс, холодное небо потеплело, мертвые моря запылали, холмы стали — как груды земляничного мороженого, и ветер пересыпает пески, точно тлеющие уголья. Земляничное окошко, земляничное окошко, оно покрыло все вокруг живым нежным румянцем, наполнило глаза и душу светом непреходящей зари. И, наклоняясь, глядя сквозь кусочек цветного стекла, Роберт Прентис неожиданно для себя сказал:

— Через год уже и здесь будет город. Будет тенистая улица, будет у тебя веранда, и друзей заведешь. Тогда тебе все эти вещи станут не так уж и нужны. Но с этого мы сейчас начнем, это самая малость, зато свое, привычное, а там дальше — больше, скоро ты этот Марс и не узнаешь, покажется, будто весь век тут жила.

Он сбежал с крыльца, подошел к последнему, еще не вскрытому ящику, обтянутому парусиной. Перочинным ножом надрезал парусину.

— Угадай, что это? — спросил он.

— Моя кухонная плита? Печка?

— Ничего похожего! — Он тихонько, ласково улыбнулся. — Спой мне песенку, — попросил он.

— Ты совсем с ума сошел, Боб.

— Спой песенку, да такую, чтоб стоила всех денег, которые у нас были да сплыли — и наплевать, не жалко!

— Так ведь я одну только и умею — «Дженни, Дженни, голубка моя...».

— Вот и спой.

Но жена никак не могла запеть, только беззвучно шевелила губами.

Он рванул парусину, сунул руку внутрь, молча пошарил там и начал напевать вполголоса; наконец он нашупал то, что искал, и в утренней тишине прозвенел чистый фортепьянный аккорд.

— Вот так, — сказал Роберт Прентис. — А теперь споем эту песню с начала и до конца. Все вместе, дружно!

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ

Отель напоминал высохшую кость в пустыне. Немилосердно жгло солнце и накаляло крышу. По ночам воспоминания о дневном зное наполняли комнаты, словно запах далекого лесного пожара. И после наступления темноты в отеле долго не зажигали огней, ибо свет означал зной. Обитатели отеля предпочитали в потемках ощупью пробираться по коридорам в тщетных поисках прохлады.

В этот вечер мистер Терль, хозяин отеля, и его единственные постояльцы, мистер Смит и мистер Фермли, оба словно сухие листья табака, и даже пахли они сухим табаком, — засиделись на длинной веранде, опоясывающей дом. Раскачиваясь в скрипучих креслах-качалках, они ловили ртами раскаленный воздух и пытались движением качалок всколыхнуть застывший зной.

— Мистер Терль, вот было бы здорово, если бы вы вдруг... как-нибудь... взяли да и купили установку для охлаждения воздуха...

Мистер Терль даже не открыл смеженных век.

— Откуда мне взять деньги на это? — ответил он наконец после долгой паузы.

Оба постояльца слегка порозовели от стыда — вот уже двадцать лет как они живут в отеле и ничего не платят мистеру Терлю.

Снова воцарилось молчание. Мистер Фермли печально вздохнул:

— А почему бы нам всем не махнуть отсюда в какой-нибудь приличный городишко, где нет такой адской жары?

— Найдется ли охотник купить мертвый отель в этом пропащем месте? — ответил мистер Терль. — Нет, останемся здесь и подождем двадцать девятого января.

Скрип качалок смолк.

29 января. Единственный день в году, когда здесь действительно идут дожди.

— В таком случае ждать осталось недолго, — сказал мистер Смит, взглянув на карманные часы; они блеснули на ладони, словно желтая луна. — Еще каких-нибудь два часа и девять минут, и наступит долгожданное двадцать девятое января. И на небе ни облака.

— Сколько я себя помню, двадцать девятое всегда приходили дожди. — Мистер Терль умолк, сам удивившись, как громко прозвучал его голос. — Если они в этом году и запоздают на денек, я не стану роптать и гневить Бога.

Мистер Фермли судорожно проглотил слюну и обвел взглядом пустой горизонт — с востока на запад, до самых дальних гор.

— Интересно, вернется сюда золотая лихорадка?..

— Золота здесь больше нет, — ответил мистер Смит. — И что еще хуже, нет дождей. Их не будет ни завтра, ни послезавтра, ни послепослезавтра. Не будет весь год.

Три старых человека смотрели на яркую, как солнце, луну, которая прожгла дыру в черном пустом небосводе.

Снова медленно, нехотя заскрипели качалки.

Легкий утренний ветерок зашелестел закудрявившимися от зноя листами отрывного календаря, который висел на облупившейся стене отеля.

Троє стариков, перекидывая через костлявые плечи подтяжки, босиком спустились вниз и, щурясь от солнца, посмотрели на пустой горизонт.

- Двадцать девятое января...
- Ни единой милосердной капли дождя...
- Все еще впереди, день только начинается.
- У кого впереди, а у кого и позади, — проворчал мистер Фермли и, повернувшись, исчез в доме.

Целых пять минут понадобилось ему, чтобы через путаницу лестниц и коридоров добраться до своей комнаты и раскаленной как печь постели.

В полдень в дверь осторожно просунулась голова мистера Терля.

— Мистер Фермли?..

— Проклятые старые кактусы! Это мы с вами... — произнес мистер Фермли, не поднимая головы с подушки; издали казалось, что его лицо вот-вот рассыпается в сухую пыль, которая осядет на шершавые доски пола. — Но даже кактусам, черт побери, нужна хотя бы капля влаги, чтобы выжить в этом пекле. Заявляю вам, что не встану до тех пор, пока не услышу шум дождя, а не эту дурацкую птичью возню на крыше.

— Молитесь Богу и готовьте зонтик, мистер Фермли, — сказал мистер Терль и осторожно на цыпочках вышел.

Под вечер по крыше слабо застучали редкие капли.

Мистер Фермли, не поднимаясь, слабым голосом крикнул в окно:

— Нет, это не дождь, мистер Терль. Я знаю, вы поливаете крышу из садового шланга. Благодарю, но не тратьте понапрасну сил.

Шум на крыше прекратился. Со двора донесся печальный протяжный вздох...

Огиная угол дома, мистер Терль увидел, как оторвался и упал в серую пыль листок календаря.

— Проклятое двадцать девятое января! — услышал он голос сверху. — Еще целых двенадцать месяцев!

В дверях отеля появился мистер Смит, но спустя мгновенье скрылся. Затем он появился снова с двумя помятыми чемоданами в руках. Он со стуком опустил их на пол веранды.

— Мистер Смит! — испуганно вскричал мистер Терль. — После двадцати лет? Вы не можете этого сделять!

— Говорят, в Ирландии весь год идут дожди, — сказал мистер Смит. — Найду там работу. То ли дело бегать весь день под дождем.

— Вы не должны уезжать, мистер Смит! — Мистер Терль лихорадочно искал веские доводы и наконец выпалил: — Вы задолжали мне девять тысяч долларов!

Мистер Смит вздрогнул как от удара, и в глазах его отразились неподдельные боль и обида.

— Простите меня, — растерянно пролепетал мистер Терль и отвернулся. — Я и сам не знаю, что говорю. Послушайте моего совета, мистер Смит, поезжайте-ка лучше в Сиэтл. Там каждую неделю выпадает не менее пяти миллиметров осадков. Но, прошу вас, подождите до полуночи. Спадет жара, станет легче. А за ночь вы доберетесь до города.

— Все равно за это время ничего не изменится.

— Не надо терять надежду. Когда все потеряно, остается надежда. Надо всегда во что-то верить. Побудьте со мной, мистер Смит. Можете даже не садиться, просто стойте вот так и думайте, что сейчас придут дожди. Сделайте это для меня, и больше я ни о чем вас не попрошу.

В пустыне внезапно завертелись крохотные пыльные вихри, но тут же исчезли. Мистер Смит обвел взглядом горизонт.

— Если не хотите думать о дождях, думайте о чем угодно. Только думайте.

Мистер Смит застыл рядом со своими видавшими виды чемоданами. Прошло пять-шесть минут. В мертвой тишине слышалось лишь громкое дыхание двух мужчин.

Затем мистер Смит с решительным видом нагнулся и взялся за ручки чемоданов.

И тут мистер Терль вдруг прищурил глаза, подался вперед и приложил ладонь к уху.

Мистер Смит замер, не выпуская из рук чемоданов.

С гор донесся слабый гул, глухой, еле слышный рокот.

— Идет гроза! — свистящим шепотом произнес мистер Терль.

Гул нарастил; у подножия горы появилось облачко.

Мистер Смит весь вытянулся и даже поднялся на носках.

Наверху, словно воскресший из мертвых, приподнялся и сел на постели мистер Фермли.

Глаза мистера Терля жадно вглядывались в даль. Он держался за деревянную колонну веранды и был похож на капитана судна, которому почудилось, что легкий тропический бриз вдруг откуда-то донес аромат цитрусовых и прохладной белой сердцевины кокосового ореха. Еле заметное дыханье ветерка загудело в воспаленных ноздрях, как ветер в печной трубе.

— Смотрите! — воскликнул он. — Смотрите!

С ближайшего холма скатилось вниз облако, отрывая пыльные крылья, гремя и рокоча. С гор в долину с грохотом, скрежетом и стоном съезжал автомобиль — первый за весь этот месяц автомобиль!

Мистер Терль боялся оглянуться на мистера Смита.

А мистер Смит посмотрел на потолок и подумал в эту минуту о бедном мистере Фермли.

Мистер Фермли выглянулся в окно только тогда, когда перед отелем с громким выхлопом остановилась старая разбитая машина. И в том, как в последний раз выстрелил, а затем заглох ее мотор, была какая-то печальная окончательность. Машина, должно быть, шла издалека, по раскаленным желто-серым дорогам, через солончаки, ставшие пустыней еще десятки миллионов лет назад, когда отсюда ушел океан. И теперь этот старый, расползающийся по швам автомобиль выпуска 1924 года, кое-как скрепленный обрывками проволоки, которая торчала отовсюду как щетина на небритой щеке великана, с откинутым брезентовым верхом, — он размяк от жары как мятный леденец и

прилип к спинке заднего сиденья, словно морщинистое веко гигантского глаза, — это старый разбитый автомобиль в последний раз вздрогнул и испустил дух.

Старая женщина за рулем терпеливо ждала, поглядывая то на мужчин, то на отель, и словно бы говорила: «Простите, но мой друг тяжко занемог. Мы знакомы с ним очень давно, и теперь я должна проститься с ним и проводить в последний путь». Она сидела неподвижно, словно ждала, когда уймется последняя легкая дрожь, пробегавшая еще по телу автомобиля, и наступит то полное расслабление членов, которое означает неумолимый конец. Потом еще с полминуты женщина оставалась неподвижной, прислушиваясь к умолкшей машине. От незнакомки веяло таким покоем, что мистер Терль и мистер Смит невольно потянулись к ней. Наконец она взглянула на них с печальной улыбкой и приветственно помахала рукой.

И мистер Фермли, глядевший в окно, даже не заметил, что машет ей в ответ. А мистер Смит подумал:

«Странно, ведь это не гроза, а я почему-то не очень огорчен. Почему же?»

А мистер Терль уже спешил к машине.

— Мы думали... мы думали... — Он растерянно умолк. — Меня зовут Терль, Джо Терль.

Женщина пожала протянутую руку и посмотрела на него такими чистыми светло-голубыми глазами, словно это были нежные озера, где вода очищена солнцем и ветрами.

— Мисс Бланш Хилгуд, — сказала она тихо. — Выпускница Гринельского колледжа, не замужем, преподаваю музыку, тридцать лет руководила музыкальным студенческим клубом, была дирижером студенческого оркестра в Грин Сити, Айова, двадцать лет даю частные уроки игры на фортепьяно, арфе и уроки пения, месяц как ушла на пенсию. А теперь снялась с насиженных мест и еду в Калифорнию.

— Мисс Хилгуд, отсюда не так-то просто будет выбраться.

— Я и сама теперь вижу. — Она с тревогой посмотрела на мужчин, круживших возле ее автомобиля, и в эту минуту чем-то напомнила им девочку, которой неловко и неудобно сидеть на коленях у больной ревматизмом бабушки.

— Неужели ничего нельзя сделать? — спросила она.

— Из спиц выйдет неплохая изгородь, из тормозных дисков — гонг, чтобы созывать постояльцев к обеду, а остальное, может, пригодится для японского садика.

— Все, кончилось. Говорю вам, машине конец. Я отсюда и то вижу. Не пора ли нам ужинать? — послышался сверху голос мистера Фермли.

Мистер Терль сделал широкий жест рукой.

— Мисс Хилгуд, милости просим в отель «Пустыня». Открыт двадцать шесть часов в сутки. Беглых каторжников и правонарушителей просим заносить свои имена в книгу постояльцев. Отдохните ночку, платить не надо, а завтра утром вытащим из сарая наш старый «форд» и отвезем вас в город.

Мисс Хилгуд милостиво разрешила помочь ей выйти из автомобиля. Он в последний раз издал жалобный стон, словно молил не покидать его. Она осторожно прикрыла дверцу, захлопнувшуюся с мягким стуком.

— Один друг покинул меня, но второй все еще со мной. Мистер Терль, не внесете ли вы ее в дом?

— ЕЕ, мадам?

— Простите, я всегда думаю о вещах так, словно это люди. Автомобиль был джентльменом, должно быть, потому что возил меня повсюду. Ну а арфа все же, согласитесь, дама?

Она кивком головы указала на заднее сиденье. На фоне неба, накренившись вперед, словно нос корабля, разрезающего воздух, стоял узкий кожаный ящик.

— Мистер Смит, а ну-ка подсобите, — сказал мистер Терль.

Они отвязали высокий ящик и осторожно сняли его с машины.

— Эй, что это там у вас? — крикнул сверху мистер Фермли.

Мистер Смит споткнулся, и мисс Хилгуд испуганно вскрикнула. Ящик раскачивался из стороны в сторону в руках неловких мужчин.

Раздался мелодичный звон струн.

Мистер Фермли услышал его в своей комнате и уже больше не спрашивал, а лишь, открыв от удивления рот, смотрел, как темная пасть веранды поглотила старую леди, таинственный ящик и двух мужчин.

— Осторожно! — воскликнул мистер Смит. — Какой-то болван оставил здесь свои чемоданы. — И вдруг умолк. — Болван? Да ведь это же мои чемоданы!

Мистер Смит и мистер Терль посмотрели друг на друга. Лица их уже не блестели от пота. Откуда-то налетевший ветерок легонько трепал ворот рубахи, шелестел листками календаря.

— Да, это мои чемоданы, — сказал мистер Смит.
Они вошли в дом.

— Еще вина, мисс Хилгуд? Давненько у нас не подавали вино.

— Совсем капельку, если можно.

Они ужинали при свете единственной свечи, все равно делавшей комнату похожей на раскаленную печь, и слабые блики света играли на вилках, ножах и новых тарелках. Они ели, пили теплое вино и беседовали.

— Мисс Хилгуд, расскажите еще что-нибудь о себе.

— О себе? — переспросила она. — Право, я была все время так занята, играя то Бетховена, то Баха, то Брамса, что не заметила, как мне минуло двадцать девять, а потом сорок, а вчера вот исполнилось семьдесят один. О, конечно, в моей жизни были мужчины. Но в десять лет они переставали петь, а в двенадцать уже не могли летать. Мне всегда казалось, что человек создан, чтобы летать, поэтому я терпеть не могла мужчин с кровью, тяжелой как чугун, цепями приковывающей их к земле. Не помню, чтобы мне приходилось встречать мужчин, которые бы весили меньше ста кило-

граммов. В своих черных костюмах они проплывали мимо словно катафалки.

— И вы улетели от них, да?

— Только мысленно, мистер Терль, только мысленно. Понадобилось целых шестьдесят лет, чтобы наконец по-настоящему решиться на это. Все это время я дружила с флейтами и скрипками, потому что они как ручейки в небесах, знаете, такие же, как ручьи и реки на земле. Я плавала в реках и заливах с чистой студеной водой, от озер Генделя до прозрачных заводей Штрауса. И, только напутешествовавши вдоволь, я осела в этих краях.

— Как же вы все-таки решились сняться с места? — спросил мистер Смит.

— На прошлой неделе я вдруг оглянулась вокруг и сказала себе: «Эге, да ты летаешь совсем одна. Ни одну живую душу во всем Грин Сити не интересует, как высоко ты можешь залететь». Всегда одно и то же: «Спасибо, Бланш», «Спасибо за концерт в клубе, мисс Хилгуд». Но никто из них по-настоящему не умел слушать музыку. Когда же я, как-то еще давно, пыталась мечтать о Нью-Йорке или Чикаго, все только снисходительно похлопывали меня по плечу и со смехом твердили: «Лучше быть большой лягушкой в маленьком болоте, чем маленькой лягушкой в большом болоте». И я оставалась, а те, кто давал мне такие советы, уезжали или же умирали, или с ними случалось и то и другое. А большинство были просто глухи. Неделю назад я взялась за ум и сказала себе: «Хватит! С каких это пор ты решила, что у лягушек могут вырасти крылья?»

— Значит, вы решили держать путь на запад? — спросил мистер Терль.

— Может быть. Устроюсь где-нибудь аккомпаниатором или буду играть в оркестре, в одном из тех, что дают концерты прямо под открытым небом. Но я должна играть для тех, кто умеет слушать музыку, по-настоящему умеет...

Они слушали ее в душной темноте. Женщина умолкла, она сказала им все, а теперь пусть думают, что это

глупо и смешно. Она осторожно откинулась на спинку стула.

Наверху кто-то кашлянул.

Мисс Хилгуд прислушалась и встала.

Мистеру Фермли стоило усилий разомкнуть веки, и тогда он увидел лицо женщины. Она наклонилась и поставила у кровати поднос.

— О чём вы только что говорили там внизу?

— Я потом приду и расскажу вам, — ответила она, — поешьте. Салат очень вкусный. — Она повернулась, чтобы уйти.

И тогда он торопливо спросил:

— Вы не уедете от нас?

Она остановилась на пороге, пытаясь разглядеть в темноте его мокрое от испарины лицо. Он тоже еле различал ее глаза и губы. Постояв еще немного, она спустилась вниз.

— Должно быть, не слышала моего вопроса, — произнес мистер Фермли.

И все же он был уверен, что она слышала.

Мисс Хилгуд пересекла гостиную и коснулась рукой кожаного ящика.

— Я должна заплатить за ужин.

— Нет, хозяин отеля бесплатно угощает вас, — за-протестовал мистер Терьль.

— Я должна, — ответила она и открыла ящик.

Тускло блеснула старая позолота.

Мужчины встрепенулись. Они вопросительно поглядывали на женщину возле таинственного предмета, который по форме напоминал сердце. Он возвышался над нею, у него было круглое, как шар, блестящее подножие, а на нем — высокая фигура женщины со спокойным лицом греческой богини и продолговатыми глазами, глядевшими на них так же дружелюбно, как глядела на них мисс Хилгуд.

Мужчины обменялись быстрыми взволнованными взглядами, словно догадались, что сейчас произойдет. Они вскочили со стульев и пересели на краешек плю-

шевого дивана, вытирая лица влажными от пота платками.

Мисс Хилгуд пододвинула к себе стул и, сев, осторожно накренила золотую арфу и опустила ее на плечо. Пальцы ее легли на струны.

Мистер Терль втянул в себя раскаленный воздух и приготовился.

Из пустыни налетел ветер, и кресла-качалки закачались на веранде, словно пустые лодки на пруду.

Сверху послышался капризный голос мистера Фермли:

— Что у вас там происходит?

И тогда руки мисс Хилгуд побежали по струнам.

Они начали свой путь где-то сверху, почти у самого ее плеча и побежали прямо к спокойному лицу греческой богини; но тут же снова вернулись обратно, затем на мгновенье замерли, и звуки поплыли по душной горячей гостиной, а из нее в каждую из пустых темных комнат отеля.

Если мистеру Фермли и вздумалось еще что-то кричать из своей комнаты, его уже никто не слышал. Мистер Терль и мистер Смит не могли больше сидеть и словно по команде вскочили с дивана. Они пока ничего не слышали, кроме бешеного стука собственных сердец и собственного свистящего дыхания. Выпучив глаза и изумленно раскрыв рот, они глядели на двух женщин — незрячую богиню и хрупкую старую женщину, которая сидела, прикрыв добрые усталые глаза и вытянув вперед маленькие тонкие руки.

«Она похожа на девочку, — подумали мистер Терль и мистер Смит, — девочку, протянувшую руки в окно, навстречу чему-то... Чему же? Ну конечно же, навстречу дождю!..»

Шум ливня затихал на далеких пустых тротуарах и в водосточных трубах.

Наверху неохотно поднялся мистер Фермли, словно его кто-то силком тащил с постели.

А мисс Хилгуд продолжала играть. Никто из них не знал, что она играла, но им казалось, что эту мелодию они слышали не раз в своей долгой жизни, только не

знали ни названия, ни слов. Она играла, и каждое движение ее рук сопровождалось щедрыми потоками дождя, стучащего по крыше. Прохладный дождь лил за открытым окном, омывал рассохшиеся доски крыльца, падал на раскаленную крышу, на жадно впитывавший его песок, на старый ржавый автомобиль, на пустую конюшню и на мертвые кактусы во дворе. Он вымыл окна, прибил пыль, наполнил до краев пересохшие дождевые бочки и повесил шелестящий бисерный занавес на открытые двери, и этот занавес, если бы вам захотелось выйти, можно было бы раздвинуть рукой. Но самым желанным мистеру Терлю и мистеру Смиту казалось его живительное прохладное прикосновение. Приятная тяжесть дождя заставила их снова сесть. Кожу лица слегка покалывали, пощипывали, щекотали падавшие капли, и первым побуждением было закрыть рот, закрыть глаза, закрыться руками, спрятаться. Но они с наслаждением откинули головы назад, подставили лица дождю — пусть льет сколько хочет.

Но шквал продолжался недолго, всего какую-то минуту, потом стал затихать, по мере того как затихали звуки арфы, и вот руки в последний раз коснулись струн, извлекая последние громы, последние шумные всплески ливня.

Прощальный аккорд застыл в воздухе, как озаренные вспышкой молнии нити дождя.

Виденье погасло, последние капли в полной темноте беззвучно упали на землю.

Мисс Хилгуд, не открывая глаз, опустила руки.

Мистер Терль и мистер Смит очнулись, посмотрели на двух сказочных женщин в конце гостиной — сухих, невредимых, каким-то чудом не промокших под дождем.

Мистер Терль и мистер Смит, с трудом уняв дрожь, подались вперед, словно хотели что-то сказать. На их лицах была полная растерянность.

Звук, доносившийся сверху, вернул их к жизни.

Звук был слабый, похожий на усталое хлопанье крыльев одинокой старой птицы.

Мистер Терль и мистер Смит прислушались.

Да, это мистер Фермли аплодировал из комнаты.

Мистеру Терлю понадобилось всего мгновенье, чтобы прийти в себя. Он толкнул в бок мистера Смита, и оба в экстазе захлопали. Эхо разнеслось по пустым комнатам отеля, ударяясь о стены, зеркала, окна, словно ища выхода наружу.

Теперь и мисс Хилгуд открыла глаза, и вид у нее был такой, словно этот новый шквал застал ее врасплох.

Мистер Терль и мистер Смит уже не помнили себя. Они хлопали так яростно и громко, словно в их руках с треском лопались связки карнавальных хлопушек. Мистер Фермли что-то кричал сверху, но никто его не слушал. Ладони разлетались, соединялись вновь в оглушительных хлопках и так до тех пор, пока пальцы не распухли и дыхание не стало тяжелым и учащенным, и вот наконец горящие, словно обожженные, руки лежат на коленях.

И тогда очень медленно, словно еще раздумывая, мистер Смит встал, вышел на крыльцо и внес свои чемоданы. Он остановился у подножия лестницы, ведущей наверх, и посмотрел на мисс Хилгуд. Затем он перевел глаза на ее чемодан у ступенек веранды и снова посмотрел на мисс Хилгуд: брови его чуть-чуть поднялись в немом вопросе.

Мисс Хилгуд взглянула сначала на арфу, потом на свой единственный чемодан, затем на мистера Терля и наконец на мистера Смита и кивнула головой

Мистер Смит, подхватив под мышку один из своих тощих чемоданов, взял чемодан мисс Хилгуд и стал медленно подниматься по ступенькам, уходящим в мягкий полумрак. Мисс Хилгуд притянула к себе арфу, и с этой минуты уже нельзя было разобрать, перебирает ли она струны в такт медленным шагам мистера Смита, или это он подлаживает свой шаг под неторопливые аккорды.

На площадке мистер Смит столкнулся с мистером Фермли — накинув старый, выцветший халат, тот осторожно спускался вниз.

Обаостояли с секунду, глядя вниз на фигуру мужчины и на двух женщин в дальнем конце гостиной —

всего лишь видение, мираж. И оба подумали об одном и том же.

Звуки арфы и звуки дождя — каждый вечер. Не надо больше поливать крышу из садового шланга. Можно сидеть на веранде, лежать ночью в своей постели и слушать, как стучит, стучит и стучит по крыше дождь...

Мистер Смит продолжал свой путь наверх; мистер Фермли спустился вниз.

Звуки арфы... Слушайте, слушайте же их!

Десятилетия засухи кончились.

Пришло время дождей.



**P — ЗНАЧИТ
РАКЕТА**

P — ЗНАЧИТ РАКЕТА

Эта ограда, к которой мы проникали лицом, и чувствовали, как ветер становится жарким, и еще сильней прижимались к ней, забывая, кто мы и откуда мы, мечтая только о том, кем мы могли бы быть и куда попасть...

Но ведь мы были мальчишки — и нам нравилось быть мальчишками; и мы жили в небольшом флоридском городе — и город нам нравился; и мы ходили в школу — и школа нам безусловно нравилась; и мы лазали по деревьям и играли в футбол, и наши мамы и папы нам тоже нравились...

И все-таки иногда — каждую неделю, каждый день, каждый час в ту минуту или секунду, когда мы думали о пламени, и звездах, и об ограде, за которой они нас ожидали, — иногда ракеты нравились нам больше.

Ограда. Ракеты.

Каждую субботу утром...

Ребята собирались возле моего дома.

Солнце едва взошло, а они уже стоят, голосят, пока соседи не выставят из форточек пистолеты-парализаторы — дескать, сейчас же замолчите, не то заморозим на часок, тогда на себя пеняйте!

— А, влезь на ракету, сунь голову в кюзю! — кричали ребята в ответ. Кричали, надежно укрывшись за нашей изгородью: ведь старик Уикард из соседнего дома стреляет без промаха.

R is for Rocket

Copyright © 1946 by Ray Bradbury

P — значит ракета

© Э. Кабалевская, перевод, 1964

В это прохладное, мглистое субботнее утро я лежал в постели, думая о том, как накануне провалил контрольную по семантике, когда снизу донеслись голоса ватаги. Еще и семи не было, и ветер нес с Атлантики густой туман, и расставленные на всех углах вибраторы службы погоды только что начали жужжать, разгоняя своими лучами эту кашу: слышно было, как они нежно и приятно подвывают.

Я дотащился до окна и выглянул наружу.

— Ладно, пираты космоса! Глуши моторы!

— Эгей! — крикнул Ральф Прайори. — Мы только что узнали: расписание запусков изменили! Лунная, с новым мотором «Икс-Л-З», стартует через час!

— Будда, Мухаммед, Аллах и прочие реальные и полу-мифические деятели! — молвил я и отскочил от окна с такой прытью, что ребята от толчка повалились на траву.

Я мигом натянул джемпер, живо надел башмаки, сунул в задний карман питательные капсулы — сегодня нам будет не до еды, глотай пилюли, как в животе заворчит, — и на вакуумном лифте ухнулся со второго этажа вниз, на первый.

На газоне ребята, вся пятерка, кусали губы и подпрыгивали от нетерпения, строили сердитые рожи.

— Кто последним добежит до монорельсовой, — крикнул я, проносясь мимо них со скоростью 5 тысяч миль в час, — тот будет жукоглазым марсианином!

Сидя в кабине монорельсовой, со свистом уносившей нас на Космодром за двадцать миль от города — каких-нибудь несколько минут езды, — я чувствовал, как у меня словно жуки копошатся под ложечкой. Пятнадцатилетнему мальчишке подавай одни только большие запуски. Чуть не каждую неделю по расписанию приходили и уходили малые межконтинентальные грузовые ракеты, но этот запуск... Совсем другое дело — сила, мощь... Луна и дальше...

— Голова кружится, — сказал Прайори и стукнул меня по руке.

Я дал ему сдачи.

— У меня тоже. Ну, скажи, есть в неделе день лучше субботы?

Мы обменялись широкими понимающими улыбками. Мысленно мы проходили все ступени предстартовой готовности. Другие пираты были правильные парни. Сид Россен, Мак Леслин, Ирл Марни — они тоже, как все ребята, прыгали, бегали и тоже любили ракеты, но почему-то мне думалось, что вряд ли они будут делать то, что в один прекрасный день сделаем мы с Ральфом. Мы с Ральфом мечтали о звездах, они для нас были желаннее, чем горсть бело-голубых бриллиантов чистейшей воды.

Мы горланили вместе с горланами, смеялись вместе со смехачами, а в душе у нас обоих было тихо; и вот уже бочковатая кабина, шурша, остановилась, мы выскочили и, крича и смеясь, побежали, но побежали спокойно и даже как-то замедленно: Ральф впереди меня, и все показывали рукой в одну сторону, на заветную ограду, и разбирали места вдоль проволоки, поторопливая отставших, но не оглядываясь на них; и наконец все в сборе, и могучая ракета вышла из-под пластикового купола, похожего на огромный межзвездный цирковой шатер, и пошла по блестящим рельсам к точке пуска, провожаемая огромным порталенным краном, смахивающим на доисторического крылатого ящера, который вскормил это огненное чудовище, холил и лелеял его, и теперь вот-вот состоится его рождение в раскаленном внезапным сплохом небе.

Я перестал дышать. Даже вдоха не сделал, пока ракета не вышла на бетонный пятак в сопровождении тягачей-жуков и больших кургузых фургонов с людьми, а кругом, взявшись с механизмами, механики-богомолы в асbestosовых костюмах что-то стрекотали, гудели, каркали друг другу в незримые для нас и неслышные нам радиофоны, да мы-то в уме, в сердце, в душе все слышали.

— Господи, — вымолвил я наконец.

— Всемогущий, всемилостивый, — подхватил Ральф Прайори, стоя рядом со мной.

Остальные ребята тоже сказали что-то в этом роде.

Да и как тут не восхищаться! Все, о чем людям мечталось веками, разобрали, просеяли и выковали одну — самую заветную, самую чудесную и самую

крылатую мечту. Что ни обвод — отвердевшее пламя, безупречная форма... Застывший огонь, готовый к тяжнию лед ждали там, посреди бетонной прерии; еще немного, и с ревом проснется, и рванется вверх, и боднет эта бездумная, великолепная, могучая голова Млечный Путь, так что звезды посыплются вниз метеорным огнепадом. А попадется на пути Угольный Мешок — ей-Богу, как даст под вздох, сразу в сторону отскочит!

Она и меня поразила прямо под вздох, так стукнула, что я ощущил острый приступ ревности, и зависти, и тоски, как от чего-то незавершенного. И когда наконец через поле пошел окруженный тишиной самоходный вагончик с космонавтами, я был вместе с ними, облаченными в диковинные белые доспехи, в шаровидные гермошлемы и в этакую величественную небрежность — ни дать ни взять магнитофутбольная команда представляется публике перед тренировочной встречей на каком-нибудь местном магнитополе. Но они-то вылетали на Луну — теперь туда каждый месяц уходила ракета, — и у ограды давно уже не собирались толпы зевак, одни мы, мальчишки, болели за благополучный старт и вылет.

— Черт возьми, — произнес я. — Чего бы я ни отдал, только бы полететь с ними. Представляешь себе...

— Я так отдал бы свой годовой проездной билет, — сказал Мак.

— Да... Ничего бы не пожалел.

Нужно ли говорить, какое это было великое событие для нас, ребятишек, словно взвешенных посередине между своей утренней игрой и ожидающим нас вскоре таким мощным и внушительным пополуденным фейерверком.

И вот все приготовления завершены. Заправка ракеты горючим кончилась, и люди побежали от нее в разные стороны, будто муравьи, улепетывающие от металлического идола. И Мечта ожила, и взревела, и метнулась в небо. И вот уже скрылась вместе с угробным воем, и остался от нее только жаркий звон в воздухе, который через землю передался нашим ногам, и вверх по ногам дошел до самого сердца. А там, где она стояла,

теперь была черная оплавленная яма да клуб ракетного дыма, будто прибитое к земле кучевое облако.

— Ушла! — крикнул Прайори.

И мы все снова часто задышали, пригвожденные к месту, словно нас оглушили из какого-нибудь чудовищного парапистолета.

— Хочу поскорее вырасти, — ляпнул я. — Хочу поскорее вырасти, чтобы полететь на такой ракете.

Я прикусил губу. Куда мне, зеленому юнцу; к тому же на космические работы по заявлению не принимают. Жди, пока тебя не отберут. Отберут.

Наконец кто-то, кажется Сидни, сказал:

— Ладно, теперь айда на телешоу.

Все согласились — все, кроме Прайори и меня. Мы сказали «нет», и ребята ушли, заливаясь хохотом и разговаривая, только мы с Прайори остались смотреть на то место, где недавно стоял космический корабль.

Он отбил нам вкус ко всему остальному, этот старт.

Из-за него я в понедельник провалил семантику.

И мне было совершенно наплевать.

В такие минуты я говорил спасибо тому, кто придумал концентраты. Когда у вас вместо желудка ком нервов, меньше всего тянет сесть за стол и расправиться с обедом из трех блюд. Без аппетита несколько таблеток концентрата отлично заменяли и первое, и второе, и третье.

Все дни напролет и до поздней ночи меня неотступно, упорно преследовала одна и та же мысль. Дошло до того, что я каждую ночь должен был прибегать к снотворному массажу в сочетании с тихими мелодиями Чайковского, чтобы хоть ненадолго сомкнуть веки.

— Помилуйте, молодой человек, — сказал в тот понедельник мой учитель, — если это будет продолжаться, придется на следующем заседании психологического комитета снизить вам общую оценку.

— Простите, — ответил я.

Он пристально посмотрел на меня:

— У вас какой-то затор в голове? Очевидно, что-то совсем простое, и притом осознанное.

Я поежился.

— Верно, сэр, осознанное, но никак не простое. А очень даже сложное. Но, в общем-то, можно сказать одним словом — ракеты...

Он улыбнулся:

— Р — значит ракета, так что ли?

— Вот именно, сэр, что-то вроде этого.

— Но мы не можем допустить, молодой человек, чтобы это отражалось на вашей успеваемости.

— По-вашему, сэр, меня надо подвергнуть гипнотическому внушению?

— Нет-нет. — Учитель перебрал листки, вверху которых большими буквами была написана моя фамилия.

У меня все сжалось под ложечкой. Он опять посмотрел на меня:

— Вы ведь у нас, Кристофер, первый номер в классе, фаворит, так сказать.

Он закрыл глаза, раздумывая.

— Тут надо основательно поразмыслять, — заключил он. Похлопал меня по плечу и добавил: — Ладно, продолжайте заниматься. И не надо горевать.

Он отошел от меня.

Я попробовал сосредоточиться на занятиях, но не мог. До конца уроков учитель все посматривал на меня, листал мой табель и задумчиво покусывал губы. Часов около двух он набрал какой-то номер на своем аудиофоне и минут пять с кем-то разговаривал.

Я не мог расслышать, что он говорил.

Но когда он положил трубку на место, то очень-очень странно поглядел на меня.

Зависть, и восторг, и сожаление — все смешалось вместе в этом взгляде. Немножко грусти и много радости. Да, выразительные были глаза.

Я сидел и не знал, смеяться мне или плакать.

В тот день мы с Ральфом Прайори улизнули пораньше из школы домой. Я рассказал Ральфу, что приключилось, и он насупился: такая у него привычка.

Я встревожился. И мы принялись вместе подстегивать эту тревогу.

— Ты что, Крис, думаешь, тебя куда-нибудь отпра-
вят?

Кабина монорельсовой зашипела. Это была наша остановка. Мы вышли. И медленно зашагали к дому.

— Не знаю, — ответил я.

— Это было бы свинство, — сказал Ральф.

— Может быть, мне нужно пойти к психиатру, чтобы он прочистил мне мозги, Ральф? Так ведь тоже нельзя — чтобы учеба кувырком летела.

У моего дома мы остановились и долго глядели на небо. Тут Ральф сказал одну странную вещь:

— Днем нету звезд, а мы их все равно видим, правда ведь, Крис?

— Правда, — сказал я. — Видим.

— Мы будем держаться заодно, идет, Крис? Не могут они, черт бы их взял, убирать тебя сейчас из школы. Мы друзья. Это было бы несправедливо.

Я ничего не ответил, потому что горло мое плотно закупорил ком.

— Что у тебя с глазами? — спросил Прайори.

— А, ничего, слишком долго на солнце глядел. Попшли в дом, Ральф.

Мы ухали под струями воды в душевой, но как-то без особого воодушевления, даже когда пустили ледяную воду.

Пока мы стояли в сушилке, обдуваемые горячим воздухом, я усиленно размышлял. Литература, рассуждал я, полным-полна людей, которые сражаются с суровыми, непримиримыми противниками. Мозг, мышцы — все обращают на борьбу против всяких препон, пока не победят или сами не проиграют. Но ведь у меня-то никаких признаков внешнего конфликта. То, что меня грызет острыми зубами, грызет изнутри, и, кроме меня, только врач-психолог разглядит все мои царапины. Конечно, мне от этого ничуть не легче.

— Ральф, — сказал я, когда мы начали одеваться, — я влип в войну.

— Ты один? — спросил он.

— Я не могу тебя впутывать, — объяснил я. — Потому что это совсем личное дело. Сколько раз мама

говорила: «Крис, не ешь так много, у тебя глаза больше желудка»?

— Миллион раз.

— Два миллиона. А теперь перефразируем это, Ральф. Скажем иначе: «Не фантазируй так много, Крис, твое воображение чересчур велико для твоего тела». Так вот, война идет между воображением и телом, которое не может за ним поспевать.

Прайори сдержанно кивнул:

— Я тебя понял, Кристофер. Понял то, что ты говоришь про личную войну. В этом смысле во мне тоже идет война.

— Знаю, — сказал я. — У других ребят, так мне кажется, это пройдет. Но у нас с тобой, Ральф, по-моему, это никогда не пройдет. По-моему, мы будем ждать все время.

Мы устроились под солнцем на крыше дома, разложили тетрадки и принялись за домашние задания. У Прайори ничего не выходило. У меня тоже. Прайори сказал вслух то, чего я не мог собраться с духом выговорить.

— Крис, Комитет космонавтики отбирает людей. Желающие не подают заявлений. Они ждут.

— Знаю.

— Ждут с того дня, когда у них впервые замрет сердце при виде Лунной ракеты, ждут годами, из месяца в месяц все надеются, что в одно прекрасное утро спустится с неба голубой вертолет, сядет на газоне у них в саду, из кабины вылезет аккуратный, подтянутый пилот, стремительно поднимется на крыльце и нажмет кнопку звонка. Этого вертолета ждут, пока не исполнится двадцать один год. А в двадцать первый день рождения выпивают бокал-другой вина и с громким смехом небрежно бросают: дескать, ну и черт с ним, не очень-то и нужно.

Мы посидели молча, взвешивая всю тяжесть его слов. Сидели и молчали. Но вот он снова заговорил:

— Я не хочу так разочаровываться, Крис. Мне пятнадцать лет, как и тебе. Но если мне исполнится двадцать один, а в дверь нашего интерната, где я живу, так и не позовут космонавт, я...

— Знаю, — сказал я, — знаю. Я разговаривал с такими, которые прождали впустую. Если так случится с нами, Ральф, тогда... тогда мы выпьем вместе, а потом пойдем и наймемся в грузчики на транспортную ракету Европейской линии.

Ральф сжался и побледнел.

— В грузчики...

Кто-то быстро и мягко прошел по крыльцу, и мы увидели мою маму. Я улыбнулся:

— Здорово, леди!

— Здравствуй. Здравствуй, Ральф.

— Здравствуйте, Джен.

Глядя на нее, никто не дал бы ей больше двадцати пяти—двадцати шести лет, хотя она произвела на свет и вырастила меня и уже далеко не первый год служила в Государственном статистическом управлении. Тонкая, изящная, улыбчивая: я представлял себе, как сильно должен был любить ее отец, когда он был жив. Да, у меня хоть мама есть. Бедняга Ральф воспитывался в интернате...

Джен подошла к нам и положила ладонь на лоб Ральфа.

— Что-то ты плохо выглядишь, — сказала она. — Что-нибудь неладно?

Ральф изобразил улыбку:

— Нет-нет, все в порядке.

Джен не нуждалась в подсказке.

— Оставайся ночевать у нас, Прайори, — предложила она. — Нам тебя недостает. Верно ведь, Крис?

— Что за вопрос!

— Мне бы надо вернуться в интернат, — возразил Ральф, правда, не очень убежденно. — Но раз вы просите, да вот и Крису надо помочь с семантикой, так я уж ему помогу.

— Очень великодушно, — сказал я.

— Но сперва у меня есть кое-какие дела. Я быстро туда-обратно на монорельсовой, через час вернусь.

Когда Ральф ушел, мама многозначительно посмотрела на меня, потом ласковым движением пальцев пригладила мне волосы.

— Что-то назревает, Крис.

Мое сердце притихло, ему захотелось помолчать немного. Оно ждало. Я открыл рот, но Джен продолжала:

— Да, где-то что-то назревает. Мне сегодня два раза звонили на работу. Сперва звонил твой учитель. Потом... нет, не могу сказать. *Не хочу* ничего говорить, пока это не произойдет...

Мое сердце заговорило опять, медленно и жарко.

— В таком случае не говори, Джен. Эти звонки...

Она молча посмотрела на меня. Сжала мою руку мягкими теплыми ладонями.

— Ты еще такой юный, Крис. Совсем-совсем юный.

Я сидел молча.

Ее глаза посветлели.

— Ты никогда не видел своего отца, Крис. Ужасно жалко. Ты ведь знаешь, кем он был?

— Конечно, знаю, — сказал я. — Он работал в химической лаборатории и почти не выходил из подземелья.

— Да, он работал глубоко под землей, Крис, — подтвердила мама. И почему-то добавила: — И никогда не видел звезд.

Мое сердце вскрикнуло в груди. Вскрикнуло громко, пронзительно.

— Мама... мама...

Впервые за много лет я вслух назвал ее мамой.

Когда я проснулся на другое утро, комната была залита солнцем, но кушетка, на которой обычно спал Прайори, гостя у нас, была пуста. Я прислушался. Никто не плескался в душевой, и сушилка не гудела. Ральфа не было в доме.

На двери я нашел приколотую записку.

Увидимся днем в школе. Твоя мать попросила меня кое-что сделать для нее. Ей звонили сегодня утром, и она сказала, что ей нужна моя помощь. Привет.

Прайори

Прайори выполняет поручения Джен. Странно. Джен звонили рано утром. Я вернулся к кушетке и сел.

Я все еще сидел, когда снаружи донеслись крики:

— Эгей, Крис! Заспался!

Я выглянул из окна. Несколько ребят из нашей ватаги стояли на газоне.

— Сейчас спущусь!

— Нет, Крис.

Голос мамы. Тихий и с каким-то необычным оттенком. Я повернулся. Она стояла в дверях позади меня, лицо бледное, осунувшееся, словно ее что-то мучило.

— Нет, Крис, — мягко повторила она. — Скажи им, пусть идут без тебя, ты не пойдешь в школу... сегодня.

Ребята внизу, наверно, продолжали шуметь, но я их не слышал. В эту минуту для меня существовали только я и мама, такая тонкая, бледная, напряженная... Далеко-далеко зажужжали, зарокотали вибраторы метеослужбы.

Я медленно обернулся и посмотрел вниз на ребят. Они глядели вверх все трое — губы раздвинуты в небрежной полуулыбке, шершавые пальцы держат тетради по семантике.

— Эгей! — крикнул один из них. Это был Сидни.

— Извини, Сидни. Извините, ребята. Топайте без меня. Я сегодня не смогу пойти в школу. Попозже увидимся, идет?

— Ладно, Крис!

— Что, заболел?

— Нет. Просто... Словом, шагайте без меня. Потом встретимся.

Я стоял будто оглушенный. Наконец отвернулся от обращенных вверх вопрошающих лиц и глянул на дверь. Мамы не было. Она уже спустилась на первый этаж. Я услышал, как ребята, заметно притихнув, направились к монорельсовой.

Я не стал пользоваться вакуум-лифтом, а медленно пошел вниз по лестнице.

— Джен, — сказал я, — где Ральф?

Джен сделала вид, будто поглощена расчесыванием своих длинных русых волос виброгребенкой.

— Я его услала. Мне нужно было, чтобы он ушел.

— Почему я не пошел в школу, Джен?

— Пожалуйста, Крис, не спрашивай.

Прежде чем я успел сказать что-нибудь еще, я услышал в воздухе какой-то звук. Он пронизал достаточно плотные стены нашего дома и вошел в мою плоть, стреляющий и тонкий, как стрела из искрящейся музыки.

Я глотнул. Все мои страхи, колебания, сомнения мгновенно исчезли.

Как только я услышал этот звук, я подумал о Ральфе Прайори. *Эх, Ральф, если бы ты мог сейчас быть здесь.* Я не верил сам себе. Слушал этот звук, слушал не только ушами, а всем телом, всей душой, и не верил.

Ближе, ближе... Ох, как я боялся, что он начнет удаляться. Но он не удалился. Понизив тон, он стал снижаться возле дома, разбрасывая свет и тени огромными вращающимися лепестками, и я знал, что это вертолет небесного цвета. Гудение прекратилось, и в наступившей тишине мама подалась вперед, выпустила из рук виброгребенку и глубоко вздохнула.

В наступившей тишине я услышал шаги на крыльце. Шаги, которых я так долго ждал.

Шаги, которых боялся никогда не услышать.

Кто-то нажал звонок.

Я знал кто.

И упорно думал об одном: «Ральф, ну почему тебе непременно надо было уйти теперь, когда это происходит? Почему, черт возьми?»

Глядя на пилота, можно было подумать, что он родился в своей форме. Она сидела на нем как влитая, как вторая кожа — серебристая кожа: тут голубая полоска, там голубой кружок. Строгая и безупречная, как и надлежит быть форме, и в то же время — олицетворение космической мощи.

Его звали Трент. Он говорил уверенно, с непринужденной гладкостью, без обиняков.

Я стоял молча, а мама сидела в углу с видом растерянной девочки. Я стоял и слушал.

Из всего, что было сказано, мне запомнились лишь какие-то обрывки.

— ...отличные отметки, высокий коэффициент умственного развития. Восприятие А-1, любознательность ААА. Необходимая увлеченность, чтобы настойчиво и терпеливо заниматься восемь долгих лет...

— Да, сэр.

— ...разговаривали с вашими преподавателями семантики и психологии...

— Да, сэр.

— ...и не забудьте, мистер Кристофер...

Мистер Кристофер!

— ...и не забудьте, мистер Кристофер, никто не должен знать про то, что вы отобраны Комитетом космонавтики.

— Никто?

— Ваша мать и преподаватели, конечно, знают об этом. Но, кроме них, никто не должен знать. Вы меня хорошо поняли?

— Да, сэр.

Трент сдержанно улыбнулся, упервшись в бока своими руцищами.

— Вам хочется спросить — почему, так? Почему нельзя поделиться со своими друзьями? Я объясню. Это своего рода психологическая защита. Каждый год мы из миллиардного населения Земли отбираем около десятка тысяч молодых людей. Из них три тысячи через восемь лет выходят из училища космонавтами, с той или другой специальностью. Остальным приходится возвращаться домой. Они отсеялись, но окружающим-то незачем об этом знать. Обычно отсев происходит уже в первом полугодии. Не очень приятно вернуться домой, встретить друзей и доложить им, что самая замечательная работа в мире оказалась вам не по зубам. Вот мы и делаем все так, чтобы возвращение проходило безболезненно. Есть и еще одна причина. Тоже психологическая. Мальчишкам так важно быть заправилами, в чем-то превосходить своих товарищей. Строго-настрого запрещая вам рассказывать друзьям, что вы отобраны, мы лишаем вас половины удовольствия. И таким способом проверяем, что для вас главное: мелкое честолюбие или сам космос. Если вы думаете только о том, чтобы выделиться, — скатертью дорога. Если космос ваше призвание, если он для вас *всё* — добро пожаловать.

Он кивнул маме:

— Благодарю вас, миссис Кристофер.

— Сэр, — сказал я. — Один вопрос. У меня есть друг. Ральф Прайори. Он живет в интернате...

Трент кивнул:

— Я, естественно, не могу вам сказать его данные, но он у нас на учете. Это ваш лучший друг? И вы, конечно, хотите, чтобы он был с вами. Я проверю его дело. Воспитывается в интернате, говорите? Это не очень хорошо. Но... мы посмотрим.

— Если можно, прошу вас. Спасибо.

— Явитесь ко мне на Космодром в субботу, в пять часов, мистер Кристофер. До тех пор — никому ни слова.

Он козырнул. И ушел. И взмыл в небо на своем вертолете, и в ту же секунду мама очутилась возле меня.

— О, Крис, Крис... — твердила она, и мы прильнули друг к другу, и шептали что-то, и говорили что-то, и мама говорила, как это важно для нас, особенно для меня, как замечательно, и какая это честь, вроде как в старину, когда человек постился, и давал обет молчания, и ни с кем не разговаривал, только молился и старался стать достойным, и уходил в какой-нибудь монастырь, где-нибудь в глухи, а потом возвращался к людям, и служил образцом, и учил людей добру. Так и теперь, говорила она, заключала она, утверждала она, это тоже своего рода высокий орден, и я стану как бы его частицей, больше не буду принадлежать ей, а буду принадлежать Вселенной, стану всем тем, чем отец мечтал стать, да не смог, не дожил...

— Конечно, конечно, — пробормотал я. — Я постараюсь, честное слово, постараюсь... — Я запнулся. — Джен, а как же... как мы скажем Ральфу? Как нам быть с ним?

— Ты уезжаешь, и все, Крис. Так ему и скажи. Коротко и ясно. Больше ничего ему не говори. Он поймет.

— Но, Джен, ты...

Она ласково улыбнулась:

— Да, Крис, мне будет одиноко. Но ведь у меня остается моя работа и остается Ральф.

— Ты хочешь сказать...

— Я заберу его из интерната. Он будет жить здесь, когда ты уедешь. Ведь именно это ты *желал* от меня услышать, Крис, верно?

Я кивнул, внутри у меня все будто онемело.

— Да, я как раз это хотел услышать.

— Он будет хорошим сыном, Крис. *Почти таким же хорошим, как ты.*

— Отличным!

Мы сказали Ральфу Прайори. Сказали, что я, очевидно, уеду учиться в Европу на год и мама хочет, чтобы он поселился у нас, был ей сыном, пока я не вернусь домой. Мы выпалили все это так, будто слова обжигали нам язык. Когда же мы кончили, Ральф сперва пожал мне руку, потом поцеловал маму в щеку и сказал:

— Я буду рад. Я буду очень рад.

Странно, Ральф даже не стал допытываться, почему я все-таки уезжаю, куда именно и когда думаю вернуться. Сказал только:

— А здорово мы вместе играли, верно? — и примолк, словно боялся продолжать разговор.

Это было в пятницу вечером, Прайори, Джен и я ходили на концерт в Зеленый театр в центре нашего общественного комплекса, потом, смеясь, возвратились домой и стали готовиться ко сну.

У меня ничего не было уложено. Прайори вскользь отметил это, но спрашивать почему не стал. А дело в том, что на ближайшие восемь лет другие брали на себя заботу о моей личной экипировке. Укладываться незачем.

Позвонил учитель семантики, коротко и ласково пожелал мне, улыбаясь, всего доброго.

Наконец мы легли, но я целый час не мог уснуть, все думал о том, что это моя последняя ночь вместе с Джен и Ральфом. Последняя ночь.

И я всего лишь пятнадцатилетний мальчишка...

Я уже начал засыпать, когда Прайори в темноте мягко повернулся на своей кушетке лицом в мою сторону и торжественно прошептал:

— Крис?

Пауза.

— Крис, ты еще не спишь? — Глухо, будто далекое эхо.

— Не сплю, — ответил я.

— Думаешь?

Пауза.

— Да.

— Ты... ты теперь перестал *ждать*, да, Крис?

Я понимал, что он подразумевает. И не мог отвечать.

— Я жутко устал, Ральф, — сказал я.

Он отвернулся, лег на спину и сказал:

— Я так и думал. Ты уже *не ждешь*. Ах, черт, как это здорово, Крис. Здорово.

Он протянул руку и легонько стукнул меня по бицепсу.

Потом мы оба уснули.

Наступило субботнее утро. За окном в семичасовом тумане раскатились голоса ребят. Я услышал, как стукнула форточка старика Уикарда и жужжание его пистолета стало подкрадываться к мальчишкам.

— Сейчас же замолчите! — крикнул он, но совсем беззлобно. Это была обычная субботняя игра. Было слышно, как ребята смеются в ответ.

Проснулся Прайори и спросил:

— Сказать им, Крис, что ты сегодня не пойдешь с ними?

— Ни в коем случае. — Джен прошла от двери к открытому окну, и светлый ореол ее волос потеснил туман. — Здорово, ватага! Ральф и Крис сейчас выйдут. Задержать пуск!

— Джен! — воскликнул я.

Она подошла к нам с Ральфом.

— Проведете вашу субботу, как обычно, вместе с ребятами!

— Я думал побывать с тобой, Джен.

— Разве день отдыха для *этого* существует?

Она живо накормила нас завтраком, поцеловала в щеку и выставила за дверь, в объятия ватаги.

— Давайте не пойдем сегодня к Космодрому, ребята

— Ты что, Крис... Почему?

Их лица отразили целую гамму чувств. Впервые в истории я отказывался идти к Космодрому.

— Ты нарочно, Крис.

— Конечно, дурака валяет.

— Вот и нет, — сказал Прайори. — Он это серьезно. Мне тоже туда не хочется. *Каждую* субботу ходим. Надоело. Лучше на следующей неделе сходим.

— Да ну...

Они были недовольны, но без нас идти не захотели. Сказали, что без нас неинтересно.

— Ну и ладно... Пойдем на следующей неделе.

— Конечно. А сейчас что будем делать, Крис?

Я сказал им.

В этот день мы играли в «бей банку» и другие, давно оставленные нами игры, потом пошли в небольшой поход вдоль ржавых путей старой, заброшенной железной дороги, побродили по лесу, сфотографировали каких-то птиц, поплавали нагишом, и я все время думал об одном: сегодня последний день.

Все, что мы когда-либо прежде затевали по субботам, все это мы вспомнили. Всякие там штуки и проказы. И, кроме Ральфа, никто не подозревал о моем отъезде, и с каждой минутой все ближе подступали заветные «пять часов».

В четыре я сказал ребятам «до свидания».

— Уже уходишь, Крис? Ну а вечером что?

— Заходите в восемь, — сказал я. — Пойдем посмотрим новую картину с Салли Гиберт!

— Так точно.

— Ключ на старт!

И мы с Ральфом отправились домой.

Мамы дома не было, но на моей кровати лежал ролик аудиофильма, на котором она оставила частицу себя — свою улыбку, свой голос, свои слова. Я вставил ролик в проектор и навел на стену. Мягкие русые волосы, мамино белое лицо, ее негромкий голос:

— Не люблю я прощаться, Крис. Пойду в лабораторию, поработаю там. Счастливо тебе. Крепко-крепко обнимаю. Когда я тебя снова увижу... ты будешь уже мужчиной.

И все.

Прайори ждал за дверью, а я в четвертый раз прокрутил ролик.

— Не люблю я прощаться, Крис. Пойду... поработаю... счастливо. Крепко... обнимаю...

Я тоже еще накануне вечером записал ролик. Теперь я засунул его в проектор и оставил — два-три прощальных слова.

Прайори проводил меня до полдороги. Нельзя же, чтобы он ехал со мной до Космопорта. У станции монорельсовой я крепко пожал ему руку и сказал:

— Отлично мы сегодня день провели.

— Ага. Теперь, что же, до следующей субботы?

— Хотел бы я ответить «да».

— Все равно ответь «да». Следующая суббота — лес, ватага, ракеты, старина Уикард с его верным парашютом.

Мы дружно рассмеялись.

— Договорились. В следующую субботу, рано утром. А ты береги... береги *нашу маму*, ладно, Прайори, обещаешь?

— Что за глупый вопрос, балда ты, — сказал он.

— Точно, балда.

Он глотнул.

— Крис.

— Да?

— Я буду ждать. Так же, как ты ждал, а теперь тебе больше не нужно ждать. Буду *ждать*.

— Думаю, тебе не придется ждать долго, Ральф. Я надеюсь, что недолго.

Я легонько стукнул его разок по руке. Он ответил тем же.

Закрылась дверь монорельсовой. Кабина ринулась вперед, и Прайори остался позади.

Я вышел на остановке «Космопорт». До здания управления было каких-нибудь пятьсот метров. Я шел этот отрезок десять лет.

«Когда я тебя снова увижу, ты будешь уже мужчина...»

«Никому ни слова...»

«Я буду ждать, Крис...»

Все это — пробкой в сердце, и никак не хочет уходить, и плавает перед глазами...

Я подумал о своей мечте. Лунная ракета. Теперь она уже не будет частицей моей души, моей *мечты*. Теперь я стану ее частицей.

Я все шел, и шел, и шел, чувствуя себя совсем ничтожным.

В ту самую минуту, когда я подошел к управлению, стартовала вечерняя Лондонская ракета. Она всколыхнула землю, и всколыхнула и наполнила сладким трепетом мое сердце.

И я сразу начал страшно быстро расти.

Я провожал глазами ракету до тех пор, пока рядом со мной не щелкнули чьи-то приветствующие каблуки.

Я окаменел.

— К. М. Кристофер?

— Так точно, сэр. Явился по вызову, сэр.

— Сюда, Кристофер. В эти ворота.

В эти ворота и *внутрь* ограды...

Ограды, к которой неделю назад мы приникали лицом, и чувствовали, как ветер становится жарким, и еще сильней прижимались к ней, забывая, кто мы, откуда мы, мечтая только о том, кем мы могли бы быть и куда попасть...

Ограды, у которой неделю назад стояли мальчишки, — которым нравилось быть мальчишками, нравилось жить в небольшом флоридском городе, и школа безусловно нравилась, и нравилось играть в футбол, и папы и мамы им тоже нравились...

Мальчишки, которые каждую неделю, каждый день, каждый час хоть минуту непременно думали о пламени, и звездах, и ограде, за которой все это их ожидало... Мальчишки, которым ракеты нравились *больше*.

Мама, Ральф, мы увидимся. Я вернусь.

Мама!

Ральф!

И я прошел через ворота и вошел внутрь ограды.

ЛЕД И ПЛАМЯ

1

Ночью родился Сим. Он лежал, хныкая, на холодных камнях в пещере. Кровь толчками пробегала по его телу тысячу раз в минуту. Он рос на глазах.

Мать лихорадочно совала ему в рот еду. Кошмар, именуемый жизнью, начался. Сразу после рождения глаза его наполнились тревогой, которую сменил безотчетный, но от того не менее сильный, непреходящий страх. Он подавился едой и расплакался. Озираясь кругом, он ничего не видел.

Все тонуло в густой мгле. Постепенно она растаяла. Проступили очертания пещеры. Возник человек с видом безумным, диким, ужасным. Человек с умирающим лицом. Старый, высущенный ветрами, обожженный зноем, будто кирпич. Съежившись в дальнем углу пещеры, сверкая белками скошенных глаз, он слушал, как далекий ветер завывает над скованной стужей ночной планетой.

Не сводя глаз с мужчины, поминутно вздрагивая, мать Сима кормила сына плодами каменных гор, скальной травой, собранными у провалов сосульками. Он ел, выделял, снова ел и продолжал расти все больше и больше.

Мужчина в углу пещеры был его отец! Изо всего лица только глаза еще жили. В иссохших руках он дер-

жал грубое каменное рубило, его нижняя челюсть тупо, бессильно отвисла.

Все дальше проникая взглядом, Сим увидел стариков, которые сидели в уходящем в глубь горы туннеле. У него на глазах они начали умирать.

Пещера наполнилась предсмертными криками. Старики таяли, словно восковые фигуры, провалившиеся щеки обтягивали острые скулы, обнажались оскаленные зубы. Только что лица их были живыми, подвижными, гладкими, как бывает в зрелом возрасте. И вот теперь плоть высыхает, истлевает.

Сим заметался на руках у матери. Она крепко стиснула его.

— Ну, ну, — уговаривала она его тихо, озабоченно поглядывая на отца — не потревожил ли его шум.

Быстро прошлепали по камню босые ноги, отец Сима бегом пересек пещеру. Мать Сима закричала. Сим почувствовал, как его вырвали у нее из рук. Он упал на камни и покатился с визгом, напрягая свои новенькие, влажные легкие!

Над ним вдруг появилось иссеченное морщинами лицо отца и занесенный для удара нож. Совсем как в одном из тех кошмаров, которые преследовали его еще во чреве матери. Несколько ослепительных, невыносимых секунд в мозгу Сима мелькали вопросы. Нож висел в воздухе, готовый его вот-вот погубить. А в новенькой головенке Сима девятым валом всколыхнулась мысль о жизни в этой пещере, об умирающих людях, об увядании и безумии. Как мог он это осмыслить? Новорожденный младенец! Может ли новорожденный вообще думать, видеть, понимать, осмысливать? Нет. Тут что-то не так! Это невозможно. Но вот же это происходит с ним. Прошел всего какой-нибудь час как он начал жить. А в следующий миг, возможно, умрет!

Мать бросилась на спину отца и оттолкнула в сторону руку с оружием. До Сима дошел отголосок страшной эмоциональной сшибки двух конфликтующих разумов.

— Дай мне убить его! — крикнул отец, дыша прерывисто, хрипло. — Зачем ему жить?

— Нет, нет! — твердила мать, и тщедушное старое тело ее повисло на широченной спине отца, а руки силились отнять у него нож. — Пусть живет! Может быть, его жизнь сложится по-другому! Может быть, он проживет дольше нашего и останется молодым!

Отец упал на спину подле каменной люльки. Лежа рядом с ним и озираясь блестящими глазами, Сим увидел в люльке чью-то фигурку. Маленькая девочка тихо ела, поднося еду ко рту тоненькими ручками. Его сестра.

Мать вырвала нож из крепко стиснутых пальцев мужа и встала, рыдая и приглаживая свои всклокоченные седые волосы. Губы ее подергивались.

— Убью! — сказала она, злобно глядя вниз на мужа. — Не трогай моих детей.

Старик вяло, уныло сплюнул и безучастно посмотрел на девочку в каменной люльке.

— Одна восьмая ее жизни уже прошла, — проговорил он, тяжело дыша. — А она об этом даже не знает. К чему все это?

На глазах у Сима его мать начала как бы преобразяться, становясь похожей на смятый ветром клуб дыма. Худое костлявое лицо растворилось в лабиринте морщин. Подкошенная мукой, она села подле него, трясясь и прижимая нож к своим высохшим грудям. Как и старики в туннеле, она тоже старилась, смерть наступала на нее.

Сим упорно плакал. Куда ни погляди, его со всех сторон окружал ужас. Мысли Сима ощутили встречный ток еще чьего-то сознания. Он инстинктивно посмотрел на каменную люльку. И наткнулся на взгляд своей сестры, Дак. Два разума соприкоснулись, будто шарящие пальцы. Сим позволил себе расслабиться. Ум его начинал постигать мир.

Отец вздохнул, закрыл веками свои зеленые глаза.

— Корми ребенка, — в изнеможении сказал он. — Торопись. Скоро рассвет, а сегодня последний день нашей жизни, женщина. Корми его. Пусть растет.

Сим притих, и сквозь завесу страха в его сознание начали просачиваться картины.

Эта планета, на которой он родился, была первой от солнца. Ночи на ней обжигали морозом, дни были словно языки пламени. Буйный, неистовый мир. Люди жили в недрах горы, спасаясь от невообразимой стужи и огнедышащих дней. Только на рассвете и на закате воздух ласкал легкие ароматом цветов, и в эту пору пещерный народ выносил своих детей на волю, в голую каменистую долину. На рассвете лед таял, обращаясь в ручьи и речушки, на закате пламя остывало и гасло. И пока держалась умеренная, терпимая температура, люди торопились жить, бегали, играли, любили, вырвавшись из пещерного плена. Вся жизнь на планете вдруг расцветала. Стремительно тянулись вверх растения, в небе брошенными камнями проносились птицы. Мелкие четвероногие лихорадочно сновали между скал; все стремилось приурочить свой жизненный срок к этой быстротечной поре.

Невыносимая планета, Сим понял это в первые же часы после своего рождения, когда в нем заговорила наследственная память. Вся его жизнь пройдет в пещерах, и только два часа в день он будет видеть волю. В этих наполненных воздухом каменных руслах он будет говорить, говорить с людьми своего племени, без перерыва для сна, будет думать, думать, будет грезить, лежа на спине, но не спать.

И вся его жизнь продлится ровно восемь дней.

Какая жестокая мысль! Восемь дней. Восемь *коротких* дней. Невероятно, невозможно, но это так. Еще во чреве матери далекий странный голос наследственной памяти говорил Симу, что он стремительно формируется, развивается и быстро появляется на свет.

Рождение мгновенно, как взмах ножа. Детство пролетает стремглав. Юность — будто зарница. Возмужание — сон, зрелость — миф, старость — суровая быстротечная реальность, смерть — скорая неотвратимость.

Пройдет восемь дней, и он будет вот такой же полуслепой, дряхлый, умирающий, как его отец, который сейчас так подавленно глядит на свою жену и детей.

Этот день — одна восьмая часть его жизни! Надо с толком использовать каждую секунду. Надо усвоить знания, заложенные в мозгу родителей.

Потому что через несколько часов они будут мертвы.

Какая страшная несправедливость. Неужели жизнь так скоротечна? Или не грезилась ему в предродовом бытии **долгая** жизнь, не представлялись вместо раскаленных камней волны зеленой листвы и мягкий климат? Но раз ему все это виделось, значит, в основе грез должна быть истина? Как же ему искать и обрести долгую жизнь? Где? Как выполнить такую огромную и тяжелую задачу в восемь коротких, быстротекущих дней?

И как его племя очутилось в таких условиях?

Вдруг, словно нажали какую-то кнопку, в мозгу его возникла картина. Металлические семена, принесенные через космос ветром с далекой зеленой планеты, борясь с длинными языками пламени, падают на поверхность этого безотрадного мира... Из разбитых корпусов выбираются мужчины и женщины...

Когда?.. Давно. Десять тысяч дней назад. Оставшиеся в живых укрылись от солнца в недрах гор. Пламя, лед и бурные потоки стерли следы крушения огромных металлических семян. А люди словно оказались на наковальне под могучим молотом, который принял их преображать. Солнечная радиация пропитала их плоть. Пульс участился — двести, пятьсот, тысяча ударов в минуту! Кожа стала плотнее, изменилась кровь. Старость надвигалась молниеносно. Дети рождались в пещерах. Круговорот жизни непрерывно ускорялся. И люди, застрявшие после аварии на чужой планете, прожили, подобно всем здешним животным, только одну неделю, причем дети их были обречены на такую же участь.

«Так вот в чем заключается жизнь», — подумал Сим. Не сказал про себя, ведь он не знал еще слов, мыслил образами, воспоминаниями из далекого прошлого, так уж было устроено его сознание, наделенное своего рода телепатией, проникающей сквозь плоть и камень, и металл. На какой-то ступени нового развития у его пле-

мени возник дар телепатии и образовалась наследственная память — единственные блага, единственная надежда в этом царстве ужаса. «Итак, — думал Сим, — я — пятитысячный в долгом ряду никчемных сыновей? Что я могу сделать, чтобы меня через восемь дней не настигла смерть? Есть ли какой-нибудь выход?»

Глаза его расширились: в сознании возникла новая картина.

За этой долиной, с ее нагромождением скал, на небольшой горе лежит целое, невредимое металлическое семя — корабль, не тронутый ни ржавчиной, ни обвалами. Заброшенный корабль, единственный изо всей флотилии, который не разбился, не сломался, он до сих пор пригоден для полета. Но до него так далеко... И никого внутри, кто бы мог помочь. Пусть так, корабль на далекой горе будет его предназначением. Ведь только он может его спасти.

Новая картина...

Глубоко в недрах горы в полном уединении работает горстка ученых. К ним он должен пойти, когда вырастет и наберется ума. Их мысли тоже поглощены мечтой о спасении — мечтой о долгой жизни, о зеленых долинах без зноя и стужи. Они тоже, томясь надеждой, глядят на далекий корабль на горе, на удивительный металл, которому не страшны ни коррозия, ни время.

Скалы глухо застонали.

Отец Сима поднял вверх иссеченное морщинами безжизненное лицо.

— Рассветает, — сказал он.

2

Утро расслабило могучие мускулы гранитной толщи. Наступил час обвалов.

Гулкое эхо туннелей подхватило звук бегущих боевых ног. Взрослые, дети с нетерпеливыми, жаждущими глазами торопились наружу, где занимался день. Сим услышал вдали глухой рокот... потом крик, сменившийся тишиной. В долине грохотали обвалы. Нависшие камни, миллионы лет ждавшие своего часа, срывались с

места, и если путь вниз по склону начинала одна огромная глыба, то по дну долины рассыпались тысячи осколов и раскаленных трением картечин.

Каждое утро каменный ливень уносил по меньшей мере одну жертву.

Скальное племя бросало вызов обвалам. Борьба со стихиями добавляла остроты в их и без того опасную, бурную, скоротечную жизнь.

Сим почувствовал, как руки отца резко поднимают его и несут по туннелю за тысячу ярдов — туда, откуда просачивается свет. Глаза отца пылали безумием. Сим не мог пошевельнуться. Он догадывался, что сейчас произойдет. Неся на руках маленькую Дак, за отцом спешила мать.

— Постой! Осторожно! — кричала она мужу.

Высоко на горе что-то колыхнулось, стронулось.

— Пошли! — прорычал отец и выскочил наружу.

Сверху на них обрушился камнепад.

С нарастающей быстротой сменялись в голове Сима впечатления — рушающиеся громады, пыль, сотрясение... Пронзительно вскрикнула мать! Их качало, тряслось.

Еще один шаг, и они под открытым небом. За спиной у них продолжало грохотать. У входа в пещеру, где склонились мать и Дак, выросла груда обломков, среди них были две глыбы, фунтов по сто каждая.

Рев лавины перешел в шуршание струйки песка. Отец Сима разразился хохотом:

— Проскочили! Клянусь небом! Проскочили живьем!

Он презрительно глянул на скалы и плонул.

— Тыфу!

Мать выбралась через обломки наружу вместе с Дак и принялась бранить отца:

— Болван! Ты мог убить Сима!

— Еще не поздно, — огрызнулся он.

Сим не слушал их перепалки. Он смотрел, будто завороженный, на обломки, завалившие вход в соседнюю пещеру. Там из-под груды камней, впитываясь в землю, бежала струйка крови. И все, больше ничего не видно... Кто-то проиграл поединок.

Дак побежала вперед на податливых, хлипких ножках — голенькая и целеустремленная.

Воздух в долине был словно профильтрованное сквозь горы вино. Небо — вызывающее голубого цвета; в полдень оно накалится добела, ночью — вспухнет багрово-черным синяком с оспинами болезненно мерцающих звезд.

Мир Сима напоминал залив с приливами и отливами. Температурная волна то нахлынет в буйном всплеске, то схлынет. Сейчас в заливе было тихо, прохладно, и все живое стремилось на поверхность.

Звонкий смех! Звучит где-то вдалеке... Но как же так? Неужели кому-то из племени может быть до смеха? Надо будет потом попытаться выяснить, в чем дело.

Внезапно в долине забурлили краски. Пробужденные неистовой утренней зарей, в самых неожиданных местах выглядывали растения. Прямо на глазах распустились цветы. Вот по голой скале ползут бледно-зеленые нити. А через несколько секунд между листиками уже ворочаются зрелые плоды. Передав Сима матери, отец принялся собирать недолговечный урожай. Алые, синие, желтые плоды попадали в висящий у него на поясе меховой мешок. Мать жевала молодую, сочную зелень, пихала ее в рот Симу.

Его восприятие мира было удивительно емким. Он жадно впитывал знания. Любовь, брак, нравы, гнев, жалость, ярость, эгоизм, оттенки и тонкости, реальность и рефлексия — он на ходу осмысливал эти понятия. Одно подводило к другому. Вид колышущихся зеленых растений так действовал на Сима, что разум его пришел в смятение и стал кружиться, подобно гироскопу, ища равновесия в мире, где недостаток времени принуждал, не дожидаясь объяснений, самому исследовать и толковать. Пища, расходясь по организму, помогла ему разобраться в собственном строении и в таких вещах, как энергия и движение. Словно птенец, вылупляющийся из яйца, Сим представлял собой почти законченную систему, полностью развитую и вооруженную необходимым знанием. Он был обязан этим

наследственности и готовым образом, телепатически передаваемым каждому разуму, всякому дыханию. Удивительное, окрыляющее свойство!

Вместе — мать, отец и двое детей — они шли, обоняя запахи, глядя, как птицы с быстротой брошенного камня проносятся над долиной, и вдруг отец сказал:

— Помнишь?

Как это — «помнишь»? Сим лежал калачиком у него на руках. Разве вообще можно забыть что-то за те семь дней, что они прожили!

Муж и жена обменялись взглядами.

— Неужели это было всего три дня назад? — Она вздрогнула и закрыла глаза, сосредоточиваясь. — Даже не верится. Ах, как это несправедливо!..

Она всхлипнула, потом провела по лицу рукой и прикусила запекшуюся губу. Ветер теребил ее седые волосы.

— Теперь моя очередь плакать! Час назад плакал ты!

— Час... половина жизни.

— Пошли. — Она потянула мужа за руку. — Пойдем, осмотрим все, ведь больше не придется.

— Через несколько минут взойдет солнце, — ответил старик. — Пора возвращаться.

— Еще только минуточку, — умоляла женщина.

— Солнце застигнет нас.

— Ну и пусть застигнет меня!

— Что ты такое говоришь!

— Ничего я не говорю, ровным счетом ничего, — рыдала женщина.

Вот-вот должно было появиться солнце. Зелень в долине начала жухнуть. Родился обжигающий ветер. Вдалеке, где на скальные бастионы уже обрушились солнечные стрелы, искашая черты могучих каменных линий, срывались лавины — будто спадали мантии.

— Да! — позвал отец.

Девочка откликнулась и побежала по горячим плинтам долины, и волосы ее развевались, как черный флаг.

С полными пригоршнями зеленых плодов она присоединилась к своим.

Солнце оторочило пламенем край неба, воздух всколыхнулся и наполнился свистом.

Люди пещерного племени обратились в бегство, на ходу крича и подбиравая споткнувшихся ребятишек, унося в свои глубокие норы охапки зелени и плодов. В несколько мгновений долина опустела, если не считать забытого кем-то малыша. Он бежал по гладким плитам, но у него было совсем мало силенок, бежать оставалось еще столько же, а вниз по скалам уже катился могучий жаркий вал.

Цветы сгорали, обращаясь в пепел; травы втягивались в трещины, словно обжегшиеся змеи. Ветер, подобный дыханию домны, подхватывал цветочные семена, и они сыпались в трещины и расселины, чтобы на закате опять прорости и дать цветы и семена, и снова пожухнуть.

Отец Сима смотрел, как по дну долины вдалеке бежит одинокий ребенок. Сам он, его жена, Дак и Сим были надежно укрыты в устье пещеры.

— Не добежит, — сказал отец. — Не смотри туда, мать. Такие вещи лучше не видеть.

И они отвернулись. Все, кроме Сима. Он заметил вдали какой-то металлический блеск. Сердце отчаянно забилось в груди, в глазах все расплылось. Далеко-далеко, на самой вершине небольшой горы источало слепящие блики металлическое семя. Словно исполнилась одна из грез той поры, когда Сим еще лежал во чреве матери! Там, на горе, целое, невредимое — металлическое зернышко из космоса! Его будущее! Его надежда на спасение! Вот туда он отправится через два-три дня, когда — трудно себе представить — будет взрослым мужчиной.

Будто поток расплавленной лавы, солнце хлынуло в долину.

Бегущий ребенок вскрикнул, солнце настигло его, и крик оборвался.

С трудом волоча ноги, как-то вдруг постарев, мать Сима пошла по туннелю. Остановилась... протянула руки вверх и обломила две сосульки, последние из

намерзших за ночь. Одну подала мужу, другую оставила себе.

— Выпьем последний тост. За тебя, за детей.

— За тебя. — Он кивком указал на нее. — За детей.

Они подняли сосульки. Тепло растопило лед, и капли освежили их пересохшие рты.

3

Целый день раскаленное солнце низвергалось в долину. Сим этого не видел, но о могуществе дневного пламени он мог судить по ярким картинам в сознании родителей. Вязкий, как ртуть, свет просачивался в пещеры, выжигая все на своем пути, но глубоко не проникал. От него в пустотах было светло и расходилось приятное тепло.

Сим пытался отогнать от родителей наступающую старость, но сколько ни напрягал разум, призывая себе на помощь их образы, на глазах у него они превращались в мумии. Старость съедала отца, будто кислота. «Скоро со мной будет то же самое», — в ужасе думал Сим.

Сам он рос стремглав, буквально чувствуя, как в организме происходит обмен веществ. Каждую минуту его кормили, он без конца что-то жевал, что-то глотал. Образы, процессы начали связываться в его уме с определяющими их словами. Одним из таких слов было «любовь». Для Сима в нем крылось не отвлеченное понятие, а некий процесс, легкое дыхание, запах утренней свежести, трепет сердца, мягкий изгиб руки, на которой он лежал, наклоненное над ним лицо матери. Сначала он видел то или иное действие, потом в сознании матери искал и находил нужное слово. Гортань готовилась к речи. Жизнь стремительно, неумолимо увлекала его навстречу вечному забвению.

Сим *чувствовал*, как растут его ногти, как развиваются клетки, отрастают волосы, увеличиваются в размерах кости и сухожилия, разрастается мягкое, бледное восковое вещество мозга. При рождении чистый и гладкий, будто кружок льда, уже секундой позже мозг его, словно от удара камня, покрылся сеткой **миллионов** борозд, извилин, обозначающих мысли и открытия.

Его сестренка Дак то прибегала, то убегала вместе с другими тепличными детьми и безостановочно что-то жевала. Мать дрожала над ним, она ничего не ела, у нее не было аппетита, а глаза будто заткало паутиной.

— Закат, — произнес наконец отец.

День кончился. Смеркалось, послышалось завывание ветра.

Мать встала.

— Хочу еще раз увидеть внешний мир... только раз...

Трясясь, она устремила вперед невидящий взгляд.

Глаза отца были закрыты, он лежал подле стены.

— Не могу встать, — еле слышно прошептал он. — Не могу.

— Дак! — прохрипела мать, и дочь подбежала к ней. — Держи.

Она передала дочери Сима.

— Береги Сима, Дак, корми его, заботься о нем.

Последнее ласковое прикосновение материнской руки...

Дак молча прижала Сима к себе, ее большие влажные глаза зелено поблескивали.

— Ступай, — сказала мать. — Вынеси его на волю в час заката. Веселитесь. Собирайте пищу, ешьте. Играйте.

Не оглядываясь назад, Дак подошла к выходу. Сим изогнулся у нее на руках, глядя через плечо сестры потрясенным, неверящими глазами. У него вырвался крик, и губы каким-то образом сложились, дав выход первому в его жизни слову:

— Почему?..

Он увидел, как оторопела мать.

— Ребенок заговорил!

— Ага, — отозвался отец. — Ты расслышала, что он сказал?

— Расслышала, — тихо сказала мать.

Шатаясь, она медленно добрела до отца и легла рядом с ним. Последний раз Сим видел, как его родители передвигаются.

Ночь наступила и минула, и начался второй день.

Всех умерших за ночь отнесли на вершину невысокого холма. Траурное шествие было долгим: много тел.

Дак шла вместе со всеми, ведя за руку ковыляющего кое-как Сима. Он научился ходить за час до рассвета.

С холма Сим снова увидел вдали металлическое зернышко. Но больше никто туда не смотрел, и никто о нем не говорил. Почему? Может быть, есть на то причина? Может быть, это мираж? Почему они не бегут туда? Не молятся на это зернышко? Почему не попробуют добраться до него и улететь в космос?

Отзвучали траурные речи. Тела положили в ряд на открытом месте, где солнце через несколько минут их кремирует.

Затем все повернули обратно и ринулись вниз по склону, спеша использовать немногие минутки свободы — побегать, поиграть, посмеяться на воздухе, пахнущем свежестью.

Дак и Сим, щебеча, будто птицы, добывали себе пищу среди скал и делились друг с другом тем, что успели узнать. Ему шел второй день, ей — третий. Обоих подхлестывал бурный темп их скоротечной жизни.

Сейчас она повернулась к ним еще одной гранью.

Из-за скал наверху, держа в сжатых кулаках острые камни и каменные ножи, выскочило полсотни молодых мужчин. С криками они помчались к невысокой гряде скальных зубцов вдалеке.

«Война!» — отдалось в мозгу Сима. Новая мысль оглушила его, потрясла. Эти люди побежали сражаться и убивать других людей, что живут там, среди черных скал.

Но почему? Зачем сражаться и убивать — разве жизнь и без того не чересчур коротка?

От далекого гула схватки ему стало не по себе.

— Почему, Дак, почему?

Дак не знала. Может быть, они поймут завтра. Сейчас надо есть, — есть для поддержания сил и жизни.

Дак напоминала ящеричку, вечно что-то нащупывающую своим розовым языком, вечно голодную.

Кругом повсюду сновали бледные ребятишки. Один мальчуган юркнул, словно жучок, вверх по склону, сшиб Сима с ног и прямо перед носом у него схватил особенно соблазнительную красную ягоду, которую тот нашел под выступом.

Прежде чем Сим успел встать, мальчуган уже управился с добычей. Сим набросился на него, они вместе упали и покатились вниз причудливым комком, пока Дак, визжа, не разняла их.

У Сима сочилась кровь из ссадин. Какая-то часть его сознания, глядя как бы со стороны, говорила: «Это не годится. Дети не должны так поступать. Это плохо!»

Дак шлепками прогнала маленького разбойника.

— Уходи отсюда! — крикнула она. — Как тебя звать, безобразник?

— Кайон! — смеясь, ответил мальчуган. — Кайон, Кайон, Кайон.

Сим смотрел на него со всей свирепостью, какую могло выразить его маленькое юное лицо. Он задыхался. Перед ним был враг. Как будто Сим давно дождался, чтобы враждебное начало воплотилось не только в окружающей среде, но и в каком-то человеке. Его сознание уже постигло обвалы, знай, холод, скоротечность жизни, но это все было связано со средой, с окружающим миром — неистовые бессознательные проявления неодушевленной природы, порожденные гравитацией и излучением. А тут, в лице этого наглого Кайона, он познал врага мыслящего!

Отбежав в сторонку, Кайон остановился и ехидно прокричал:

— Завтра я буду такой большой, что смогу тебя убить!

С этими словами он исчез за камнем.

Мимо Сима, хихикая, пробегали дети. Кто из них станет его другом, кто — врагом? И как вообще за столь чудовищно короткий жизненный срок могут возникнуть друзья и враги? Разве тут успеешь приобрести тех или других?

Дак, читая мысли брата, повела его дальше. Продолжая поиск пищи, она лихорадочно шептала ему на ухо:

— Украли у тебя еду — вот и враг. Подарили длинный стебель — вот и друг. Еще враждуют из-за мыслей и мнений. В пять секунд ты нажил себе смертельного врага. Жизнь так коротка, что с этим надо поторопливаться.

И она рассмеялась со странной для столь юного существа иронией, отражающей преждевременную зрелость мысли.

— Тебе надо будет биться, чтобы защитить себя. Тебя будут пытаться убить. Есть поверье, глупое поверье, будто часть жизненной энергии убитого переходит к убийце и за счет этого можно прожить лишний день. Понял? И пока кто-то в это верит, ты в опасности.

Но Сим не слушал ее. От стайки хрупких девчушек, которые завтра станут выше и смиреннее, послезавтра оформятся, а еще через день найдут себе мужа, отделилась резвушка с волосами цвета фиолетово-голубого пламени.

Пробегая мимо, она задела Сима, их тела соприкоснулись. Сверкнули глаза, светлые, как серебряные монеты. И он уже знал, что обрел друга, любовь, жену, которая через неделю будет лежать с ним рядом на погребальном костре, когда солнце примется слушивать их плоть с костей.

Всего один взгляд, но он на миг заставил их окаменеть.

— Как тебя звать? — крикнул Сим вдогонку.

— Лайт! — смеясь, ответила она.

— А меня — Сим, — сказал он сконфуженно, растерянно.

— Сим! — повторила она, устремляясь дальше. — Я запомню.

Дак толкнула его в бок.

— Держи, ешь, — сказала она задумавшемуся брату. — Ешь, не то не вырастешь и не сможешь ее догнать.

Откуда ни возьмись появился бегущий Кайон.

— Лайт! — передразнил он, ехидно приплясывая. —
Лайт! Я тоже запомню Лайт!

Высокая, стройная, как хворостинка, Дак печально покачала черным облачком волос.

— Я наперед могу тебе сказать, что тебя ждет, братик. Тебе скоро понадобится оружие, чтобы сражаться за эту Лайт. Но нам пора, солнце вот-вот выйдет.

И они побежали обратно к пещере.

5

Четверть жизни позади! Минуло детство. Он стал юношем. Вечером буйные ливни хлестали долину. Сим видел, как новорожденные потоки бороздили долину, отрезая гору с металлическим зернышком. Он старался все запомнить. Каждую ночь — новая река, свежее русло.

— А что за долиной? — спросил Сим.

— Туда никто не доходил, — объяснила Дак. — Все, кто пытался добраться до равнины, либо замерзали насмерть, либо сгорали. Полчаса бега — вот предел изведанного края. Полчаса туда, полчаса обратно.

— Значит, еще никто не добирался до металлического зернышка?

Дак фыркнула:

— Ученые — они пробовали. Дурачье! Им недостает ума бросить эту затею. Ведь пустое дело. Чересчур далеко.

Ученые. Это слово всколыхнуло душу Сима. Он почти успел забыть видение, которое представлялось ему перед самым рождением и сразу после него.

— А где они, эти ученые? — нетерпеливо переспросил он.

Дак отвела взгляд.

— Хоть бы я знала, все равно не скажу. Они убьют тебя со своими опытами. Я не хочу, чтобы ты ушел к ним! Живи сколько положено, не обрывай свою жизнь на половине в погоне за этой дурацкой штукой там, на горе.

— Узнаю у кого-нибудь другого!

— Никто тебе не скажет! Все ненавидят ученых. Самому придется отыскивать. И допустим, что ты их найдешь... Что дальше? Ты нас спасешь? Давай спасай нас, мальчуган! — Она злилась, половина ее жизни уже прошла.

— Нельзя же все только сидеть да разговаривать, да есть, — возразил он. — И больше *ничего!*..

Он снова вскочил на ноги.

— Иди-иди, ищи их! — едко отрезала она. — Они помогут тебе забыть. Да-да. — Она выплевывала слова: — Забыть, что еще несколько дней — и твоей жизни конец!

Занявшись поиском, Сим бегом преодолевал туннель за туннелем. Иногда ему казалось, что он уже на верном пути. Но стоило спросить окружающих, в какой стороне лежит пещера ученых, как его захлестывала волна чужой ярости, волна смятения и негодования. Ведь это ученые виноваты, что их занесло в этот ужасный мир! Сим ежился под градом бранных слов.

В одной из серединных пещер он тихо подсел к другим детям, чтобы послушать речи взрослых мужей. Наступил Час учения, Час собеседования. Как ни томили его задержки, как ни терзало нетерпение при мысли о том, что поток жизни быстро иссякает и смерть надвигается, подобно черному метеору, Сим понимал, что разум его нуждается в знании. Эту ночь он проведет в школе. Но ему не сиделось. Осталось жить всего пять дней.

Кайон сидел напротив Сима, и тонкогубое лицо его выражало вызов.

Между ними появилась Лайт. За прошедшие несколько часов она еще подросла, ее движения стали мягче, поступь тверже, волосы блестели ярче. Улыбаясь, она села рядом с Симом, а Кайона словно и не заметила. Кайон наступил и перестал есть.

Пещеру наполняла громкая речь. Стремительная, как стук сердца, — тысяча, две тысячи слов в минуту. Голова Сима усваивала науку. С открытыми глазами он словно погрузился в полусон, чуткую дремоту, чем-

то напоминающую внутриутробное состояние. Слова, что отдавались где-то вдалеке, сплетались в голове в гобелен знаний.

Ему представились луга, зеленые, без единого камня, сплошная трава — широкие луга, волнами уходящие навстречу рассвету, и ни леденящего холода, ни жаркого духа обожженных солнцем камней. Он шел через эти зеленые луга. Над ним, высоко-высоко в небе, которое дышало ровным мягким теплом, пролетали металлические зернышки. И все кругом протекало так медленно, медленно, медленно...

Птицы мирно сидели на могучих деревьях, которым нужно было для роста сто, двести, пять тысяч дней. Все оставалось на своих местах, и птицы не спешили укрыться, завидев солнечный свет, и деревья не съеживались в испуге, когда их касался солнечный луч.

Люди в этом сне ходили не торопясь, бегали редко, и сердца их бились размеренно, а не в безумном, скачущем ритме. Трава оставалась травой, ее не пожирало пламя. И люди говорили не о завтрашнем дне и смерти, а о завтрашнем дне и жизни. Причем все казалось таким знакомым, что, когда кто-то взял Сима за руку, он и это принял за продолжение сна.

Рука Лайт лежала в его руке.

— Грезишь? — спросила она.

— Да.

— Это для равновесия. Жизнь устроена несправедливо, вот разум и находит утешение в картинках, которые хранят наша память.

Он несколько раз ударил кулаком по каменному полу.

— Это ничего не исправляет! К черту! Не хочу, чтобы мне напоминали о том хорошем, что я утратил! Лучше бы нам ничего не знать! Почему мы не можем жить и умереть так, чтобы никто не знал, что наша жизнь идет не так, как надо?

Из искаженного гримасой полуоткрытого рта вырывалось хриплое дыхание.

— Все на свете имеет свой смысл, — сказала Лайт. — Вот и это придает смысл нашей жизни, заставляет нас что-то делать, что-то задумывать, искать какой-то выход.

Его глаза стали похожи на огненные изумруды.

— Я поднимался по склону зеленого холма, шел медленно-медленно, — сказал он.

— Того самого холма, на который я поднималась час назад? — спросила Лайт.

— Может быть. Что-то очень похожее. Только сон лучше яви. — Он прищурил глаза. — Я смотрел на людей, они не были заняты едой.

— А разговором?

— И разговором тоже. А мы все время едим и все время говорим. Иногда эти люди в моем сне лежали с закрытыми глазами и совсем не шевелились.

Лайт глядела на него, и тут произошла страшная вещь. Ему вдруг представилось, что ее лицо темнеет и покрывается старческими морщинами. Волосы над ушами — будто снег на ветру, глаза — бесцветные монеты в паутине ресниц. Губы обтянули беззубые десны, нежные пальцы обратились в опаленные прутики, подвешенные к омертвелому запястью. На глазах у него увядала, погибала его прелесть. В ужасе Сим схватил Лайт за руку... и подавил рвущийся наружу крик: ему почудилось, что и его рука жухнет.

— Сим, ты что?

От вкуса этих слов у него стало сухо во рту.

— Еще пять дней...

— Ученые.

Сим вздрогнул. Кто это сказал? В тусклом свете высокий мужчина продолжал говорить:

— Ученые забросили нас на эту планету и погубили с тех пор напрасно тысячи жизней, бездну времени. Все их затеи впустую, никому не нужны. Не трогайте их, пусть живут, но и не жертвуйте им ни одной частицы вашего времени. Помните, вы живете только однажды.

Да где же они находятся, эти ненавистные ученые? Теперь, после уроков, после Часа собеседования, Сим был полон решимости их отыскать. Теперь он воору-

жен знанием и может начинать свою битву за свободу, за корабль!

— Сим, ты куда?

Но Сима уже не было. Эхо бегущих ног затерялось в переходе, выложенном гладкими плитами.

Казалось, половина ночи потрачена напрасно. Он потерял счет тупикам. Много раз на него нападали молодые безумцы, которые рассчитывали присвоить его жизненную энергию. Вдогонку ему летели их бредовые выкрики. Кожу исчертили глубокие царапины, оставленные алчными ногтями.

И все-таки Сим нашел то, что искал.

Горстка мужчин ютилась в базальтовом мешке в недрах горы. На столе перед ними лежали неведомые предметы, вид которых, однако, родил отзвук в душе Сима.

Ученые работали по группам — старики решали важные задачи, молодые обучались, задавали вопросы; было здесь и трое детей. Все вместе образовали звенья единого процесса. Каждые восемь дней состав группы, работающей над той или иной проблемой, полностью обновлялся. Общая отдача была до нелепости мала. Ученые старились и умирали, едва достигнув творческой зрелости. Созидательная пора каждого составляла от силы двенадцать часов. Три четверти жизни уходили на учение, а за короткой порой творческой отдачи тут же следовали дряхлость, безумие, смерть.

Все обернулись, когда вошел Сим.

— Неужели пополнение? — сказал самый старый.

— Не думаю, — заметил другой, помоложе. — Гоните его прочь. Это, должно быть, один из тех, что подстрекают людей воевать.

— Нет-нет, — возразил старик. Шаркая по камню босыми ступнями, он подошел к Симу. — Входи, мальчик, входи.

Глаза у него были приветливые, уравновешенные, не такие, как у порывистых жителей верхних пещер. Серые спокойные глаза.

— Что тебе нужно?

Сим смешался и опустил голову, не выдержав спокойного ласкового взгляда.

— Жить, — прошептал он.

Старик негромко рассмеялся. Потом тронул Сима за плечо.

— Ты из какой-нибудь новой породы? Или, может быть, ты больной? — допытывался он почти всерьез. — Почему ты не играешь? Почему не готовишь себя к поре любви, к женитьбе, к отцовству? Разве ты не знаешь, что завтра вечером будешь почти взрослым? Не понимаешь, что жизнь пройдет мимо тебя, если ты не будешь осмотрительным?

Старик смолк.

С каждым вопросом глаза Сима переходили с предмета на предмет. Сейчас он смотрел на приборы на столе.

— Мне не надо было сюда приходить? — спросил он.

— Конечно, надо было, — прогремел старик. — Но это чудо, что ты пришел. Вот уже тысяча дней, как мы не получали пополнения извне! Приходится самим выращивать ученых, в собственной закрытой системе! Сосчитай-ка нас! Шесть! Шестеро мужчин. И трое детей. Могучая сила, верно? — Старик плонул на каменный пол. — Мы зовем добровольцев, а нам отвечают: «Обратитесь к кому-нибудь другому!» или «Нам некогда!» А знаешь, почему они так говорят?

— Нет. — Сим пожал плечами.

— Потому что каждый думает о себе. Конечно, им хочется жить дольше, но они знают, что, как бы ни старались, вряд ли лично им прибавится хоть один день. Возможно, потомки будут жить дольше. Но ради потомков они не согласны жертвовать своей любовью, своей короткой юностью, да хотя бы одним часом заката или восхода!

Сим прислонился к столу.

— Я понимаю, — серьезно сказал он.

— Понимаешь? — Старик рассеянно посмотрел на Сима. Потом вздохнул и ласково потрепал его по руке. — Ну конечно, понимаешь. Можно ли требовать от кого-нибудь, чтобы понимал больше? Ты молодец.

Остальные окружили кольцом Сима и старика.

— Мое имя Дайнк. Завтра ночью мое место займет Корт. Я к тому времени умру. На следующую ночь

кто-то другой сменит Корт, а потом придет твоя очередь, если ты будешь трудиться и верить. Но прежде я хочу дать тебе подумать. Возвращайся к своим товарищам по играм, если хочешь. Ты кого-нибудь полюбил? Возвращайся к ней. Жизнь коротка. С какой стати тебе печалиться о тех, кто еще не родился? У тебя есть право на юность. Ступай, если хочешь. Ведь если ты останешься, все твоё время уйдет только на то, чтобы трудиться, стариться и умереть за работой. Правда, ты будешь делать доброе дело. Ну?

Сим оглянулся на туннель. Где-то там завывал ветер, и пахло варевом, и шлепали босые ноги, и звучал, радуя сердце, молодой смех. Он сердито дернул головой, на глазах его блеснула влага.

— Я остаюсь, — сказал он.

6

Третья ночь и третий день остались позади. Наступила четвертая ночь. Сим втянулся в жизнь ученых. Ему рассказали про металлическое зернышко на вершине далекой горы. Рассказали про много зернышек — так называемые корабли, и как они потерпели крушение, про то, как уцелевшие, которые укрылись среди скал, начали быстро стариться и в отчаянной борьбе за жизнь забыли все науки. В такой вулканической цивилизации знание механики не могло сохраниться. Всякий жил только настоящей минутой.

О вчерашнем дне никто не думал, завтрашний день зловеще глядел в глаза. Но та самая радиация, которая ускорила старение, породила и своего рода телепатическое общение, помогающее новорожденным воспринимать и осмысливать. А получившая силу инстинкта наследственная память сохраняла картины других времен.

— Почему мы не пробуем добраться до корабля на горе? — спросил Сим.

— Слишком далеко. Понадобится защита от солнца, — объяснил Дайнк.

— Вы пробовали придумать защиту?

— Мази и втирания, одеяния из камня и птичьих перьев, а также в последнее время из жестких металлов. Но ничто не помогает. Еще десять тысяч поколений, и нам, возможно, удастся изготовить охлаждаемый водой панцирь, который защитит нас на пути к кораблю. Но мы работаем очень медленно, и все на ощупь. Сегодня утром я, зрелый муж, взял в руки инструмент. Завтра, умирая, отложу его. Что может сделать человек за один день? Будь у нас десять тысяч человек, задачу удалось бы решить...

— Я пойду к кораблю, — сказал Сим.

— И погибнешь, — произнес старик в тишине, воцарившейся после слов Сима. Все смотрели на мальчика. — Ты очень эгоистичный юноша.

— Эгоистичный? — возмутился Сим.

Старик повел рукой в воздухе.

— Но такой эгоизм мне по душе. Ты хочешь жить дольше и готов все для этого сделать. Хочешь добраться до корабля. Но я говорю тебе, что ничего не выйдет. И все же, если ты будешь настаивать, я не смогу тебе помешать. По крайней мере, ты не уподобишься тем из нас, которые уходят на войну, чтобы выиграть несколько лишних дней жизни.

— На войну? — переспросил Сим. — О какой войне тут может идти речь?

По его телу пробежала дрожь. Непонятно...

— Об этом завтра, — сказал Дайнк. — А сейчас слушай.

Еще одна ночь прошла.

Настало утро. По одному из ходов, крича и плача, прибежала Лайт и упала прямо в объятия Сима. Она опять изменилась. Стала еще старше и еще прекраснее. Дрожа, она прижималась к нему.

— Сим, они идут за тобой!

В туннеле нарастал, приближаясь, звук шагающих босых ног. Показался Кайон. Он тоже вытянулся в длину, и в каждой его руке было по острому камню.

— А, вот ты где, Сим!

— Уходи! — яростно крикнула Лайт, замахиваясь на него.

— Без Сима не уйдем, — твердо ответил Кайон. И, улыбаясь, повернулся к Симу. — *Если*, конечно, он готов сражаться вместе с нами.

Дайнк, волоча ноги, вышел вперед, его глаза часто мигали, худые руки трепетали по-птичьи в воздухе.

— Ступайте! — гневно произнес он тонким голосом. — Этот юноша теперь ученый. Он работает с нами.

Кайон перестал улыбаться.

— Его ждет работа получше этой. Мы идем воевать с обитателями дальних скал. — Глаза Кайона беспокойно блестели. — Ты ведь пойдешь с нами, Сим?

— Нет-нет! — Лайт повисла на руке Сима.

Сим погладил ее плечо, потом повернулся к Кайону:

— Почему вы решили напасть на тех людей?

— Три лишних дня ждут того, кто пойдет с нами.

— Три лишних дня? Три дня жизни?

Кайон уверенно кивнул:

— Если мы победим, будем жить вместо восьми одиннадцать дней. Там, где они живут, в скалах есть особая горная порода, она защищает от радиации! Подумай, Сим, три долгих славных дня жизни. Идешь с нами?

— Идите без него, — вмешался Дайнк. — Сим — мой ученик!

Кайон фыркнул:

— Шел бы ты умирать, старик. Сегодня на закате от тебя останутся одни обугленные кости. Кто ты такой, чтобы командовать нами? Мы молоды, мы хотим жить дольше.

Одиннадцать дней. Невероятно! Одиннадцать дней! Теперь Сим понимал, что порождает войны. Кто не пойдет воевать за то, чтобы почти наполовину продлить свою жизнь! Столько лишних дней жизни! Да. В самом деле, почему нет!

— Три лишних дня, — произнес скрипучий голос Дайнка. — *Если* вы до этого доживете. Если вас не убьют в бою. *Если. Если.* Вы еще никогда не побеждали. Всегда проигрывали!

— Но на этот раз, — резко заявил Кайон, — мы победим!

Сим недоумевал:

— Но ведь мы все одной крови. Почему нельзя вместе жить там, где скалы защищают лучше?

Кайон рассмеялся, сжимая в руке острый камень.

— Те, что там живут, считают себя лучше нас. Так всегда думает тот, кто сильнее. К тому же и пещеры там меньше, в них помещается только триста человек.

Три лишних дня!

— Я пойду с вами, — сказал Сим Кайону.

— Отлично! — Что-то Кайон уж очень обрадовался.

Дайнк порывисто вздохнул.

Сим повернулся к Дайнку и Лайт:

— Если я сумею победить в бою, я буду на полмили ближе к кораблю. И у меня в запасе будет три лишних дня, чтобы попытаться дойти до него. Кажется, у меня просто нет выбора.

Дайнк печально кивнул:

— Да, это так. Я верю тебе. Ступай же.

— Прощайте, — сказал Сим.

Лицо старика отразило удивление, потом он рассмеялся, словно в ответ на беззлобную шутку.

— Верно, ведь я тебя больше не увижу... Ну что ж, прощай.

И они пожали друг другу руки.

Все вместе: Кайон, Сим, Лайт и другие дети, быстро вырастающие в бойцов, — они покинули пещеру учених. И огонек в глазах Кайона не сулил ничего доброго.

Лайт пошла с Симом. Она собрала для него камни и понесла их. Уходить домой отказалась, сколько он ее ни убеждал. Они шагали через долину; близился восход.

— Прошу тебя, Лайт, ступай домой!

— Чтобы ждать возвращения Кайона? — сказала она. — У него задумано, что я стану его женой, когда ты умрешь.

Она сердито тряхнула своими неправдоподобными голубыми кудрями.

— Нет, я пойду с тобой. Если ты погибнешь в бою, я тоже погибну.

Лицо Сима посувровело. Он сильно вырос. За ночь мир словно съежился. Стайки детей, которые с ликующими криками собирали плоды, вызвали у него удивление, даже недоумение: неужели он сам всего четыре дня назад был таким? Странно. В голове Сима отложился гораздо более долгий срок, как будто он на самом деле прожил тысячу дней. Пласт событий и размышлений в его сознании был таким мощным, таким многоцветным и многообразным, что просто не верилось — да разве могло столько всего произойти за считанные дни?

Бойцы бежали по двое, по трое. Сим посмотрел вперед, на торчащие вдали невысокие черные зубцы. «Сегодня мой четвертый день, — сказал он себе. — А я еще ни на шаг не приблизился к кораблю, ни к чему не приблизился, даже к той, — он слышал рядом легкую поступь Лайт, — которая несет мое оружие и собирает для меня спелые ягоды».

Половина жизни прошла. Или одна треть... Если он выиграет эту битву. *Если...*

Сим бежал легко, упруго, непринужденно. «Сегодня я как-то особенно остро ощущаю свое бытие. Я бегу и ем, ем и расту, расту и с замиранием сердца обращаю взгляды на Лайт. И она тоже с нежностью глядит на меня. День нашей юности... Неужели мы тратим его впустую? Расходимся на вздор, на химеру?»

Издали донесся смех. В детстве смех настораживал Сима. Теперь он его понимал. Этот смех родился в душе человека, который взбирался на скалы высокие, собирая там листья зеленые, пил хмельное вино с сосулек утренних, ел плоды горные и впервые вкушал сладость юных губ.

Вот уже близко скалы противника.

А у Сима перед глазами — стройная осанка Лайт. Он словно впервые открыл для себя ее шею, коснувшись которой можно сосчитать биение сердца, и пальцы, которые трепетно льнут к твоим пальцам, и...

Лайт резко отвернулась.

— Гляди вперед! — крикнула она. — Следи за тем, что предстоит... Гляди только вперед.

У него было такое чувство, словно они пробегают мимо большого куска своей жизни, вся юность остается позади, и даже некогда оглянуться.

— Глаза устали смотреть на камни, — сказал он на бегу.

— Найди себе новые камни!

— Я вижу камни... — Голос его стал ласковым, как ее ладонь. Ландшафт уплывал назад. Сим будто летел в объятиях нежного, дремотного ветерка. — Вижу камни, ущелье, прохладную тень и каменные ягоды. Они — как роса. Тронешь камень, и ягоды сыплются вниз беззвучной красной лавиной, и травы такие шелковистые...

— Не вижу! — Она побежала быстрее, глядя в другую сторону.

Он видел пушок на ее шее — будто тонкий серебристый мох на холодной стороне булыжников, что колышется от легчайшего дыхания. Потом представил самого себя, с напряженно сжатыми кулаками мчащегося вперед, навстречу смерти. На его руках вздулись упругие жилы.

Лайт протянула ему какую-то пищу.

— Я не хочу есть, — сказал он.

— Ешь, ешь как следует, — строго велела она. — Чтобы были силы для битвы!

— Господи! — с болью воскликнул он. — Кому нужны эти битвы!

Навстречу им вниз по склону запрыгали камни. Один из бойцов упал с расколотым черепом. Война началась.

Лайт передала Симу оружие. Дальше они бежали без слов вплоть до боевого рубежа.

Сверху, из-за бастионов противника, на них обрушился искусственный обвал!

Теперь одна мысль владела Симом. Убивать, лишать жизни других, чтобы жить самому, закрепиться здесь, продлить свою жизнь и попробовать достичь корабля. Он приседал, уклонялся, хватал камни и метал их вверх. В левой руке у него был плоский каменный щит, которым он отбивал летящие сверху обломки. Кру-

гом раздавались хлопки. Лайт бежала рядом, ободряя его. Один за другим впереди упали двое, убиты наповал — грудь распорота до кости, кровь бьет фонтаном...

И ведь все понапрасну. Сим мгновенно осознал бесмысленность затеянной ими схватки. Штурмом эту скалу не взять. Глыбы катились сверху сплошной лавиной. Десять бойцов пали с черными осколками в черепах, еще у пятерых плетьью повисли переломанные руки. Кто-то вскрикнул — белый коленный сустав торчал из кожи, распоротой метко брошенными кусками гранита. Атакующие спотыкались о тела убитых.

На скулах Сима заиграли желваки, он уже клял себя за то, что пришел сюда. И все-таки, прыгая то в одну, то в другую сторону, нырками уклоняясь от камней, он упорно смотрел вверх, на черные скалы. Жить там и сделать заветную попытку — это желание было сильнее всего. Он должен добиться своего! Но мужество готово было покинуть его.

Лайт пронзительно вскрикнула. Сим обернулся, обомлев от испуга, и увидел, что рука ее перебита, из рваной раны поперек запястья хлестала кровь. Она зажала руку под мышкой, чтобы умерить боль. Ярость всколыхнулась в его душе, он неистово рванулся вперед, бросая камни с убийственной точностью. Вот от меткого броска вражеский боец упал как подкошенный и покатился вниз по уступам. Наверное, Сим что-то кричал, потому что легкие его толчками извергали воздух и в горле саднило, а земля стремительно убегала назад.

Камень ударили по голове и опрокинул на землю. На зубах захрустел песок. Мир рассыпался на багровые завитушки. Сим не мог встать. Он лежал и думал, что вот и пришел его последний день, последний час. Кругом продолжала кипеть схватка, и в полузабытьи он ощутил, как над ним наклонилась Лайт. Руки ее охладили его лоб, она хотела оттащить Сима в безопасное место, но он лежал, хватая ртом воздух, и твердил, чтобы она бросила его.

— Стой! — крикнул чей-то голос.

Казалось, война на миг приостановилась.

— Назад! — скомандовал быстро тот же голос.

Лежа на боку, Сим увидел, как его товарищи повернули и побежали назад, домой.

— Солнце всходит, наше время кончилось!

Он проводил взглядом мускулистые спины, мелькающие в беге ноги. Мертвых оставили лежать на поле боя. Раненые взывали о помощи. Но разве сейчас до раненых! Только бы стремглав одолеть бесславный путь домой и с опаленными легкими нырнуть в пещеры, прежде чем беспощадное солнце настигнет их и убьет.

Солнце!

Кто-то бежал в сторону Сима. Это был Кайон! Шепча ободряющие слова, Лайт помогла Симу встать.

— Идти сможешь? — спросила она.

— Кажется, смогу, — простонал он.

— Тогда пошли, — продолжала она. — Сперва потише, потом быстрей и быстрей. Мы дойдем, я знаю, что дойдем!

Сим выпрямился, шатаясь. Подбежал Кайон — лицо, искаженное свирепыми складками, сверкающие глаза еще не остыли после битвы. Оттолкнув Лайт, он схватил острый камень и резким ударом распорол Симу ногу. Ударил молча, без единого звука.

Потом отступил назад, по-прежнему не говоря ни слова, только ослабился, будто ночной хищник. Грудь его тяжело вздымалась, взгляд перебегал с окровавленной ноги Сима на Лайт и обратно. Наконец он отдохнул.

— Он не дойдет. — Кайон кивком указал на Сима. — Придется нам оставить его здесь. Пошли, Лайт.

Лайт кошкой набросилась на Кайона, норовя добраться до его глаз. Тонкий визг вырвался сквозь ее оскаленные зубы, пальцы молниеносно прочертят глубокие кровавые борозды на бицепсах, затем на шее Кайона. С бранью Кайон отпрянул от Лайт. Она бросила в него камнем. Он увернулся и, рыча, отбежал еще на несколько ярдов.

— Дура! — презрительно крикнул он. — Идем со мной. Сим умрет через несколько минут. Пошли!

Лайт повернулась к нему спиной.

— Если ты меня понесешь.

Кайон изменился в лице. Блеск пропал из его глаз.

— Времени мало. Мы оба погибнем, если я тебя понесу.

Лайт смотрела на него, как на пустое место.

— Неси же, я так хочу.

Не говоря ни слова, Кайон испуганно глянул на полосу алеющей зари и побежал. Его шаги умчались вдаль и затихли.

— Хоть бы упал и шею себе сломал, — прошептала Лайт, яростно глядя на пересекающий ущелье силуэт. Она повернулась к Симу: — Можешь идти?

От раны боль растекалась по всей ноге. Сим иронически кивнул.

— Если идти, часа за два до пещеры доберемся. Но у меня есть идея, Лайт. Понеси меня на руках.

Он улыбнулся собственной мрачной шутке.

Она взяла его за руку.

— И все-таки мы пойдем. Ну-ка...

— Нет, — сказал он. — Мы останемся здесь.

— Но почему?

— Мы пришли сюда, чтобы отвоевать себе новую обитель. Если пойдем обратно — умрем. Лучше уж я умру здесь. Сколько времени нам осталось?

Вместе они посмотрели туда, где всходило солнце.

— Несколько минут, — тускло, бесцветно сказала она, прижимаясь к нему.

Солнечный свет хлынул из-за горизонта, и на черных скалах появились багровые и коричневые подпалины.

Глупец он! Надо было остаться и работать вместе с Дайнком, размышлять и мечтать.

Жилы на шее Сима вздулись, он вызывающе закричал, обращаясь к жителям черных пещер:

— Эй, вышлите кого-нибудь сюда на поединок!

Молчание. Голос отразился от скал. Стало жарко.

— Ни к чему это, — сказала Лайт. — Они не отзовутся.

— Слушайте! — снова закричал Сим. Раненая нога ныла от пульсирующей боли, он перенес вес на здоровую и взмахнул кулаком. — Вышлите сюда воина, да не труса! Я не убегу домой! Я пришел сразиться в

честном поединке! Вышлите бойца, который готов воевать за право на свою пещеру! Я убью его!

По-прежнему молчание. Над краем прокатилась волна зноя.

— Эй, — с издевкой кричал Сим, широко раскрыв рот, закинув голову назад, опираясь руками на голые бедра, — неужели не найдется среди вас человека, который отважится сразиться с калекой?

Молчание.

— Нет?

Молчание.

— Значит, я в вас ошибся. Просчитался. Ладно, останусь здесь, пока солнце не снимет черную стружку с моих костей, и буду вас поносить так, как вы этого заслуживаете.

Ему ответили.

— Я не люблю, когда меня поносят! — крикнул мужской голос.

Сим наклонился вперед, забыв об искалеченной ноге.

В устье пещеры на третьем ярусе показался плечистый силач.

— Спускайся, — твердил Сим. — Спускайся, толстяк, прикончи меня.

Секунду противник разглядывал Сима из-под наспущенных бровей, затем медленно побрел вниз по тропе. В руках у него не было никакого оружия. В ту же секунду изо всех пещер высунулись головы — зрители предстоящей драмы.

Чужак подошел к Симу:

— Сражаться будем по правилам, если ты их знаешь.

— Узнаю по ходу дела, — ответил Сим.

Его ответ понравился противнику, он посмотрел на Сима внимательно, но без неприязни.

— Вот что, — великодушно предложил он, — если ты погибнешь, я приму твою спутницу под свой кров, и пусть живет без забот, потому что она жена доброго воина.

Сим быстро кивнул.

— Я готов, — сказал он.

— А правила простые. Руками друг друга не касаемся, наше оружие — камни. Камни и солнце убьют кого-то из нас. Теперь приступим...

8

Показался краешек солнца.

— Меня зовут Нхой. — Противник Сима небрежно поднял горсть камней и взвесил их на ладони.

Сим сделал так же. Он хотел есть. Уже много минут он ничего не ел. Голод был бичом жителей этой планеты, пустые желудки непрерывно требовали еще и еще пищи. Кровь вяло струилась по жилам, с жарким звоном стучала в висках, грудная клетка вздымалась и опадала, и снова порывисто вздымалась.

— Давай! — закричали триста зрителей со скал. — Давай! — требовали мужчины, женщины и дети, облепившие уступы. — Ну! Начинайте!

Словно по сигналу, взошло солнце. Его мощь ударила бойцов, будто плоским раскаленным камнем. Они даже качнулись, на обнаженных бедрах и спинах тотчас выступили капли пота, лица и ребра заблестели, как стеклянные.

Силач переступил с ноги на ногу и поглядел на солнце, как бы не торопясь начинать поединок. Вдруг беззвучно, без малейшего предупреждения, молниеносным движением указательного и большого пальцев он выстрелил камень. Снаряд поразил Сима в щеку, он невольно попятился, и дикая боль ракетой метнулась вверх по раненой ноге и взорвалась в желудке. Он ощутил вкус просочившейся в рот крови.

Нхой хладнокровно продолжал обстрел. Еще три неуловимых движения его ловких рук, и три маленьких, безобидных по виду камешка, словно свистящие птицы, рассекли воздух. Каждый из них нашел и поразил свою цель — нервные узлы. Один ударил в живот, и все съеденное Симом за предшествующие часы чуть не выскоцило наружу. Второй поразил лоб, третий — шею. Сим рухнул на раскаленный песок. Колени его резко стукнули о твердый грунт. Лицо стало мертвенно-бледным, плотно зажмуренные глаза проталкивали

слезы между горячими подрагивающими веками. Но, падая, Сим успел с отчаянной силой метнуть свою горсть камней.

Они промурлыкали в воздухе. Один из них, только один, попал в Нхоя. Прямо в левый глаз. Нхой застонал и закрыл руками изувеченное глазное яблоко.

У Сима вырвался горький всхлипывающий смешок. Хоть тут ему повезло. Глаз противника — мера его успеха. Это даст ему... время. «Господи, — подумал он, борясь со спазмом в желудке, жадно хватая ртом воздух, — живем в мире времени. Мне бы хоть немного, хоть крошечку!»

Окривевший Нхой, шатаясь от боли, обрушил град камней на корчащееся тело Сима, но меткость ему изменила, и камни либо пролетали мимо, либо попадали в противника уже на излете, потеряв грозную силу.

Сим заставил себя привстать. Краешком глаза он видел, как Лайт напряженно глядит на него, тихо выговаривая ободряющие и обнадеживающие слова. Он купался в собственном поту, будто его окатило ливнем.

Солнце целиком вышло из-за горизонта. Его можно было обонять. Камни отливали зеркальным блеском, песок зашевелился, забурлил. Во всех концах долины возникали миражи. Вместо одного бойца перед Симом, готовясь метнуть очередной снаряд, стояли во весь рост десяток Нхоев. Десяток озаренных грозным золотистым сиянием волонтеров выбрировали в лад, как бронзовые гонги!

Сим лихорадочно дышал. Ноздри его расширялись и слипались, рот жадно глотал огонь вместо кислорода. Легкие горели, будто факелы из нежной ткани, пламя пожирало тело. Исторгнутый порами пот тотчас испарялся. Он чувствовал, как тело сжимается, ссыхается, и мысленно увидел себя таким, каким был его отец, — старым, чахлым, одряхлевшим! Песок... куда он делся? Есть ли силы двигаться? Да. Земля дыбилась под Симом, но он все-таки поднялся на ноги.

Переестрелки больше не будет.

Он понял это, с трудом разобрав слова, которые доносились сверху, со скал. Опаленные солнцем лица зрителей кричали, осыпая его насмешками и подбадривая своего воина:

— Стой твердо, Нхой, береги свои силы теперь! Стой прямо, потей!

И Нхой стоял, покачиваясь медленно, словно маятник, подталкиваемый раскаленным добела дыханием небес.

— Не двигайся, Нхой, береги сердце, береги силы!

— Испытание! Испытание! — повторяли люди вверху. — Испытание солнцем.

Самая тяжелая часть поединка... Напрягаясь, Сим глядел на расплывающиеся очертания скал, и ему чудились его родители: отец с лицом покойника, с воспаленными зелеными глазами, мать — седые волосы, будто стелющийся дым. Он должен подняться к ним, жить ради них и с ними!

За его спиной тонко всхлипнула Лайт. Послышался удар мягкого тела о песок... Она упала. И нельзя обернуться. На это потребуется усилие, которое может повергнуть его в пучину боли и тьмы.

У Сима подкосились ноги. «Если я упаду, — подумал он, — останусь здесь лежать и превращусь в пепел. Так, а где Нхой?» Нхой стоял в нескольких ярдах от него, понурый, весь в поту, — вид такой, будто на хребет его обрушился молот сокрушающий.

«Упади, Нхой! Упади! — твердил про себя Сим. — Упади, упади! Упади, чтобы я мог занять твою обитель!»

Но Нхой не падал. Один за другим из его слабеющей руки на накаленный песок сыпались камни, зубы Нхоя обнажились, слюна выкипела на губах, глаза остекленели. А он все не падал. Велика была в нем воля к жизни. Он держался, словно подвешенный на канате.

Сим упал на одно колено.

Торжествующее «Aaaa!..» отдалось в скалах наверху. Они там знали: это смерть. Сим вскинул голову с какой-то деревянной растерянной улыбкой, словно его поймали на нелепом, дурацком поступке.

«Нет, — убеждал он себя, как во сне, — нет!..»

И снова встал.

Дикая боль превратила его в сплошной гудящий колокол. Все вокруг звенело, шипело, клокотало. Высоко в горах скатилась лавина — беззвучно, будто опустился занавес, закрывающий сцену. Тишина, полная тишины, если не считать этого назойливого гудения. Перед взором Сима стояло сразу полсотни Нхоеv в кольчугах из пота: глаза искажены мукой, скулы выпирают, губы растянуты, будто лопнувшая кожура перезрелого плода. Незримый канат все еще держал его.

— Ну вот, — Сим с трудом ворочал запекшимся языком между жарко поблескивающими зубами. — Сейчас я упаду, и буду лежать, и видеть сны.

Он произнес это медленно, стараясь продлить удовольствие. За ранее представил себе, как это будет. Как именно он все это проведет. Уж он постарается в точности выполнить программу. Сим поднял голову — проверил, наблюдают ли за ним зрители.

Они исчезли!

Солнце прогнало их. Всех, кроме одного-двух самых упорных. Сим пьяно рассмеялся и стал смотреть, как на его онемевших руках копятся капли пота, срываются, летят вниз и, не долетев до песка, испаряются.

Нхой упал.

Незримый канат лопнул. Нхой рухнул плашмя на живот, изо рта у него выскоцил сгусток крови. Закатившиеся глаза безумно сверкали слепыми белками.

Упал Нхой. И вместе с ним упали все пятьдесят его призрачных двойников.

Над долиной гудели и пели ветры, и глазам Сима представилось голубое озеро с голубой рекой, и белые домики вдоль реки, и люди — кто входил или выходил из дома, кто гулял среди высоких зеленых деревьев. Деревья на берегу реки-миража были в семь раз больше человеческого роста.

«Вот теперь, — сказал себе наконец Сим, — теперь я могу падать. Прямо... в это... озеро».

Он упал ничком.

Но что это такое? Чьи-то руки поспешили подхватили его, подняли и стремительно понесли, держа высоко

в ненасытном воздухе, будто пылающий на ветру факел.

«Это и есть смерть?» — удивился Сим и канул в кромешный мрак.

Его привели в себя струи холодной воды, которой ему плескали в лицо.

Он нерешительно открыл глаза. Лайт, положив его голову себе на колени, бережно кормила его. Сим был дико голоден и измучен, но все мгновенно заслонил страх. Превозмогая слабость, он приподнялся; над ним были своды какой-то незнакомой пещеры.

— Сколько времени прошло? — строго спросил он.

— Еще день не кончился. Лежи спокойно, — сказала она.

— День не кончился?

Она радостно кивнула.

— Ты не потерял ни одного дня жизни. Это пещера Нхоя. Нас защищают черные скалы. Мы проживем три лишних дня. Доволен? Ложись.

— Нхой умер? — Он откинулся на спину, напряженно дыша, сердце отчаянно колотило в ребра. Но вот постепенно Сим отдохнула. — Я победил, победил, — прошептал он.

— Нхой умер. И мы чуть не погибли. Нас подобрали в последнюю минуту.

— Он принял жадно есть.

— Нельзя терять ни минуты. Мы должны набраться сил. Моя нога...

Он поглядел на ногу, ощупал ее. Она была обмотана длинными желтыми стеблями, боль совсем исчезла. Вот и теперь, можно сказать, на глазах, лихорадочный ток крови вовсю работал, продолжая свое исцеляющее действие под повязкой. «До заката нога должна быть здорова опять, — сказал он себе. — Должна».

Сим встал и, прихрамывая, начал ходить взад-вперед, будто пойманная зверь. Он ощутил взгляд Лайт, но не мог заставить себя ответить на него. В конце концов все-таки обернулся.

Однако она заговорила первая.

— Ты хочешь идти дальше к кораблю? — мягко спросила Лайт. — Сегодня вечером? Как только зайдет солнце?

Он набрал в легкие воздух, потом выдохнул.

— Да.

— А до завтра подождать ни за что нельзя?

— Нет.

— Тогда я иду с тобой.

— Нет!

— Если начну отставать, не жди меня. Здесь мне все равно не жизнь.

Долго они пристально смотрели друг на друга. Он безнадежно пожал плечами:

— Ладно. Я знаю, тебя не отговорить. Пойдем вместе.

9

Они ожидали в устье своей новой обители. Наступил закат. Камни настолько остывали, что по ним можно было ходить. Вот-вот придет пора высакивать наружу и бежать к далекому, отливающему металлическим блеском зернышку на горе.

Скоро пойдут дожди. Сим представлял себе картины, которые не раз наблюдал: как ливень собирается в ручьи, а ручьи образуют реки, каждую ночь пробивающие новые русла. Сегодня река течет на север, завтра — на северо-восток, на третью ночь — строго на запад. Могучие потоки без конца бороздили долину шрамами. Старые русла заполнялись обвалами и землетрясениями. Следующий день рождал новые. Реки, их направление — вот о чем он много часов думал снова и снова. Ведь очень может быть, что... Ладно, время покажет.

Сим заметил, что здесь и пульс реже, и все жизненные процессы замедлились. Это особая горная порода защищала их от солнечной радиации. Конечно, ток жизни и тут оставался стремительным, но не настолько.

— Пора, Сим! — крикнула Лайт.

Они побежали. Бежали в промежутке между двумя смертями — испепеляющей и леденящей. Бежали вместе от скал к манящему кораблю.

Никогда в жизни они так не бегали. Настойчиво, упорно их бегущие ноги стучали по широким каменным плитам, вниз по склонам, вверх по склонам и дальше вперед, вперед... Воздух царапал их легкие, как наждаком. Черные скалы безвозвратно ушли назад.

Они не ели на бегу. Оба еще в пещере наелись вдоволь, чтобы сберечь время. Теперь только бежать: выбросить вверх ногу, мах назад согнутой в локте рукой, мышцы предельно напряжены, рот жадно пьет воздух, который из жгучего стал освежающим.

— Они глядят на нас?

Сквозь стук сердца слух его уловил прерывающийся голос Лайт.

Кто глядит?.. А, конечно, скальное племя. Когда в последний раз происходила подобная гонка? Тысячу, десять тысяч дней назад? Сколько времени прошло с тех пор, как кто-то, решив попытать счастья, мчался во весь опор, провожаемый взглядами целого народа, сквозь овраги и через студеную равнину? Может быть, влюбленные на минуту забыли о смехе и пристально смотрят на две крохотные точки, на мужчину и женщину, что бегут навстречу своей судьбе? Может быть, дети, упсывая спелые плоды, оторвались от игр, чтобы посмотреть на эту гонку со временем? Может быть, Дайнк еще жив и, щуря тускнеющие глаза под наступленными бровями, скрипучим, дрожащим голосом кричит что-то ободряющее и машет скрюченной рукой? Может быть, их осыпают насмешками? Называют глупцами, болванами? И звучит ли в язвительном хоре хоть один голос, желающий им удачи, надеющийся, что они достигнут корабля?

Сим глянул на небо, уже тронутое приближающейся ночью. Из ничего возникли облака, и пелена дождя пересекла ущелье в двухстах ярдах перед ними. Молнии били в вершины вдали, в смятенном воздухе распространился резкий запах озона.

— Полпути, — выдохнул Сим и увидел, как Лайт, повернув лицо, с тоской глядит на все, что они оставляли.

позади. — Теперь решай, если надумаешь возвращаться, еще есть время. Через минуту...

В горах прорычал гром. Где-то вверху родился маленький обвал, который уже могучей лавиной рухнул в глубокую расщелину. Капли дождя покрыли пупырышками гладкую белую кожу Лайт. В одну минуту волосы ее стали влажными и блестящими.

— Поздно, — перекричала она хлесткий стук собственных босых ног. — Теперь осталось только бежать вперед!

Да, в самом деле поздно. Сим прикинул расстояние и убедился, что возврата нет.

Ноге больно... Он побежал медленнее. Вдруг подул ветер. Холодный, пронизывающий. Но так как он дул сзади, то больше помогал, чем мешал, бежать. «Добрый знак? — спросил себя Сим. — Нет».

Потому что с каждой минутой становилось все яснее, как плохо он угадал расстояние. Время тает, а до корабля еще так далеко. Он ничего не сказал, но бессильная злоба на немощность собственных мышц вылилась жгучими слезами.

Сим знал, что Лайт думает так же, как он. Но она летела вперед белой птицей, словно и не касаясь земли. Он слышал ее дыхание — воздух входил в ее горло, будто острый кинжал в ножны.

Мрак захватил полнеба. Первые звезды проглянули между длинными прядями черных туч. Молния прочертила дорожку на гребне прямо перед ними. Гроза обрушилась на них стеной ливня и электрических разрядов.

Они скользили и спотыкались на мшистых камнях. Лайт упала, у нее вырвался гневный возглас, она поспешила подняться на ноги. Тело ее было в ссадинах и потеках грязи. Ливень хлестал ее.

Рыданье неба обрушилось на Сима. Струи дождя залили глаза, ручейки побежали вниз по спине, и он тоже готов был плакать.

Лайт упала и осталась лежать. Она с трудом дышала, ее била дрожь.

Он поднял ее, поставил на ноги.

— Беги, Лайт, прошу тебя, беги!

— Оставь меня, Сим. Ступай, живей! — Она чуть не захлебнулась дождем. Всюду была вода. — Не трудись впустую. Беги без меня.

Он стоял, скованный холодом и бессилием, мысли его иссякли, огонек надежды готов был угаснуть. Кругом только мрак, холодные плети падающей воды и отчаяние...

— Тогда пойдем, — сказал он. — Будем идти и отдохнуть.

Они прошли полсотни ярдов, медленно, не торопясь, будто дети на прогулке. Овраг перед ними до краев заполнился потоком, и вода с торопливым бурлящим звуком устремилась к горизонту.

Сим что-то крикнул. Увлекая за собой Лайт, он опять побежал.

— Новое русло! — Он показал рукой. — Каждый день дождь прокладывает новое русло. За мной, Лайт!

Он наклонился над водой и нырнул, не выпуская руки Лайт.

Поток понес их, как щепки. Они силились держать голову над водой, чтобы не захлебнуться. Берега быстро убегали назад. С бешеною силой стискивая пальцы Лайт, Сим чувствовал, как стремнина бросает и кружит его, видел, как сверкают молнии в вышине, и в душе его родилась новая, исступленная надежда. Бежать дальше нельзя — что ж, тогда вода поработает за них!

Бурная хватка новой недолговечной реки колотила Сима и Лайт о камни, распарывала плечи, сдирала кожу с ног.

— Сюда! — Голос Сима перекрыл раскат грома.

Лихорадочно загребая рукой, он поплыл к противоположной стороне оврага. Гора, на которой лежит корабль, прямо перед ними. Нельзя допустить, чтобы их пронесло мимо. Они упорно сражались с неистовой влагой, и их прибило к нужному берегу. Сим подпрыгнул, поймал руками нависший камень, ногами стиснул Лайт и медленно подтянулся вверх.

Гроза прекратилась так же быстро, как началась. Молнии потухли. Дождь перестал. Тучи растаяли и растворились в небе. Ветер еще пошептал и смолк.

— Корабль! — Лайт лежала на земле. — Корабль, Сим. Это та самая гора.

А к ним уже подкрадывалась стужа. Смертная стужа.

Борясь с изнеможением, они побрали вверх по склону. Холод лизал их тело, ядом проникал в артерии, сковывая конечности.

Впереди, в ореоле блеска, лежал свежеомытый корабль. Это было как сон. Сим не мог поверить, что осталось так мало... Двести ярдов. Сто семьдесят ярдов.

Землю стал обволакивать лед. Они скользили и без конца падали. Река позади них превратилась в твердую, бело-голубую холодную змею. Твердыми дробинками откуда-то прилетело несколько замешкавшихся капель дождя.

Сим всем телом привалился к обшивке корабля. Он чувствовал, осязал, трогал его! Слух уловил судорожное всхлипывание Лайт. Металл, корабль — вот он, вот он! Сколько еще человек касались его за много долгих дней? Он и Лайт дошли до цели!

Вдруг, словно в них просочился ночной воздух, по его жилам разлился холод.

А где же вход?

Ты бежишь, ты плывешь, ты чуть нетонешь. Клянешь все на свете, обливаешься потом, напрягаешь последние силы, и вот ты наконец добрался до горы, поднялся на нее, стучишь кулаками по металлу, кричишь от радости и... И не можешь найти входа.

Так, надо взять себя в руки. «Медленно, однако не слишком медленно», — сказал он себе, — обойди кругом весь корабль». Его испытывающие пальцы скользили по металлу — настолько холодному, что влажная кожа грозила примерзнуть к обшивке. Теперь вдоль противоположной стороны... Лайт шла рядом с ним. Студеные дланни мороза сжимались все крепче.

Вход.

Металл. Холодный, неподатливый. Узкая щель по краю люка. Отбросив в сторону осторожность, Сим принялся колотить по нему. Холод пронизывал до костей. Пальцы онемели, глазные яблоки начали коче-

неть. Он колотил то здесь, то там и кричал металлической дверце:

— Откройся! Откройся!

На минуту Сим потерял равновесие. Что-то подалось под его рукой... Щелчок!

Шумно вздохнул воздушный шлюз. Шурша металлом по резиновой прокладке, дверца мягко отворилась и ушла во мрак.

Сим увидел, как Лайт метнулась вперед, рывком поднесла руки к горлу и нырнула в тесную, полную света кабину. Не помня себя, он шагнул следом за ней.

Люк воздушного шлюза закрылся, отрезая путь назад.

Он задыхался. Сердце билось все медленнее, будто хотело остановиться.

Они были заточены внутри корабля, и что-то происходило. Судорожно ловя ртом воздух, Сим упал на колени.

Тот самый корабль, к которому он пришел за спасением, теперь тормозил биение его сердца, омрачал сознание, чем-то отравлял его. С каким-то смутным, угаивающим чувством томительного страха Сим понял, что умирает.

Чернота...

Словно в тумане Сим ощущал, как идет время, как сознание силится принудить сердце биться быстрей, быстрей... И заставить глаза видеть ясно. Но сок жизни медленно протекал по усмиренным сосудам, и он слышал тягучий ритм пульса: тук... пауза, тук... пауза, тук...

Он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, даже пальцем. Требовалось неимоверное усилие, чтобы поднять каменный груз век. И совсем невозможно повернуть голову, взглянуть на лежащую рядом Лайт.

Словно издалека слышалось ее неровное дыхание. Так раненая птица шуршит сухими, смятыми перьями. Хотя Лайт была совсем близко и он угадывал ее тепло, казалось, их разделяет непомерная даль.

«Я остываю! — думал он. — Уж не смерть ли это? Вялое течение крови, тихое биение сердца, холод во всем теле, тягучий ход мысли...»

Глядя на верхнюю стенку корабля, он пытался разгадать это сложное сплетение трубок и приспособлений. Постепенно в мозгу рождалось представление о том, как устроен корабль, как он действует. В каком-то медленном прозрении он постигал смысл предметов, на которые переходил его взгляд. Не сразу. Не сразу.

Вот этот прибор с белой поблескивающей шкалой.
Его назначение?

Сим решал задачу с натугой, словно человек под водой.

Люди пользовались этим прибором. Касались его. Чинили. Устанавливали. Вообразили, а уже потом сделали его, установили, наладили, трогали, пользовались им. В приборе было как бы заложено определенное воспоминание, самый облик его, будто образ из сновидения, говорил Симу, как изготавливали эту шкалу и для чего она служит. Рассматривая любой предмет, он прямо из него извлекал нужное знание. Словно некая частица его ума обволакивала предмет, анатомировала и проникала в его суть.

Вот этот прибор предназначен, чтобы измерять время!

Миллионы часов времени!

Но как же так?.. Глаза Сима расширились, озарились жарким блеском. Разве есть люди, которым нужен такой прибор?

Кровь стучала в висках, в глазах помутилось. Он за jakiумился.

Ему стало страшно. День был на исходе. «Как же так, — думал он, — жизнь уходит, а я лежу. Лежу и не могу двинуться. Молодость скоро кончится. Сколько времени еще пройдет, прежде чем я смогу двигаться?»

Через окошко иллюминатора он видел, как проходит ночь, наступает новый день и опять воцаряется ночь. В небе зябко мерцали звезды.

«Еще четыре-пять дней, и я стану совсем дряхлым и немощным, — думал Сим. — Корабль не дает мне пошевельнуться. Лучше бы я оставался в родной пещере и там сполна насладился назначенней мне короткой жизнью. Чего я достиг тем, что пробился сюда? Сколь-

ко рассветов и закатов проходит понапрасну. Лайт рядом со мной, а я даже не могу ее коснуться».

Бред. Сознание куда-то вознеслось. Мысли метались в металлических отсеках корабля. Он слышал острый запах сварного металла. Чувствовал, как ночью обшивка напрягается, днем опять расслабляется.

Рассвет. Уже новый рассвет!

«Сегодня я достиг бы полной зрелости». Он стиснул зубы. «Я должен встать. Должен двигаться. Извлечь ту радость, какую может дать мне эта пора моей жизни».

Но он лежал неподвижно. Чувствовал, как сердце медленно перекачивает кровь из камеры в камеру и дальше через все его недвижимое тело, как она очищается в мерно вздывающих и опускающихся легких.

Корабль нагрелся. Щелкнуло незримое устройство, и воздух автоматически охладился. Управляемый сквозняк охладил кабину.

Снова ночь. И еще один день.

Четыре дня жизни прошло, а он все лежит.

Сим не пытался бороться. Ни к чему. Его жизнь истекла.

Его больше не тянуло повернуть голову. Он не хотел увидеть Лайт — такое же изуродованное лицо, какое было у его матери: веки, словно серые хлопья пепла, глаза, как шершавый зернистый металл, щеки, будто потрескавшиеся камни. Не хотел увидеть шею, похожую на жухлые плети желтой травы, руки, подобные дыму над угасающим костром, иссохшие руки, жесткие растрепанные волосы цвета вчерашней сорной травы!

А сам-то он? Как он выглядит? Отвислая челюсть, ввалившиеся глаза, иссеченный старостью лоб?..

Он почувствовал, что к нему возвращаются силы. Сердце билось невообразимо медленно. Сто ударов в минуту. Не может быть! А это спокойствие, хладнокровие, умиротворенность...

Голова сама наклонилась вбок. Сим вытаращил глаза. Глядя на Лайт, он удивленно вскрикнул.

Она была молода и прекрасна.

Лайт смотрела на него, у нее не было сил говорить. Глаза ее были словно кружочки серебра, лебединая шея — будто руки ребенка. Волосы Лайт были точно нежное голубое пламя, питаемое ее хрупкой плотью.

Прошло четыре дня, а она все еще молода... нет, моложе, чем была, когда они проникли в корабль. Она совсем юная.

Он не верил глазам.

Наконец она заговорила:

— Сколько еще это продлится?

— Не знаю, — осторожно ответил он.

— Мы еще молоды.

— Корабль. Мы ограждены его обшивкой. Металл не пропускает солнце и излучение, которые нас старят.

Она отвела глаза, размышая.

— Значит, если мы будем здесь...

— То останемся молодыми.

— Еще шесть дней? Четырнадцать? Двадцать?

— Может быть, даже больше.

Она примолкла. Потом, после долгого перерыва, сказала:

— Сим?

— Да.

— Давай останемся здесь. Не будем возвращаться. Если мы теперь вернемся, ты ведь знаешь, что с нами случится?

— Я не уверен.

— Мы опять начнем стариться, разве нет?

Он отвернулся. Посмотрел на верхнюю стенку, на часы с ползущей стрелкой.

— Да. Мы состаримся.

— А вдруг мы состаримся... сразу. Может быть, когда выйдем из корабля, переход окажется слишком резким?

— Может быть.

Снова молчание. Сим сделал несколько движений, разминая руки и ноги. Ему страшно хотелось есть.

— Остальные ждут, — сказал он.

Ответные слова Лайт заставили его ахнуть.

— Остальные умерли, — сказала она. — Или умрут через несколько часов. Все, кого мы знали, уже старики.

Сим попытался представить себе их стариками. Его сестренка Дак — дряхлая, согбенная временем... Он тряхнул головой, прогоняя видение.

— Допустим, они умерли, — сказал он. — Но ведь родились другие.

— Люди, которых мы даже не знаем.

— И все-таки люди нашего племени, — ответил он. — Люди, которые будут жить только восемь дней, или одиннадцать дней, если мы им не поможем.

— Но мы молоды, Сим! И можем оставаться молодыми!

Лучше не слушать ее. Слишком заманчиво то, о чем она говорит. Остаться здесь. Жить.

— Мы и так прожили больше других, — сказал он. — Мне нужны работники. Люди, которые могли бы наладить корабль. Сейчас мы с тобой оба встанем, найдем какую-нибудь пищу, поедим и проверим, в каком он состоянии. Один я боюсь его налаживать. Уж очень он большой. Нужна помощь.

— Но тогда надо бежать весь этот путь обратно!

— Знаю. — Он медленно приподнялся на локтях. — Но я это сделаю.

— А как ты приведешь сюда людей?

— Мы воспользуемся рекой.

— Если русло осталось прежним. Оно могло сместиться.

— Дождемся, пока не появится подходящее для нас. Я должен вернуться, Лайт. Сын Дайнка ждет меня, моя сестра, твой брат — они состарились, готовятся умереть и ждут вестей от нас...

После долгой паузы он услышал, как Лайт устало придвигается к нему. Она положила голову ему на грудь и с закрытыми глазами погладила его руку.

— Прости. Извини меня. Ты должен вернуться. Я глупая эгоистка.

Он неловко коснулся ее щеки.

— Ты человек. Я понимаю тебя. Не нужно извиняться.

Они нашли пищу. Потом прошли по кораблю. Он был пуст. Только в пилотской кабине лежали останки человека, который, вероятно, был командиром корабля. Остальные, видимо, выбросились в космос в спасательных капсулах. Командир, сидя один у пульта управления, посадил корабль на горе, неподалеку от других упавших и разбившихся кораблей. То, что корабль оказался на возвышенном месте, сохранило его от бурных потоков. Командир умер вскоре после посадки — наверное, сердце не выдержало. И остался корабль лежать здесь, почти в пределах досягаемости для спасшихся, целый и невредимый, но потерявший способность двигаться — на сколько тысяч дней? Если бы командир не погиб, жизнь предков Сима и Лайт могла бы сложиться совсем иначе. Размышая об этом, Сим уловил далекий зловещий отголосок войны. Чем кончилась эта война миров? Какая планета победила? Или обе проиграли, и некому было разыскивать уцелевших? На чьей стороне была правда? Кем был их враг? Принадлежали ли народ Сима к правым или неправым? Быть может, это так и останется неизвестным.

Скорей, скорей изучить корабль! Он совсем не знал его устройства, но все постигал, идя по переходам и поглаживая механизмы. Да, нужен только экипаж. Один человек не справится с этой машиной. Он коснулся круглого рыла какой-то штуковины. И отдернул руку, словно обжегся.

— Лайт!

— Что это?

Он снова коснулся машины, погладил ее дрожащими руками, и на глазах у него выступили слезы, рот сперва открылся, потом опять закрылся... С глубокой нежностью Сим оглядел машину, наконец повернулся к Лайт.

— Этой штукой... — тихо, будто не веря себе, молвил он, — с этой штукой я... я могу...

— Что, Сим?

Он вложил руку в какую-то чашу с рычагом внутри. Через иллюминатор впереди были видны далекие скалы.

— Кажется, мы боялись, что придется очень долго ждать, пока к горе опять подойдет река? — спросил он с торжеством в голосе.

— Да, Сим, но...

— Река будет. И я вернусь, сегодня же вечером. И приведу с собой людей. Пятьсот человек! Потому что с этой машиной я могу пробить русло до самых скал, и по этому руслу хлынет поток, который надежно и быстро доставит сюда меня и других. — Он потер бочко-видное тело машины. — Как только я ее коснулся, меня сразу осенило, что это за штука и как она действует! Гляди!

Он нажал рычаг.

С жутким воем от корабля протянулся вперед луч раскаленного пламени.

Старателльно, методично Сим принялся высекать лучом русло для утреннего ливневого потока. Луч жадно вгрызался в камень, обратив день в ночь.

Сим решил один бежать к скалам. Лайт останется в корабле на случай какой-нибудь неудачи. На первый взгляд путь до скал казался непреодолимым. Не будет стремительной реки, которая быстро понесет его к цели, позволяя выиграть время. Придется всю дорогу бежать, но ведь солнце перехватит его, застигнет прежде, чем он достигнет укрытия!

— Остается одно: отправиться до восхода.

— Но ты сразу замерзнешь, Сим.

— Гляди.

Он изменил наводку машины, которая только что закончила прокладывать борозду в каменном ложе долины. Чуть приподнял гладкое дуло, нажал рычаг и закрепил его. Язык пламени протянулся в сторону скал. Сим подкрутил верньер дальности и сфокусировал пламя так, что оно обрывалось в трех милях от машины. Готово. Он повернулся к Лайт.

— Я не понимаю, — сказала она.

Сим открыл люк воздушного шлюза.

— Мороз лютый, и до рассвета еще полчаса. Но я побегу вдоль пламени, достаточно близко. Жарко не будет, но для поддержания жизни тепла хватит.

— Мне это кажется ненадежным, — возразила Лайт.

— А что надежно в этом мире? — Он подался вперед. — Зато у меня будет лишних полчаса в запасе. И я успею добраться до скал.

— А если машина откажет, пока ты будешь бежать рядом с лучом?

— Об этом лучше не думать, — сказал Сим.

Миг, и он уже снаружи — и попятился назад, как если бы его ударили в живот. Казалось, сердце сейчас взорвется. Среда родной планеты взвинтила его жизненный ритм. Он почувствовал, как учащается пульс и кровь клокочет в сосудах.

Ночь была холодна, как смерть. Гудящий тепловой луч, проверенный, обогревающий, протянулся от корабля через долину. Сим бежал вдоль него, совсем близко. Один неверный шаг, и...

— Я вернусь! — крикнул он Лайт.

Бок о бок с лучом света он исчез вдали.

Рано утром пещерный люд увидел длинный перст оранжевого накала и парящее вдоль него таинственное беловатое видение. Толпа бормотала, ужасалась, благоговейно ахала.

Когда же Сим наконец достиг скал своего детства, он увидел скопище совершенно чужих людей. Ни одного знакомого лица. Тут же он сообразил, как нелепо было ожидать другого. Один стариk подозрительно рассматривал его.

— Кто ты? — крикнул он. — Ты пришел с чужих скал? Как твое имя?

— Я Сим, сын Сима!

— Сим! — пронзительно вскрикнула старая женщина, которая стояла на утесе вверху. Она заковыляла вниз по каменной дорожке. — Сим, Сим, неужели это ты?

Он смотрел на нее в полном замешательстве.

— Но я вас не знаю, — пробормотал он.

— Сим, ты меня не узнаешь? О, Сим, это же я! Дак!
— Дак!

У него все сжалось в груди. Женщина упала в его объятия. Эта трясущаяся, полуслепая старуха — его сестра.

Вверху показалось еще одно лицо. Лицо старика, свирепое, угрюмое. Злобно рыча, он глядел на Сима.

— Гоните его отсюда! — закричал стариик. — Он из вражеского стана. Он жил в чужих скалах! Он до сих пор молодой! Кто уходил туда, тому не место среди нас! Предатель!

Вниз по склону запрыгал тяжелый камень.

Сим отпрянул в сторону, увлекая сестру с собой.

Толпа взревела. Потрясая кулаками, все кинулись к Симу.

— Смерть ему, смерть! — бесновался незнакомый Симу стариик.

— Стойте! — Сим выбросил вперед обе руки. — Я пришел с корабля!

— С корабля?

Толпа замедлила шаг. Прижавшись к Симу, Дак смотрела на его молодое лицо и поражалась, какое оно гладкое.

— Убейте его, убейте, убейте! — прокаркал стариик и взялся за новый камень.

— Я продлю вашу жизнь на десять, двадцать, тридцать дней!

Они остановились. Раскрытые рты, неверящие глаза...

— Тридцать дней? — эхом отдавалось в толпе. — Как?

— Идемте со мной к кораблю. Внутри него человек может жить почти вечно!

Стариик поднял над головой камень, но, сраженный апоплексическим ударом, хрипя, скатился по склону вниз, к самым ногам Сима.

Сим нагнулся, пристально разглядывая морщинистое лицо, холодные, мертвые глаза, вяло оскаленный рот, иссохшее недвижимое тело.

— Кайон!

— Да, — произнес за его спиной странный, скрипучий голос Дак. — Твой враг, Кайон.

В ту ночь двести человек вышли в путь к кораблю. Вода устремилась по новому руслу. Сто человек утонули, затерялись в студеной ночи. Остальные вместе с Симом дошли до корабля.

Лайт ждала их и распахнула металлический люк.

Шли недели. Поколение сменялось поколением в скалах, пока ученые и механики трудились над кораблем, постигая разные механизмы и их действие.

И вот наконец двадцать пять человек стали по местам внутри корабля. Теперь — в далекий путь!

Сим взялся за рычаги управления.

Подошла Лайт, сонно протирая глаза, села на пол подле него и положила голову ему на колено.

— Мне снился сон, — заговорила она, глядя куда-то вдаль. — Мне снилось, будто я жила в пещере, в горах на студеной и жаркой планете, где люди старились и умирали за восемь дней.

— Нелепый сон, — сказал Сим. — Люди не могли бы жить в таком кошмаре. Забудь про это. Сон твой кончился.

Он мягко нажал рычаги. Корабль поднялся и ушел в космос.

Сим был прав.

Кошмар наконец кончился.

СОДЕРЖАНИЕ

Нескончаемый дождь

<i>Сущность, перевод Д. Лившица</i>	7
<i>Почти конец света, перевод С. Анисимова</i>	18
<i>Здесь могут водиться тигры, перевод Д. Лившица</i>	29
<i>Уснувший в Армагеддоне, перевод Л. Сумилло</i>	47
<i>И камни заговорили...</i> <i>перевод Т. Шинкарь</i>	63

Лекарство от меланхолии

<i>Погожий день, перевод Норы Галь</i>	93
<i>Дракон, перевод Норы Галь</i>	100
<i>Лекарство от меланхолии,</i> <i>перевод В. Гольдича, И. Оганесовой</i>	104
<i>Конец начальной поры, перевод Норы Галь</i>	117
<i>Чудесный костюм цвета сливочного мороженого,</i> <i>перевод Т. Шинкарь</i>	124
<i>Горячечный бред,</i> <i>перевод В. Гольдича, И. Оганесовой</i>	153
<i>Примирительница, перевод А. Оганяна</i>	162
<i>Город, в котором никто не выходит,</i> <i>перевод В. Гольдича, И. Оганесовой</i>	168
<i>Запах сарсанарели, перевод Норы Галь</i>	179
<i>Икар Монгольфье Райт, перевод Норы Галь</i>	188
<i>Шлем, перевод А. Хохрева</i>	194
<i>Были они смуглые и золотоглазые,</i> <i>перевод Норы Галь</i>	204
<i>Улыбка, перевод Л. Жданова</i>	223
<i>Время уходить, перевод А. Хохрева</i>	230
<i>Все лето в один день, перевод Норы Галь</i>	239
<i>Подарок, перевод В. Гольдича, И. Оганесовой</i>	246
<i>Маленькие мышки,</i> <i>перевод В. Гольдича, И. Оганесовой</i>	249
<i>Берег на закате, перевод Норы Галь</i>	256
<i>Земляничное окошко, перевод Норы Галь</i>	268
<i>Пришло время дождей, перевод Т. Шинкарь</i>	279
P — значит ракета	
<i>P — значит ракета, перевод Э. Кабалевской</i>	295
<i>Лед и пламя, перевод Л. Жданова</i>	314



МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

Собрание фантастических произведений в 7 томах

Том четвертый

Составитель *Д. Смушкович*

Ответственный за выпуск *Е. Чутов*

Редактор *В. Баканов*

Технический редактор *К. Козаченко*

Корректоры *Ж. Голубева, И. Лаздина, А. Хиршфельде*

Оператор компьютерной верстки *Е. Глуховская*

Оформление шмунтитулов: *В. Ковалев*

**Качество печати соответствует диапозитивам, предоставленным
издательством.**

ЛР № 062455 от 23.03.93.

Подписано в печать 4.04.97. Формат 84×108¹/32.

Гарнитура Таймс. Печать высокая.

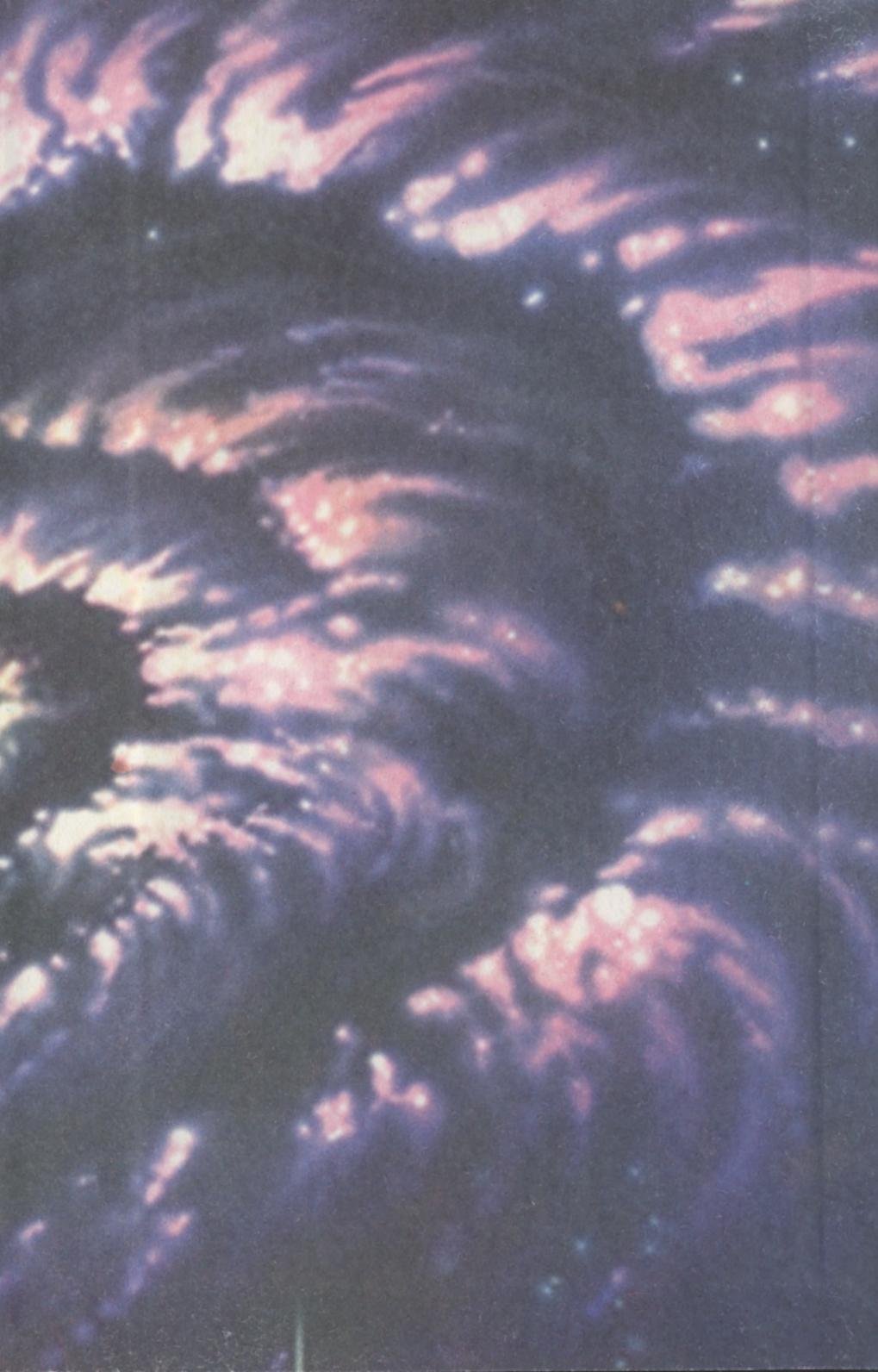
Усл. печ. л. 19,32. Тираж 10 000 экз. Заказ № 492.

**Издательство «Полярис»
Латвийская республика, LV-1039, Рига, а/я 22**

**Отпечатано с готовых диапозитивов
на Тверском ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР
Государственного Комитета Российской Федерации по печати
170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.**







**МИРЫ
РЭЯ БРЭДБЕРИ**
в семи томах



НЕСКОНЧАЕМЫЙ ДОЖДЬ

Золотыми каплями дождя рассыпаются насмешливые и печальные истории из этого сборника.

ЛЕКАРСТВО ОТ МЕЛАНХОЛИИ

Мимолетность искусства и тщета бытия, странные миры и удивительные глубины человеческих душ открывает нам Рэй Брэдбери, еще раз утверждая, что единственное лекарство от отчаяния — любовь.

P — ЗНАЧИТ РАКЕТА

Лед и пламя, обыденное и фантастическое сливаются воедино в рассказах этого сборника.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1997